



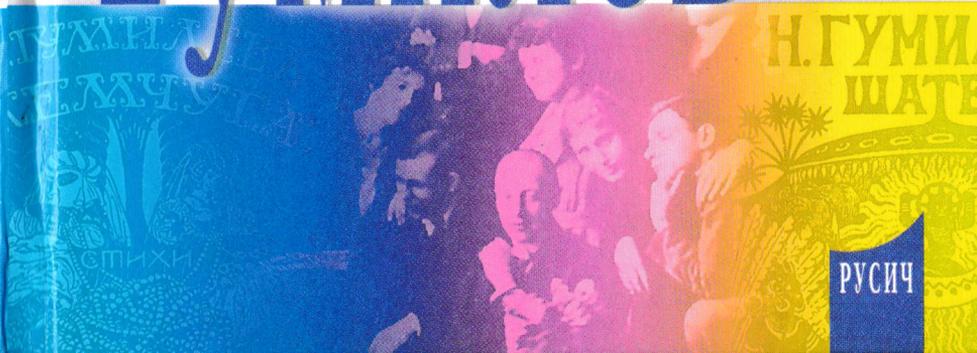
Николай Гумилев

Аполлон Давидсон

Николай Гумилев



РУСИЧ



Н.ГУМИЛЕВ
ШАТЕ

РУСИЧ

Аполлон Давидсон

Николай
Гумилев

Поэт, путешественник, воин





Аполлон Давидсон

Николай
Гумилев

Поэт, путешественник, воин

СМОЛЕНСК
РУСИЧ
2001

УДК 929
ББК 83.3 (2 Рос-Рус)1-8
Д 13

Серия основана в 2000 году

Давидсон А. Б.

Д 13 Николай Гумилев. Поэт, путешественник, воин. – Смоленск: Русич, 2001. – 416 с. – (Герои без тайн).

ISBN 5-8138-0308-4

Нелегкие судьбы поэтов в нашей стране хорошо известны, но участь этого особенно трагична. Власть долго вытравляла самую память о нем: его не издавали больше шести десятилетий, найденный в комнате портрет поэта часто служил основанием для ареста. И все-таки он вернулся к нам – поэт, путешественник, воин. Эта книга о нем, о Николае Гумилеве.

УДК 929
ББК 83.3 (2Рос-Рус)1-8

ISBN 5-8138-0308-4

© Текст. А. Б. Давидсон, 2000
© Составление, оформление,
разработка серии. «Русич», 2001

Читателю

Судьба поэтов в истории нашей страны известна. Но его участь особенно трагична.

Вытравливали самую память о нем. Десятью годами усиленного режима наградили Иду Напельбаум, которая когда-то была его ученицей. «Достаточно было наличия в квартире портрета расстрелянного поэта, чтобы признать меня преступницей». В 1951-м, когда ее арестовали, портрета давно не было – ей пришлось уничтожить его еще в Тридцать седьмом. Но кто-то донес...

Что же удивляться словам Ахматовой: «Поэт еще не прочитанный и человек еще не понятый».

Да и как было читать и понимать – его не издавали больше шести десятилетий.

Но если что-то замалчивают, оно потом, при первой возможности, привлекает к себе бурное внимание. Так оно и случилось полтора десятилетия назад, когда Гумилева, наконец, «реабилитировали».

Сбылось его пророчество:

Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный...

И все-таки долгий запрет и следы свои оставляет надолго. Те, кто знал Гумилева, давно ушли из жизни. Воспоминания о нем приходится собирать по крохам. Сколько поводов для недоумений, споров, острых разногласий! Ведь у каждого – свой Гумилев. Во всяком случае, у тех, кто берег память о нем в годы запрета.

...Образ Гумилева сопровождал автора этой книги всю жизнь. С гумилевских стихов, еще в детстве, началось его увлечение дальними странами – и затем переросло в профессию.

Расспрашивая Анну Ахматову и Ирину Одоевцеву, заглядывая в уголки далекой Аддис-Абебы, где Гумилев спасался от любовных неудач и мечтал «в новой обстановке найти новые слова», бродя по истоптанным его ногами улицам Петербурга, снова и снова возвращаясь к книгам, которыми он зачитывался, доктор исторических наук профессор МГУ Аполлон Давидсон старался понять и его, и людей, что его окружали, почувствовать аромат того безвозвратно ушедшего времени.

ИСТИНЫ ПЕРЕДАЮТ ИЗУСТНО

Так как архивные дела, по обыкновению, оказались сгоревшими (а может быть, и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными рассказами и преданиями.

М. Салтыков-Щедрин

*Мы многое из книжек узнаем,
А истины передают изустно...*

В. Высоцкий



ОН БЕРЕТ ЖИЗНЬ

Одно я берегу – простую память...

И. Эренбург

Охотник, мореплаватель Синдбад. О, Каир и Дамаск, Багдад и Африка, Сиракузы и Рим!..

Он ныряет в море "за жемчугами редких слов". Он поет весело – о Женщине и о Мире. Потому что Мир открылся для него как новобрачная, как влюбленная женщина – весь. И посвятил его во все тайны своего Неба и во все прелести своей Земли.

Он смел, мудр, отважен, как рыцарь. Он идет прямо к цели, побеждая препятствия...

Авантюрист, как Казанова.

Он возлюбил экзотические, юные, солнцем палимые страны...

Он берет жизнь и вливает ее в свои дивные, смелые, солнечные строфы...»

Так восторгалась Гумилевым Ольга Арбени-

на в 1916-м, когда ей было девятнадцать. И не перестала вспоминать о нем с восхищением даже в старости.

Ахматова, не без ревности относившаяся к чарам других женщин, писала: «Арбенина была необычайно хороша собой». И — «У нее был очень бурный роман с Гумилевым».

Ольга Николаевна бывала у нас дома во второй половине тридцатых. Мы жили тогда в Ленинграде, возле Чернышева моста, в доме, который называли домом актеров Александринского театра. Там доживали свой век старые актеры, помнившие Гумилева. Помнил его и отец моего отчима, Василий Гарлин. Когда собирались гости, читал гумилевские стихи. Обычно «У камина» и «Жираф».

Ольгу Николаевну дед знал с начала двадцатых, когда она пришла в труппу Александринки. Он к тому времени был там уже старожилом. В какой-то мере их сближало то, что он знал еще ее отца, артиста этого же театра. Встречаясь, они предавались воспоминаниям. Мне запомнились слова взрослых:

— Какая же она красивая!

Лишь позже я понял, почему их тогда так поражала ее внешность. Это были годы сталинского террора. В 1938-м погиб человек, с которым Ольга Николаевна связала два десятилетия своей жизни — Юрий Иванович Юркун. Каково было сорокалетней женщине следить за собой! Этот возраст воспринимался не так, как сейчас, казался явным увяданием. А гнетущая атмосфера, личная трагедия!

Детские впечатления ожили в моей памяти, когда я прочитал изданные недавно отрывки из дневника Арбениной.

Гумилев познакомился с ней, как и с Аней

Энгельгардт, своей будущей второй женой, 14 мая 1916 года на лекции Брюсова в зале Тенишевского училища на Моховой. Арбениной было девятнадцать. На нее глядел «высокий военный с бритой головой и с Георгием на груди». Попросил, чтобы его ей представили. «Я обалдела! Поэт Гумилев, известный поэт, и Георгиевский кавалер, и путешественник по Африке, и муж Ахматовой... и вдруг так на меня смотрит...»

Он действовал с обычным бешеным натиском:

– Я чувствую, что буду вас очень любить. Я надеюсь, что вы не rude. Приходите завтра к Исаакиевскому собору.

И как бы между прочим заметил, что написал стихи дочери Николая II:

– Я вчера написал стихи за присланные к нам в лазарет акации Ольге Николаевне Романовой – завтра напишу Ольге Николаевне Арбениной.

Уже в следующую встречу повел в ресторан, в отдельный кабинет, уговорил, хотя до того Арбенина бывала в ресторанах только со своим дедушкой. «Было сказано все: и любовь на всю жизнь, и развод с Ахматовой, и стихи. Первые, что он прочел обо мне: "Женский голос в телефоне, Упоительно несмелый... Сколько сладостных гармоний в этом голосе без тела..."»

«Увы! Эти самые стихи он через год "отдал" Елене из Парижа».

«Мы встретились еще раз, и тут было еще труднее выдержать штурм... Он начитал мне бездну стихов, и старых, и новых, – и вся эта бурность, которая меня заколдовала, через год перешла в другой альбом – Елены – в Париже».

Это весна 1916-го. Летом Гумилев после лазарета долечивается в Крыму, в Массандре. Арбе-

нина – на даче. А в сентябре она узнает, что у него роман с Аней Энгельгардт. Ее дневник полон восклицаний:

«Он сейчас целует другую... Он! Эти руки! Ее! Эти губы!!!

Ей посвятил пьесу. Ей писал. О ней думал?!!

А я???»

Арбенина не подозревала, что в это же время у Гумилева роман и с Ларисой Рейснер, и что ей он тоже говорит, что пьеса «Гондла» – для нее и о ней.

В начале 1920-го, когда Гумилев после трех-летнего перерыва пришел к Арбениной в театр и пригласил в свою холостую квартиру послушать стихи – «Я была как мертвая и шла, как овца на заклание».

По ее словам, она провела с ним почти весь 1920-й и в конце года сама ушла от него к Юркуну. Но так ли уж – сама? «Хотела ли я разлучиться с Гумилевым? Нет и нет. Он меня забрал силой, но я хотела, чтобы он был со мной, и ни на кого не хотела его менять». Арбенина не пишет, что Гумилев ее бросил. Пишет осторожней: «не удерживал». И сетует: «Почему он не сказал простых русских слов, вроде "не уходи" или "не бросай меня"? Что это, гордость? Стыд? Отчего можно говорить раболепные слова, когда надо добиваться того, чтобы уложить в постель, и не сказать ни слова, чтобы остановить женщину? ...Я думаю теперь, надо было меня избить и бросить на пол, а потом легче было бы ему просить прощения, и я обещала бы ему все (и все выполнила)!».

Она до конца верила, что он ее любил. Верила его стихам:

Не было, нет и не будет
Сердца верней моего...

Хотя помнила слова Ахматовой: «Он не был способен на настоящую любовь...» и ее стихи:

Все равно, что ты наглый и злой...
Все равно, что ты любишь других...

Но приведя эти стихи, возмущалась:
«Наглый? Боже сохрани! Никогда!
Злой? В те месяцы 20-го года? Никогда! Никогда!»

И о том, что «любил врать и сочинять» и «вообще неверный», вспоминала чуть ли не с умилением.

* * *

...Слово «Гумилев» я знал еще в раннем детстве. Но рассказы о нем слышал впервые от этой женщины.

ВЗОРОМ ЕГО ЦАРИЦЫ

Моей прелестной царице...

Н. Гумилев

«Записные книжки Анны Ахматовой», наконец, изданы. Читая их, я увидел там свой давно забытый адрес и номер телефона.

Что заставило меня когда-то тревожить ее своими вопросами?

Во времена «оттепели» многие добивались реабилитации Гумилева.

Из лагерей уже вернулись сотни тысяч. Словосочетание «Архипелаг ГУЛАГ» еще не появилось. А вот выражение «Поздний реабилитанс» было в ходу. Одно за другим появлялись в газетах десятилетиями запрещенные имена. И время от времени возникали слухи (а в нашей стране мы из поколения в поколение живем слухами), что очередь вот-вот дойдет и до Гумилева. Никто не мог предвидеть, что именно Гумилев окажется последним в очереди и что его реабилитируют лишь через четверть века.

Вот мне и пришло в голову, что первым шагом к возрождению его имени мог бы стать очерк об африканских путешествиях Гумилева. Это, казалось, самая безобидная тема, можно не касаться отношений поэта с Советской властью.

Африка была тогда в моде. Она с конца пятидесятых стала важным объектом советской геополитики. Там открывались, одно за другим, советские посольства. Между Москвой и столицами африканских стран сновали бесчисленные правительственные и общественные делегации. В газетах, в радиопередачах – Африка, Африка, Африка...

Редакции журналов гонялись за свидетельствами исторических и культурных контактов нашей страны с Африкой.

А Гумилев любовь к Африке пронес через всю свою судьбу, от ранних стихов до сборника «Шатер», последнего из изданных при его жизни. Обращался к Африке со страстью влюбленного: «обреченный тебе».

Его стихотворения и поэмы: «Африканская ночь», «Озеро Чад», «Мик (Африканская поэма)», «Жираф», «Леопард», «Носорог», «Гиена», «Крас-

ное море», «Египет», «Сахара», «Судан», «Абиссиния», «Галла», «Сомалийский полуостров», «Либерия», «Мадагаскар», «Замбези», «Суэцкий канал», «Эзбекие», «Экваториальный лес», «Нигер», «Дагомея», «Дамара. Готтентотская космогония», «Зараза», «Рождество в Абиссинии», «Алжир и Тунис». И еще, и еще.

Акростих, посвященный Анне Ахматовой, начал так: «Аддис-Абеба, город роз».

И даже Дон-Жуана отправил на свой любимый материк, написав пьесу «Дон-Жуан в Египте».

Художница Наталья Гончарова изобразила его верхом на жирафе. А пародия на Гумилева в сборнике «Парнас дыбом»:

У истоков сумрачного Конго,
Возле озера Виктория-Нианца...

И я решил написать статью о его странствиях. Если не пройдет – готов был написать очерк вообще о российских путешественниках, только бы разрешили упомянуть и Гумилева. Казалось, такой статьей можно открыть путь к «рассекречиванию» запрещенного имени.

Сотрудники редакции московского востоковедного журнала загорелись этой идеей. Надеялись, как и я, что высокому начальству – «там, наверху» – тема покажется «безобидной», и ее могут «пропустить».

Ободренный, я сел за статью. Что-то я знал, без этого бы не взялся. Но знал мало.

Где найти сведения для такого очерка? Советской литературы о Гумилеве не было вовсе. За рубежом к тому времени тоже не ахти как много, а если она попадала в московские библиотеки, то хранилась за семью печатями, в «спехранах».

Главный источник – «Африканский дневник» Гумилева – не найден. О его африканских путешествиях известно лишь, что их – несколько. Что-то конкретное – только о последнем, но и то скудно. А остальные – куда ездил, когда?

Так что моя затея была, конечно, самонадеянной.

Вот и решил обратиться к Анне Андреевне. К кому же обращаться, как не к ней? Она – главный человек в жизни Гумилева. В нее он влюбился еще гимназистом, четыре или пять лет добивался ее согласия стать его женой, восемь лет был ее мужем, и лишь последние три года до его смерти у них были разные семьи.

Готовясь к встрече, старался представить себе не только величественную, с царственными манерами, чьи стихи мы переписывали друг у друга и заучивали наизусть. Мне хотелось увидеть и ту, в кого Гумилев безумно влюбился.

Правда, прошло полвека... И все же, казалось мне, разве можно разглядеть Гумилева через даль времен, не попытавшись понять, что же влекло его к ней, почему именно она стала его избранницей?

Конечно, у меня и в мыслях не было затронуть эту интимную тему. Но даже если расспрашивать только о нем самом, вопросов накопилось много. Ведь тогда мы знали только его стихи. А о нем самом – почти ничего.

Прежде всего я пытался разобраться в том, сколько было путешествий? В какие именно страны? И почему – Африка?

Не для очерка, а для себя хотел понять – правда ли, что он участвовал в заговоре? И сам заговор – был ли на самом деле?

И еще, и еще, и еще... Почему Гумилев вернулся в Россию из Франции и Англии летом 1918-го, когда люди его круга уезжали? И почему

самым творческим для него стало страшное время гражданской войны, разрухи, голода, террора?

Задать все эти вопросы я не мечтал. Но – хоть какую-то толику.

Добиться встречи с Анной Андреевной оказалось нетрудно – я знал людей, с которыми она дружила. Но не знал, как она теперь относится к Гумилеву, насколько ей по душе разговор о нем. К тому же помнил, что старые люди предпочитают говорить, а не слушать. И говорят чаще всего про свое. Да и вообще – верно ли она поймет мои вопросы? Разница поколений. Хорошо помнил ее: «отцы и деды непонятны».

...Ордынка. Квартира Ардовых. Маленькая комнатка. На подоконнике – фотографии, перенятые со старых. Сверху – Гумилев. Не к моему ли приходу?

Как она выглядела? Среди людей ее возраста многие выглядели моложе. Но:

Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.

Задать вопросы удалось не сразу. Пришлось отвечать самому.

– А почему вас так интересует Николай Степанович?

Наверно, ей хотелось услышать еще одно свидетельство, какими тропами мое поколение пробиралось, вернее, продиралось к Гумилеву, да и к ней самой.

* * *

Пути к Гумилеву у разных поколений были разные. Школьники двадцатых могли еще читать советские издания Аверченко, мемуары Ке-

ренского, Деникина, даже тома переписки Николая II. В книжных магазинах еще продавались посмертные сборники Гумилева. О нем еще говорили и спорили на лекциях, на публичных диспутах. Маяковский на литературных вечерах выступал и на такую тему: «С чем ездил Гумилев?» Ему задавали вопросы. Он отвечал:

– Говорят: «Хороший поэт». Это мало и неправильно. Он был хорошим контрреволюционным поэтом.

Отвечал и на вопросы об Ахматовой и Цветаевой:

– Ахматова – Цветаева? Обе дамы одного поля... ягодицы.

Многие смеялись. Но кто-то возмущался:

– Пошлость! Стыдитесь!

Это слышал на выступлении Маяковского семнадцатилетний Лев Копелев в 1928-м.

Когда мне пошел семнадцатый, в 1946-м, никаких диспутов и никаких вопросов о Гумилеве и Ахматовой уже не было. И быть не могло. В газете «Правда» в сентябре 1946-го появился доклад Жданова. Определения не допускали никаких споров.

Созданный Гумилевым акмеизм?

– Акмеисты, как и символисты, декаденты и прочие представители разлагающейся дворянско-буржуазной идеологии, были проповедниками упадочничества, пессимизма, веры в потусторонний мир.

Ахматова?

– До убожества ограничен диапазон ее поэзии – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. ... Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.

Можно ли советским издательствам печатать Ахматову?

— Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузьмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д. и т. п., то есть всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве.

Можно тут спорить? Попробуй! Не припомню, чтобы кто-нибудь у нас в школе пытался дискутировать. Да и о чем? Где найти сам предмет спора — стихи Гумилева? Их не печатали уже четверть века.

Вопрос «А почему вас так интересуется Николай Степанович?» застал меня врасплох. Я не готов был к такому повороту разговора. В самом деле — почему?

Сбивчиво рассказал, что началось это в детстве, в середине тридцатых, когда я жил рядом с домом, где Гумилев провел свои последние годы. В то время это была улица Радищева, но старожилы по-прежнему называли ее Преображенской.

Возле этого дома останавливалась цистерна с керосином. Громко звучал рожок. Хозяйки с бидонами спешили заправить примусы и керосинки.

Взрослые брали меня с собой, в очередь. Там и услышал, как мама вполголоса говорила с кем-то:

— Тут вот, на втором этаже...

Всего полутора десятилетиями раньше он ходил по той же булыжной мостовой. Может, вставал в очередь. Куда же деться? Без керосина не прожить. Как без хлеба. Поэты писали о кероси-

не только в письмах, но и в стихах. Блок, Мандельштам, Зоргенфрей. «Я сегодня, гражданин, плохо спал, душу я на керосин променял».

Кто знает, может быть, и керосинщик был тот же, и даже его лошадь. И такой же голос старьевщика во дворе:

– Старье берем...

В доме у нас были все сборники стихов Гумилева. В марте 1942-го, уже на исходе блокадного голода, мама сумела их все обменять на кусок дуранды – так ленинградцы называли жмых.

В университетские годы я на лекциях никогда не слышал о Гумилеве, хотя и кончал тот же университет, где он когда-то учился. Время «Ленинградского дела», «Борьбы с низкопоклонством перед Западом», «Борьбы с космополитизмом», «Дела врачей». Несколько преподавателей арестовали, других выгнали с работы, многие ждали увольнения или ареста. Кто бы решился называть студентам крамольные имена! Да и нас рано научили не задавать лишних вопросов. В первые же месяцы моей университетской жизни одному из студентов нашей маленькой группы дали десять лет. Мы так и не узнали, за что.

Но о Гумилеве можно было услышать в сумрачных коридорах Публички, исхоженных когда-то его ногами. В долгих невеселых разговорах между потемневшими книжными шкапами. От людей, которые считались неудачниками. «Не та анкета», – говорили они с вымученными улыбками. Она-то и сделала их изгоями, выбросила из науки, журналистики, литературы. Библиотека осталась для них единственной связью с прошлой жизнью. Беседы с молодежью – той, которая соглашалась слушать, – были для них отдушиной.

Эти встречи и стали моими университетами. И еще – беседы с друзьями моих родных. Особенно с одним из них, Георгием Григорьевым. Оба его деда были действительными статскими советниками, поэтому его в двадцатые годы не приняли в университет. Начинал с монтера, стал инженером по автоматической телефонии. Вечерами писал статьи об истории русской культуры – разумеется, в стол, о публикации не могло быть и речи. У него были папки со стихами Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Кузмина, переписанными от руки.

* * *

...Анна Андреевна слушала. Блокадные воспоминания, кажется, ее не покидали, и она помнила таких голодных мальчишек, каким был когда-то и я.

Спросила, коренной ли я петербуржец. Я признался, что родился в одной из сибирских таежных деревень, куда Сталин ссылал тех, о ком тогда говорили: «Они – из бывших». Одним из них был мой отец. Подругой мамы была там Нина Ивановна Ястребова. Ее брат, Николай Иванович Ястребов, проходил в августе 1921-го вместе с Гумилевым по делу «О раскрытии в Петрограде заговора против Советской власти». В сообщении Петроградской ЧК их имена стояли рядом. Гумилев – под номером 30, Ястребов – 31. Оба расстреляны, как считала Ахматова, под Бернгардовкой. А может быть, и прямо в тюрьме, в самом Петрограде.

Мои сбивчивые рассказы ослабили ту недоверчивость, которая, как меня предупреждали, была у Анны Андреевны к новым посетителям. Рас-

сказала, как дорого обошлись многим ее знакомым встречи с нею. Как, приходя домой, обнаруживала, что кто-то разрезал корешки ее книг — искали крамолу.

С интересом слушала о Преображенской улице, может быть, потому, что никогда там у своего первого мужа не бывала. Во всяком случае, так я понял.

Тему «Гумилев и Африка» одобрила. Сказала, что Гумилев мечтал побывать в Африке еще в 1907-м, когда жил в Париже. Но первый раз поехал осенью 1908-го. Путешествие оказалось коротким — только Каир и Александрия.

Эту поездку помнила хорошо. Должно быть, потому, что на пути в Египет и обратно Гумилев заезжал в Киев повидать ее, девятнадцатилетнюю Аню Горенко, в который раз убеждая стать его женой.

Дважды упомянула стихотворение «Эзбекие», написанное им лет десять спустя. Чувствовалось, что встречу Гумилева с Африкой она воспринимала через образы этого стихотворения.

Сказала, что подолгу Гумилев путешествовал дважды. Первый раз вскоре после того, как они поженились. Уехал осенью 1910-го, а вернулся 25 марта 1911-го (по старому стилю), на Благовещенье. Второй — с апреля по август 1913-го. Собирал абиссинские и сомалийские песни. По возвращении раздарил несколько картин тамошних мастеров. А себе оставил тропическую лихорадку.

Вспомнила, что Гумилев привез абиссинский триптих и что-то еще профессору Тураеву. Я обрадовался, услышав об этом. Значит, Гумилев был знаком с крупнейшим египтологом и основателем отечественной эфиопистики. Борис Алексан-

дрович Тураев уже к тому времени был ученым с мировым именем. Когда и как они познакомились, как относились друг к другу, какие работы Тураева Гумилев читал? Тураев прекрасно знал письменные источники по истории Абиссинии (как мы теперь говорим – Эфиопии), но никогда там не бывал. С какой же завистью он, должно быть, смотрел на Гумилева – очевидца, бывальца. И как интересно было Гумилеву делиться своими впечатлениями с настоящим знатоком. Обо всем этом я попытался расспросить Ахматову. Но в ее памяти, увы, это уже не сохранилось.

Во время путешествия 1913 года в Абиссинию и Сомали, сказала Анна Андреевна, Гумилев вел дневник. Хотел его опубликовать, но не успел. Дневник был у нее, потом она кому-то отдала его на хранение и след его давно потеряла. Сказала, что теперь приложит все силы найти его, и если найдет, даст возможность с ним ознакомиться.

Была подготовлена к печати и рукопись об этом путешествии. Написал ее спутник Гумилева, сын его сводной сестры Александры Степановны, в замужестве Сверчковой. В семье его звали Коля-Маленький, в отличие от Николая Степановича. Когда они отправились в путешествие, Коле было семнадцать. Умер он молодым. В 1921-м, издавая сборник «Шатер», Гумилев посвятил его «Памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова».

Рукопись Сверчкова в 1920-м или 1921-м отдали в издательство Гржебина (оно действовало не только в Петрограде и Москве, но и в Берлине). Дальнейшей судьбы рукописи Анна Андреевна не знала – скорее всего она просто затерялась. Затерялись, по ее мнению, и много-

численные фотографии, которые Сверчков делал в пути.

Как называлась рукопись и кто ее передал в издательство, Анна Андреевна не сказала. Вспомнила, что в 1919-м Гржебин издал гумилевский перевод древнего эпоса «Гильгамеш», и увлеклась рассказом о надеждах, которые возлагались тогда на Гржебина многими петроградскими писателями, в том числе и Гумилевым.

Вернуть разговор к рукописи Сверчкова мне не удалось, да и вряд ли Анна Андреевна могла сказать о ней что-то еще.

«ЖЕНЩИНА В УГЛУ СЛУШАЛА ЕГО»

*А женщину зовут Дорога...
Какая дальняя она!*

Б. Окуджава

Анна Андреевна подчеркнула не раз, что Гумилев любил в себе путешественника. Потом в ее записных книжках того времени я нашел запись «Гумилев и Африка» (очевидно, ожидая моих расспросов, она освежила это в своей памяти). Написала, что для него «путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов».

Но говорила об этом все-таки без особого интереса. Пиетета к его странствиям я не почувствовал.

Тогда это меня удивило. Но потом понял, что эта его страсть не объединяла их. Скорее наобо-

рот. Далекими странами Анна Андреевна не грезила. Больше того, в путешествия он отправлялся в связи с семейными размолвками.

Гумилев очень любил рассказывать о своих странствиях. Жаловался: «Никто не имел терпения выслушать мои впечатления и приключения до конца». Это относилось и к жене. Она даже выходила из комнаты, когда он в кругу знакомых и друзей повторял свои рассказы и, как бывает у охотников и рыбаков, вероятно, приукрашивал. К ней, как раз в этой связи, относятся его горькие строки – он послал их ей с дороги в Африку:

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Ревновала к его путешествиям потому, что частые и долгие отъезды их разлучали? Это оскорбляло ее женское самолюбие? Сама она за пределы России и Западной Европы никогда не уезжала, да, кажется, и не стремилась.

Может быть, ей передалось отношение к путешествиям художника Модильяни? Не исключено.

«Модильяни как-то очень хорошо говорил о путешествиях... Путешествия подменяют настоящее действие (action), создают впечатление чего-то, чего в самом деле нет в жизни». Такую запись сделала Ахматова в записной книжке в июне 1958-го. «Очень хорошо говорил».

И повторила в очерке о Модильяни: «К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествия – это подмена истинного действия».

Как же запала ей в душу эта мысль, если она

вспомнила ее через полвека! А ведь сказано это было в том самом 1911-м, когда Гумилев странствовал по Абиссинии. Так что слова возлюбленного – не прямой ли отклик на путешествия мужа?

Не этот ли взгляд отразился и на отношении Ахматовой ко многим стихотворениям Гумилева, связанным с романтикой дальних стран.

– Правда, – сказала она как-то вскользь, – Гумилев был бы удивлен, узнав, какие стихи я недавно перевела.

– Какие? – спросил я.

– Лирику Древнего Египта.

Согласилась переводить, должно быть, потому, что с молодости была наслышана о поэзии древних египтян. И от Гумилева, и от второго мужа, Владимира Казимировича Шилейко, знатока Древнего Востока.

Что же до экзотических стран, то в стихах Ахматовой их нет. Разве что:

Восток еще лежал непознанным пространством
И громыхал вдали, как грозный вражий стан...

Потом в ее записной книжке 1963 года я увидел: «Невнимание критиков (и читателей) безгранично. Что они вычитывают из молодого Гумилева, кроме озера Чад, жирафа, капитанов и прочей маскарадной рухляди?»

Этим стихам Ахматова противопоставляла другие: «Память», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай». Что говорить, стихи прекрасные. Но почему же «маскарадной рухлядью» увлекалось так много людей, почему она составила славу Гумилева, почему повлияла на многих поэтов?

Конечно, бывает повальное помешательство на чем-то банальном. Но тот ли случай здесь? Такое помешательство быстро проходит, а этому – скоро чуть ли не сто лет!

В стихах Гумилева Анне Андреевне не по душе была не только «экзотика». О посвященном ей стихотворении «Из города Киева» писала: «Тоже мне – *stile Russe!*» Но это – совсем другое. Тут – личное.

* * *

Многое из того, что говорила Анна Андреевна, было мне внове. Об «Африканском дневнике» услышал впервые. Обнаружен он был через четверть века.

Ахматова сказала четко, что первый раз Гумилев ступил на африканскую землю в 1908-м, приехав в Каир. Однако в многочисленных воспоминаниях о нем и в исследованиях, появившихся позднее, говорилось о путешествии 1907 года.

В 1907-м Гумилев написал рассказ «Вверх по Нилу» и дал подзаголовок: «Страницы из дневника». Это и ввело многих в заблуждение. Отсюда и домыслы, что он добирался до Судана, а может быть и совсем уж далеко, до озера Чад. Причина смещения: его стихи об озере Чад.

Анна Андреевна, я уверен, говорила не только мне, что он до 1908 года в Африке не был, да и в 1908-м – только в Египте. Это есть и в той части ее записных книжек, которая была издана еще в 1978-м.

Тем не менее на эти ее слова, кажется, никто не обратил внимания. Продолжали писать и о путешествии 1907 года, и о Судане, и об озере Чад.

Так что Ахматова была точней, чем многие гумилевоведы.

Несогласие у меня вызвало только одно ее утверждение, хотя она на нем настаивала. Оно закреплено и в ее записных книжках в памятке «Гумилев и Африка». О гумилевском сборнике «Шатер», целиком посвященном Африке, Анна Андреевна записала: «Шатер» – заказная книга географии в стихах и никакого отношения к его путешествиям не имеет». Когда она мне это говорила, я пытался возражать, но, конечно, очень-очень робко. Спорить с Ахматовой! Да и полной уверенности у меня не было. Но вернувшись домой, я сразу взял «Шатер». Там есть такие места:

Я поставил палатку на каменном склоне
Абиссинских, сбегających к западу гор
И беспечно смотрел, как пылают закаты
Над зеленою крышей далеких лесов.

Или:

И, мыча, от меня убегали быки,
Никогда не выдавшие белых.

Или:

По ночам выбегали веселые зебры,
Мне был слышен их храп и удары копыт.

В стихотворении «Суэцкий канал» автор присутствует с самой первой строки. С личных впечатлений начинается и стихотворение «Сомалийский полуостров»:

Помню ночь, и песчаную помню страну
И на небе так низко луну.
И я помню, что глаз я не мог отвести
От ее золотого пути.

Может быть, все это – просто поэтический прием? Нет, акмеисты считали, что отличаются от символистов ясностью, точностью, четкостью своих описаний. У Ахматовой: «Двадцать первое, ночь, понедельник». Или: «Я пришла к поэту в гости ровно в полдень, в воскресенье». Гумилеву подобная точность была присуща не меньше, чем Ахматовой.

И в стихотворениях «Шатра» видно четкое разграничение. Когда Гумилев пишет о местах, где он действительно был, ощущается эффект присутствия. Если же речь идет о странах, где он не был, прямого авторского присутствия нет. В стихотворении «Нигер» автор ведет рассказ, как бы склонившись над картой. А в стихотворении «Мадагаскар»:

И мне снилось ночью: плыву я
По какой-то большой реке.

...Я лежал на моей постели
И грустил о моей ладье.

Анна Андреевна очень убедительно говорила, что какое-то издательство тогда решило заказать поэтам сделать сборники о географии каждого из континентов в стихах, ярко, так, чтобы это хорошо запоминалось. Гумилев зажегся этой идеей – вот и появился «Шатер». Все верно – я потом проверял. Но можно ли сказать так кате-

горично: «И никакого отношения к его путешествиям не имеет»? Может ли поэт, если он поэт настоящий, начисто отделить себя от темы своих стихов? И у Гумилева «заказная книга географии» пронизана его впечатлениями, его восприятием.

* * *

Анна Андреевна говорила с резким осуждением о тех, кто вменяли увлечение путешествиями Гумилеву в вину: как, мол, можно восторгаться «Чужим небом», когда есть свое, отечественное. Ее глубоко задело, что даже Блок нападал на Гумилева, обвиняя его в «иностранности».

— Как же это глубоко въелось у нас — обвинять в недостатке патриотизма, — сказала она и прочла горькие строки Пушкина:

Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет...

Гумилеву, говорила она, поначалу даже в голову не могло прийти, что его будут обвинять. У него самого не было неприязни к иностранному — он не очень замечал ее и у других.

«КЕМ НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ИСТОЧНИКОМ»

*И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать.*

А. Ахматова

*И, как безумная, хохочет
И плачет память над тобой.*

Д. Самойлов

Тема, которая у Ахматовой вызвала взрыв негодования, — воспоминания русских эмигрантов. С царственным обликом Анны Андреевны никак не вяжется определение «яростно». Но она заклинала не верить всему, что написано о Гумилеве в эмиграции. Я запомнил ее слова и многое записал. Но она считала, что лучше не приводить услышанное как прямую речь: искажений трудно избежать, вырвав фрагмент из общего контекста беседы.

Многое из того, что мне говорила Ахматова, я нашел потом в ее записных книжках. Что-то почти слово в слово, а что-то — подробней. Эта тема ее волновала, она возвращалась к ней в беседах со многими людьми. Записные книжки последних лет ее жизни — спор с мемуарами эмигрантов. По самым разным вопросам — от творчества до интимных отношений с Гумилевым.

Вообще Гумилев в ахматовских записях последних лет присутствует намного больше, чем любой другой из тех, с кем она когда-то была близка. Почему? Ведь Анна Андреевна сама называла их брак «несостоявшимся».

Причина в том, что жизнь с ним пришлась на

ее молодость, а молодость всегда помнится больше и лучше? Или в том, что он посмертно стал так знаменит?

Книги и статьи об Ахматовой, о Гумилеве и в целом о Серебряном веке, которые появлялись в Западной Европе и в Америке, до Советского Союза доходили далеко не все и не сразу, да и то, что доходило, пряталось в «спецхраны» библиотек. Но Анна Андреевна жадно стремилась увидеть эти книги.

И вот ее отклики.

О книге Сергея Маковского «На Парнасе Серебряного века»: «Он, старый человек, срамится, передавая с чьих-то слов зловонные и насквозь лживые семейные истории». «...Развязность его не имеет предела». «Маразмист-затейник». «Бездельник и болтун».

Еще резче — о Георгии Иванове и его «Петербургских зимах»: «Вреднейшая книга». «Никогда и нигде он не сказал ни слова правды. Лично обо мне он ничего не помнит. Был кузминский мальчик. Знал, что я не признавала его как поэта, ни разу с ним не говорила... Он циник — ему все равно. В честь Одоевцевой он "ссаживает меня с трона"». «Г. Иванов должен быть дезавуирован как оболгавший всю эпоху, весь "серебряный век", неграмотный и бездарный хулиган». «Это пустой снобик из кузминской своры — сплетник и мелкий, но довольно хитрый дьяволенок». Возмущена тем, как в книге выведен Михаил Кузмин: «Как можно русское Возрожд[ение] отдать в руки глупому, злому и абсолютно безграмотному педерасту и позволить ему разыгрывать роль учителя жизни».

И так, или почти так, обо всех, кто публиковал мемуары.

О жене старшего брата Гумилева, которая, как и Ахматова, была Анной Андреевной, и тоже Гу-

милевой: «Вдова брата, с кот[орой] всю жизнь был в никаких отношениях, ничего не знала. Все путает. Я — с ней 10-ти слов не сказала».

О воспоминаниях Веры Неведомской, с которой Гумилев был близок, когда жил у своей матери в Слепневе: «...случайная слепневская соседка». «Никакая Вера Неведом[ская] не может быть истолковательницей отношений Гумилева и Ахматовой».

А. А. Гумилева, Вера Неведомская и Ирина Одоевцева — «ничего не помнящие старухи».

«...Бред Маковского, вранье Г. Иванова и меццанские сплетни старушек».

«...Все эти персонажи были совершенно чужды нашей жизни, ничего в ней не понимали, хотят заработать на этом какие-то деньги и имя».

«Ни Одоевцева, ни Оцуп Петербурга не нюхали. Они появились в 19 г., когда все превратилось в свою противоположность и, во-первых, все уехали».

При жизни Ахматовой выходили очерки Глеба Струве и других зарубежных ученых и первые тома американского собрания сочинений Гумилева под редакцией Струве и Бориса Филиппова.

Вот реакция Ахматовой: «Как всегда бывало в моей жизни, случилось то, чего я больше всего боялась. Бульварные, подтасованные, продажные и просто глупые мемуары попали в научные труды». Статью Глеба Струве о Гумилеве разносит в пух и прах: «Бредовые сказки о конце препятствуют выходу Г-ва на Родине».

О Леониде Ивановиче Страховском, американском литературоведе: «Страховский — просто самозванец».

Все это так мучает Ахматову, что даже за несколько месяцев до кончины, во время поездки в Лондон на несколько дней, которые были расписа-

ны буквально по минутам, она записывает: «Кем нельзя пользоваться как источником». И перечисляет: Маковский, Страховский, Г. Иванов, Гумилева-Фрейганг, Неведомская, Оцуп, Вс. Рождественский «и все соученицы». Наверно, это она хотела сообщить тем, с кем встречалась в Англии.

* * *

Почему Анна Андреевна говорила так резко, с таким неприятием, осуждением обо всех, кто в эмиграции писал о ней и о Гумилеве? Почему так, буквально с ненавистью? Даже о тех, кого она знала когда-то, с кем была в добрых отношениях. Почему? Я много думал об этом впоследствии. Нашел только одно объяснение.

С гражданской войны, почти полвека, ей не давали возможности высказаться самой, опубликовать воспоминания, показать современникам и оставить потомкам свое видение происходившего. А там, в эмиграции, таких воспоминаний издавалось множество. До Ахматовой доходили лишь немногие — как им было попасть через границу, которая была «на замке»? И первое, что бросалось ей в глаза, естественно, это ошибки, неточности и, главное, такое объяснение событий и характеров, которое казалось ей вопиющей неправдой, даже намеренной ложью.

Анна Андреевна представляла, сколько еще лжи в тех бесчисленных мемуарах, которые «там» читают и принимают за правду, а она даже не может их увидеть: «железный занавес». А ведь там — о ней! Ее жизнь, ее история, ее образ! Мир судит о ней, о ее жизни по книгам людей, с которыми она рассталась несколько десятилетий назад и которые ее с тех пор не видели, не знают, не понимают.

Поэтому и протестовала так яростно: «А я,

наконец, не согласна! Я не хочу, чтобы мне подсовывали какую-то чужую и мне отвратительную жизнь и старались уверить меня, что я ее прожила, а она – просто плод воображения 5–6 каких-то подозрительных личностей (в основном выживших из ума)».

Не желала «видеть себя и Колю глазами мелкого жулика Г. Иванова, абсолютно впавшего в детство, злобствующего, умирающего от зависти С. Маковского и убогих и мещанских сплетниц».

Все то, что Анна Андреевна возненавидела, было связано прежде всего с мемуарами и вообще с литературой о Гумилеве. О нем писали все больше и больше. И Ахматова считала, что ее роль чудовищно искажается или так же чудовищно принижается.

«Выбросить меня из творческой биографии Г-ва так же невозможно, как Л. Д. Менделееву из биографии Блока».

«Я ТОСКОЙ ТВОЕЙ БЫЛА»

*Я была твоей бессонницей,
Я тоской твоей была.*

Как Божье солнце, меня любил.

*Живым изменницей была,
И верной – только тени.*

А. Ахматова

Она всячески отстаивала свою роль и в творчестве, и в жизни Гумилева. Много раз составляла перечень его стихов, посвященных ей или связанных с нею. Считала, что это – большинство

стихов, написанных до 1913 года, а потом — «Эзбекие» и «Память».

Была уверена, что черная ревность душила его, сводила с ума, и призрак самоубийства неотступно шел за ним из-за ревности к ней. Весь цикл «Чужого неба», по ее словам, это ожесточенная «борьба с тем, что было ужасом его юности — с его любовью».

Ее возмутили слова Сергея Маковского, что Гумилев «не торопился жениться».

«Бесконечное жениховство Н. С. и мои столь же бесконечные отказы, наконец, утомили даже мою кроткую маму, и она сказала мне с упреком: "Невеста невестная", что показалось мне кощунством. Почти каждая наша встреча кончалась моим отказом выйти за него замуж. А "рара Масо" пишет: "Он не торопился жениться". Нет, Серг[ей] Конст[антинович], он очень торопился».

Его многочисленные любовные связи Ахматова считала «донжуанством» и первопричину видела в его трагической любви к ней. Не скрывала, что изменила первой и что уже через два года после женитьбы они дали друг другу свободу.

Ее раздражало, что из нее делали ревнивую жену. «Выдумка про мою ревность совершенно бесподобна».

Правда, на самом-то деле ревность ей не была чужда:

Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Но уверяет, что не к Гумилеву ее упрек —

Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Перечисляет, к кому она, казалось бы, могла ревновать – и не ревновала. Называет его женщин и дает даты его романов: Таня Адамович – 1914–1916, Лариса Рейснер – 1916–1917, Ольга Арбенина – 1920, и т. д.

«На ком-то он собирался жениться (Рейснер), на ком-то женился (Энгельгардт), по кому-то сходил с ума ("Синяя звезда"), с кем-то ходил в мебл[ированные] комнаты (Ира?), с кем-то без особой надобности заводил милые романы (Дмитр. и Лиза К-К),* а от бедной милой Ольги Николаевны Высотской даже родил сына Ореста (13 г.). Все это не имело ко мне решительно никакого отношения. Делать из меня ревнивую жену в 10-х годах очень смешно и очень глупо».

И добавила: «Я называла эти и еще многие женские имена не для сплетен, разумеется, а для того, чтобы указать, к кому что относится». То есть, кому посвящено то или иное стихотворение.

Как же настойчиво Ахматова подчеркивала, что такие-то и такие-то стихи были посвящены именно ей! Перечисляла, повторяла. Ей, а не кому-то другому. Не другим женщинам, которые претендуют или, может быть, захотят на них претендовать!

Можно бы легко это понять, если бы она, Анна Андреевна, пылко любила его. Так почему же? Из гордыни? Великой Ахматовой это важно?

Правда, Гейне считал, что люди – тщеславнейшие из созданий, а поэты – тщеславнейшие из всех людей. И если оно было, то Ахматовой про-

* Елизавета Ивановна Дмитриева и Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (в монашестве – Мать Мария).

ститительно. Ущемленность сопровождала большую часть ее жизни.

Виктор Андроникович Мануйлов рассказывал мне, что как-то, проведя полдня у Ахматовой в Комарове, прощаясь, сказал:

– Да, все забываю. Новая статья о Вас появилась.

И назвал какую-то совсем маленькую страну – Люксембург или Лихтенштейн.

Она вспыхнула и упрекнула с досадой:

– Что ж, Вы сидели у меня так долго, а о главном чуть не забыли!

Это те времена, когда в советской печати ее имя вообще не появлялось.

Вероятно, поэтому Анна Андреевна так настаивала и на полной самостоятельности своего творческого пути. Она даже как бы сама изумлялась, что поэт, «влиывший на целые поколения после своей смерти, не оказал ни малейшего влияния на девочку, которая была с ним рядом и к которой он был привязан так долго огромной трагической любовью (а м. б., именно потому)». «...На моих стихах нет никакого влияния Гумилева».

И больше того: «...весь акмеизм рос от его наблюдения над моими стихами тех лет, так же как над стихами Мандельштама».

Да и вообще – «нельзя говорить, что меня взрастили какие-то петерб. салоны, между тем, как я пошла в эти салоны со стихами, которые создали мне известность».

Правда, признавала, что и Гумилев шел своим путем. «Не стоит походя называть Гумилева учеником Брюсова и подражателем Леконт де Лиля и Эредиа. Это неверно, тысячу раз сказано, затрогано такими ручками! Дешево, вульгарно...»

ДИТЯ И МУДРЕЦ

*Что для таких господ –
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!*

М. Цветаева

*В трудные времена наивность –
это самое драгоценное сокровище, это
волшебный плащ, скрывающий те опас-
ности, на которые умник прямо на-
скакивает, как загипнотизированный.*

Э. Ремарк

Мне хотелось спросить Анну Андреевну: каковы же были политические взгляды Гумилева. Задать напрямую не решался – такие вопросы и сейчас-то не деликатны, а тогда, сорок лет назад...

Но разговор сам подошел к этой теме.

В связи с путешествиями Гумилева Ахматова вспомнила поездку поэта Владимира Нарбута в Абиссинию зимой 1912/13 года. Владимир Иванович вынужден был тогда на время уехать из России – его сборник «Аллилуйя» вызвал недовольство властей. Избрать Аддис-Абебу ему посоветовал Гумилев.

Потом, уже в семидесятых годах, Валентин Катаев в книге воспоминаний «Алмазный мой венец» (где Нарбут выведен под именем Колченогий) написал, что Гумилев и Нарбут вместе охотились в Экваториальной Африке на львов и носорогов. На самом деле они путешествовали не вместе и в разное время. Да и те места, где они побывали, не принято называть Экваториальной Африкой.

Я спросил об отношениях Гумилева с Нарбу-

том. Анна Андреевна ответила: хорошие. Гумилев ценил его поэзию, в одной из своих рецензий назвал ее яркой. Да и сама Ахматова посвятила ему одно свое стихотворение. Перед Первой мировой войной они были товарищами по Цеху поэтов.

Этот поворот разговора и дал мне возможность поинтересоваться политическими взглядами Гумилева. Я упомянул, что Нарбут стал большевиком еще до Октябрьской революции. Как же Гумилев к этому отнесся?

Она сказала, что позиция Нарбута определилась не сразу, а о политических взглядах Гумилева вряд ли стоит говорить всерьез:

— Ну какой он политик? Наивный был человек.

* * *

Эти ее слова поразили меня, пожалуй, сильнее всего. Мне показалось, что они относились не только к политике. Ахматова говорила о Гумилеве, как женщина, умудренная долгой жизнью и страшной судьбой, — о молодом человеке, на чью долю не пришлось и малой толики ее опыта и ее испытаний.

В нашем отношении к окружающим первые впечатления неизгладимы. Если мы познакомились с кем-то, когда он был молод, этот образ в нашей памяти не исчезнет. В повзрослевшем и даже постаревшем лице нет-нет да и проступят черты, запомнившиеся когда-то.

Анна Ахматова лучше всего знала Гумилева в годы его ухаживания — ему было от семнадцати до двадцати трех. И в первые годы их совместной жизни — ему было двадцать три — двадцать пять. А когда я разговаривал с ней, ей было... больше.

Может быть, в этом и объяснение? Но только ли в этом?

Близко знавшие Гумилева нередко говорили о его наивности. Полушутливо-полусерьезно — что он на всю жизнь остался юношей.

Владислав Ходасевич: «Он был удивительно молод душой, а может быть, и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной...»

Писатель Василий Немирович-Данченко считал, что Гумилев опоздал родиться лет на четыреста, что он был бы на своем месте в средние века — «он увлекался бы красотой невероятных приключений, пытал бы свои силы в схватках со сказочными гигантами, на утлых каравеллах в грозах и бурях одолевал неведомые моря».

Эрих Голлербах: «Ему просто всю жизнь было шестнадцать лет».

Может быть, в ответ на насмешки Гумилев и сам говорил, что ему вечно тринадцать лет, добавляя при этом, правда, что Мишеньке (Михаилу Кузмину) — три.

Шкловский изумился, увидев, что Гумилев на четвертом десятке лет с увлечением читает Майн Рида. Вячеслав Иванов называл Гумилева: «мальчик, который читает Майн-Рида».

Ребячество? Наивность водила его пером в 1918-м, после двух революций?

Здесь, в мире горестей и бед,
В наш век и войн и революций,
Милей забав ребячьих — нет,
Нет глубже — так учил Конфуций.

Борис Чичибабин вторил ему уже в наше время тоже из ребячества?

Безумный век идет ко всем чертям,
а я читаю Диккенса и Твена
и в дни всеобщей дикости и тлена,
смеюсь, молюсь мальчишеским мечтам.

Безусловно, в каком-то смысле можно говорить о наивности Гумилева. Когда незадолго до ареста он уверенно считал, что его не тронут, потому что он известен, знаменит, — это наивность. Хотя вообще-то манерой поведения Гумилев всячески противопоставлял себя именно понятию наивность. Стремился выглядеть многоопытным, всезнающим.

Алексей Толстой писал: «В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость», он «всегда сидел прямо, — длинный, деревянный», «с надвинутым на глаза котелком» или «в надвинутом на брови цилиндре».

Толстой был когда-то близок с Гумилевым и считал себя его единомышленником («мы обсуждали дальнейшие планы завоевания русской литературы»). Писал он об этом сразу после трагической гибели Гумилева и отзывался о нем с пиететом. Но даже тут не смог избежать упоминаний о напыщенности и важности. Что уж говорить о тех, кто Гумилева не любил. Как только они ни издевались над его чопорностью!

Наверно, высокомерием и надменностью он прикрывал от чужих глаз тот комплекс непризнанности, что мучил его долгие годы. Каково было гимназисту, если он в старшем классе оказался второгодником и получил аттестат зрелости лишь на двадцать первом году жизни, а считал себя сложившимся поэтом?

А потом? Презрительно-насмешливый прием у Гиппиус и Мережковского, высокомерие Бальмонта... Сколько усмешек он видел! И сколько ему еще чудилось! Вот надменность и высокомерие и стали броней, за которой можно было скрыться. Не так ли многие за цинизмом прячут свою ранимость? Цинику и скептику легко выглядеть умным и всезнающим. Над ними труднее смеяться.

Долго живя во Франции, Гумилев не мог не слышать: «Каждый мужчина – большой мальчик, а каждая девочка – маленькая женщина». Ничего оскорбительного для мужчины в том нет. Наоборот, француженки произносят это с теплотой и умилением по отношению к своим мужчинам. И к Гумилеву эти слова относятся больше, чем ко многим.

А его броня высокомерия? В последние годы жизни, становясь уже признанным мэтром, в такой броне он нуждался меньше. В страшное время разрухи, голода и террора мог играть в жмурки и другие игры со своими учениками так увлеченно, что они изумлялись его простодушию и восхищались его детскостью.

Как это у него получалось? В чем разгадка? Николай Оцуп: «Гумилев – дитя и мудрец. Оба начала развивались в нем на редкость гармонично».

* * *

Ну, а конкретный вопрос – политика?

Известно, что Гумилев и Максимилиан Волошин с какого-то момента невзлюбили друг друга. Для этого оба имели основания. Тем не менее в их взглядах много общего. Гумилеву не чужд был подход Волошина:

Политика есть дело грязное:
Ей надо
Людей практических,
Не брезгающих кровью,
Торговлей трупами
И скупкой нечистот...
Но избиратели доселе верят
В возможность из трех сотен негодяев
Построить честное
Правительство стране.

В те времена еще не родилась шутка о том, как отец наставляет сына: «Ты знаешь, что бывает с детьми, которые лгут? Они подрастают и уходят в политику». Но когда Гумилев в одном из рассказов написал: «...народ добрый и честный, только людоеды», — не политиков ли он имел в виду?

Гумилев не любил читать газеты. Плохо? А Марина Цветаева? Вспомните, с какой брезгливостью она относилась к читателям газет: «глотатели пустот», «хвататели минут»! Максимилиан Волошин? «Газета есть самый сильнодействующий яд». Ближе к нашим дням? Вот Ежи Лец: «Окно в мир можно завесить газетой».

Да разве только они? Сколько сарказма вызывали газеты даже в Англии, стране, чья пресса считается наиболее уважаемой. «В газетах нет ни слова правды. Поэтому-то их и читают», — говорил британский премьер Дизраэли. И то же самое, почти через сто лет, министр иностранных дел Бевин: «Я читаю газеты от первой до последней страницы. Это для меня единственный способ оставаться в мире фантазий». Правда, высказывалась и мысль, над которой стоит задуматься в наши дни: «Там, где газеты не свободны печатать

всякую чушь, люди у власти свободны делать всякую чушь».

Гумилев делил окружающих на «читателей книг» и «читателей газет». О первых писал с глубоким уважением, о вторых — свысока.

* * *

И до встречи с Анной Андреевной, и потом мне хотелось понять, как Гумилев относился к самым бурным катаклизмам в нашей стране: в 1917-м, да и в 1905-м. Из разговора понял, что даже эти события не заняли в его жизни такого огромного места, как у большинства соотечественников, не поглотили целиком внимания, не оторвали от творчества.

Вот объяснение другого человека, из той же среды, и даже сходной судьбы. В 1926-м в своей автобиографии он написал, что к Октябрьской революции «отнесся безразлично, так как по своим религиозным убеждениям не придавал значения политическому строю и социальным порядкам, считая, что лишь с изменением внутренних качеств человечества может измениться к лучшему и внешняя обстановка жизни».

Это слова Георгия Евгеньевича Гернгросса. Он того же поколения, на шесть лет моложе Гумилева. Тоже из военной семьи. Как и Гумилев, не эмигрировал. Как и Гумилев, увлекался Африкой, писал о ней книги и статьи. И тоже был расстрелян, только полутора десятилетиями позже.

В начале двадцатых, когда возникли «Серапионовы братья», Лев Лунц провозгласил их кредо:

«Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. "Кто не с нами, тот против нас! — говорили нам справа и слева. — С кем же вы, Серапионовы братья?»

С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции?"

С кем же мы, Серапионовы братья? Мы с пустынником Серапионом...

Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность... Мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь. И, как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать».

Михаил Зощенко (он тоже был «серапионом») сформулировал кредо еще и с присущим ему юмором.

«Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, тоже идеология... Требуется нынче от писателя идеология... Этакая, право, мне неприятность...

Какая, скажите, может быть у меня "точная идеология", если ни одна партия в целом меня не привлекает?

С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, я просто русский. И к тому же – политически безнравственный...

Честное слово даю – не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков... В какой партии Гучков? А черт его знает в какой он партии. Знаю: не большевик, но эс-эр он или кадет – не знаю и знать не хочу».

Через четверть века, в 1946-м, когда по литературе, да и по всей культуре прошел паровой каток постановлений ЦК, кто-то из дотошных референтов раскопал номер «Литературных записок» за 1922-й, где появились эти слова. И Жданов включил их в свой доклад. Льва Лунца

давным-давно не было в живых. Зато Зоценко... Все мы знаем, чего это ему стоило.

Но тогда, в начале двадцатых, подобное еще можно было публиковать.

Во всех этих признаниях нет клятв верности большевизму, но нет и намека на преклонение перед падшей монархией.

А Гумилеву приписывали, да приписывают и сейчас, чуть ли не ярый монархизм.

Доказательства? Говорят, выступая в 1920-м или 1921-м перед матросами Балтфлота, «братишками», бросавшими офицеров в море, он читал:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет своего государя.

Если так, если Гумилев шел на риск, по тем временам страшный, то это было что хотите: фронда или присущее ему стремление испытывать судьбу, но твердые политические убеждения — вряд ли.

В 1917-м он был помощником комиссара Временного правительства во Франции и, кажется, нисколько не тяготился своими обязанностями, выполнял их с готовностью. А после возвращения в Россию, уже большевистскую, не считал зазорным бывать запросто у председателя Петроградского совета Бориса Каплуна, пить с ним вино или нюхать эфир.

На Германскую войну сразу же пошел добровольцем. Да, заслужил два Георгия. Но было ли в его стихах или разговорах хоть что-нибудь политическое? Мне кажется, ни разу. Он опубликовал серию газетных очерков о войне. Но и там — ни слова ненависти к Германии (а это тогда за-

хватило многих, даже собратьев по перу). И ни слова в поддержку территориальных захватов, о чем в Российской империи так мечтали, что даже либерала Милюкова прозвали «граф Дарданелльский».

Что же, и тут – политическая наивность?

Гумилев любил говорить, что миром должны управлять поэты. Над ним посмеивались, считали это верхом наивности, чудачеством. Да и правда, разве это не наивность? Но скажите, а когда правители не ведают ничего, кроме цинизма, и начисто лишены поэзии – лучше? А такими полна история. И мы знаем плоды их деяний.

* * *

Не могу не привести еще одну мысль Гумилева. Во время Гражданской войны и разрухи многие поэты и писатели метались, не зная, что делать и как жить. А у него сомнений не было, или, во всяком случае, их было меньше.

«...В наше трудное и страшное время спасение духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал прежде».

Эти строки я прочитал по-новому в начале девяностых, после распада СССР. Люди культуры и науки ужаснулись невостребованности своего труда. Кто-то уходил в бизнес, кто-то уезжал, у кого-то просто опускались руки.

Пусть и не так ужасно, как тогда, но все-таки прежний мир рушился. Должно быть, общих рецептов в таких случаях нет и не может быть. Но для спасения духовной культуры страны – что может быть мудрее этих слов Гумилева?

Он с достоинством отвечал нападкам из-за рубежа на издательство «Всемирная литература»,

где работал и где собрались тогда лучшие литераторы: «Не по вине издательства эта работа его сотрудников протекает в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гигать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что они делают, или не уважающие себя».

«О ГУМИЛЕВЕ Я НЕ РЕШИЛСЯ РАССПРАШИВАТЬ»

*Мы ничего не знаем,
Ни как, ни почему...*

Н. Гумилев

*Заманчиво задним числом
Отыскивать наши ошибки.*

Д. Самойлов

Услышанное от Анны Андреевны я решил подтверждать фрагментами из ее записных книжек не только потому, что она протестовала против прямой речи в воспоминаниях. Дело в том, что пережитое с годами все больше искажается в нашей памяти. Читая собственные заметки и письма далеких лет, видишь подчас уже не то, что когда-то казалось самым важным. Акценты смещаются.

Ахматова обращала внимание на это: «Все, что случилось примерно полвека назад, неизбежно кажется сном и повинуется законам сна, т. е. яркости и неизгладимости отдельных мгновений, но и черной беспмят[ности] тут же рядом».

Была и еще одна причина, почему мне часто хотелось опереться на записные книжки Анны Андреевны. Мнения и оценки, которые я слышал от нее, не всегда совпадают с теми, что запомнили другие ее собеседники. Иногда встречаешь и явное противоречие.

Давид Самойлов после встречи с Анной Андреевной написал: «Однажды показала мне первый том из собрания Гумилева, изданного в Америке. С равнодушием, как мне показалось».

Это прямо противоречит моему впечатлению. Какое уж тут равнодушие? Она вся кипела, когда говорила об этом томе и о предисловии Глеба Струве.

Самойлов написал: «За собой она числила поэтическую школу. Гумилев, считала она, поэтической школы не создал».

А мне она говорила об огромном влиянии Гумилева на молодежь и в тридцатых годах, и еще больше — в годы «оттепели».

Может быть, Анна Андреевна в разговоре с Давидом Самойловым имела в виду, что (как она любила повторять) ученики Гумилева, оказавшись в эмиграции, отреклись от него. И говоря о «школе», подразумевала только этих поэтов, а не тех, кто испытал на себе влияние Гумилева впоследствии, уже после его смерти.

Это — мое предположение. Самойлов объяснения не дал. Не пояснил и другое свое наблюдение. В словах Ахматовой ему «чудился какой-то внутренний спор» ее с Гумилевым. Что за спор? О чем? Подвел черту одной фразой: «О Гумилеве я не решился спрашивать».

...Сколько было возможностей когда-то спрашивать тех, кто знал Гумилева. Эти люди были живы, были доступны. Но как решиться

задавать вопросы о том, чье имя под запретом? Как затрагивать эту тему? И насколько можно ждать искренних ответов?

Как-то поздно вечером – было это вскоре после войны, в 1945-м, – я заболел. Высокая температура. Мама заметалась. Вспомнила, что в соседнем доме живет врач по фамилии Туроверова. Попросила соседней сбегать за ней. Та сразу же пришла. Помочь не сумела – оказалось, что она гинеколог. Но с этого началось наше знакомство. Слово за слово – выяснилось, что она писала стихи в духе Ахматовой, в начале двадцатых печаталась.

Туроверова знала и Гумилева, и Ахматову, но говорила сдержанно. Да и я вопросов не умел задавать, по молодости. И не до того было в голодном послевоенном Питере. Запомнилась больше всего ее судьба. Судьба тех, кто во времена Гумилева мечтали быть поэтами и были ими, но – не та идеология, не те стихи.

* * *

А с кем-то не очень получался нужный разговор даже потом, после «реабилитации» Гумилева, когда можно было уже говорить свободно.

Когда я спросил у Анны Андреевны, не может ли быть каких-нибудь материалов об отце у ее сына, Льва Николаевича Гумилева, она ответила:

– Не думаю. Если хотите, попытаюсь узнать. Мы с ним не поддерживаем отношений, но у нас есть общие знакомые.

Ее слова так меня поразили, что я записал их точно. Поэтому и позволяю себе цитировать.

Как я понял, она не дала прямого совета: стоит ли обращаться к Льву Николаевичу. Но

потом, когда ее не стало, я все же его расспрашивал. Встречался с ним и в Москве, и в Ленинграде.

Мне показалось, что у него был комплекс, нередко присущий детям прославленных родителей. Им хочется, чтобы окружающие интересовались ими не только из-за родства.

Разговор то и дело переходил на востоковедные темы. Оба мы – востоковеды, учились в одном университете, у нас много общих знакомых. В 1949-м, когда его «брали», мы, студенты, пытались понять, кто же на него «стукнул». Не могу сказать, что я вполне разделяю научные теории Л. Н. Гумилева, но оголтелые нападки на его первые книги не могли не вызвать к нему симпатию.

В нашем разговоре он больше всего говорил об Одоевцевой и ее мемуарах, очень резко, подчеркнуто называя ее только «Гейнике» и напоминая, что она сменила фамилию-имя-отчество (Анна Андреевна, при всей своей антипатии к Одоевцевой, этой темы не касалась). Вообще как-то так получилось, что почти обо всех, о ком мы говорили, он отзывался скорее негативно. Нередко – насмешливо, ядовито, даже желчно. Не могу сказать, что узнал от сына много нового об отце. Мне показалось, что он куда больше настроен на передачу, чем на прием: не очень слушал собеседника, говорил «про свое».

Вероятно, я несправедлив. Конечно, я пришел ко Льву Николаевичу, настроенный словами Анны Андреевны. И думал: как он мог к ней так относиться, не помириться, а потом бить земные поклоны... на похоронах. Ведь даже за полгода до смерти Ахматова писала о нем в записной книжке: «Он стал презирать и ненавидеть людей и сам перестал быть человеком. Да просве-

тит его Господь! Бедный мой Левушка». И сравнивала с Иосифом Бродским, который тоже побывал в ссылке, но не вынес оттуда «ни тени озлобления и высокомерия».

Но как понять взаимоотношения людей, даже самых близких, даже сына и матери...

Весной 1989-го в Америке, в Йельском университете, я познакомился с российским эмигрантом, который когда-то работал в отделе редких книг ленинградской Публичной библиотеки. Он рассказывал мне о Наталье Варбанец, сотруднице этого же отдела. Я ее знал, но не близко. При встречах любовался поразительно благородной красотой. А он бывал у нее дома. И однажды она показала ему альбом своих рисунков. Там несколько раз повторялся демонический силуэт женщины в мрачных тонах. На вопрос, кто это, Наталья Васильевна ответила не сразу.

– Ахматова. Да, Анна Андреевна.

И рассказала. В молодости она любила Льва Николаевича и пользовалась взаимностью. Они собирались пожениться. Но не получилось – из-за Анны Андреевны, как она считала.

С Орестом Николаевичем Высотским, внебрачным сыном Гумилева, я не встречался. Хотел поехать в Кишинев, чтобы повидать, но, увы, так и не собрался до 1992-го, когда его не стало. Он умер в один год с Львом Николаевичем. Среди прочего, мне хотелось спросить его о тоненькой книжечке, которую я купил во время войны и храню до сих пор. Издана в Свердловске в 1942-м. «Английские баллады». Составитель О. Высотская. Полностью имя и отчество не указаны. Не его ли это мать, Ольга Николаевна? Если так, то значит, связь с поэзией она не потеряла и через тридцать лет после своего романа с Гумилевым.

«НЕВЕНЧАННАЯ ВДОВА»

*Мы прожили столько лет,
А жизнь нашу всякий осудит.*

И. Одоевцева

Анна Андреевна считала, что Одоевцева создает себе образ невенчанной вдовы Гумилева.

Никто, наверно, не знал Гумилева в последние годы его жизни так близко, как она. Ее он всем представлял как свою ученицу.

Я часто встречался с Одоевцевой, когда она, вернувшись в Петербург из многолетней эмиграции, проводила лето 1988-го под Москвой, в Переделкине. Голова у Ирины Владимировны была ясная. Это уже само по себе вызывало почтение. Ведь ей было под девяносто или за девяносто.

Поразила она меня редким среди мемуаристов качеством – отсутствием эгоцентризма. Не ставила себя, подобно многим, в центр событий. В суждениях об ушедших старалась быть доброжелательной, даже благодушной. Вспоминала что-то хорошее, а не плохое. Не в этом ли секрет ее поразительного долголетия? Может быть, она давно поняла это сама? Писала ведь в одном из своих стихотворений:

По набережной ночью мы идем,
Как хорошо — идем, молчим вдвоем.
И видим Сену, дерево, собор
И облака...
А этот разговор
На завтра мы отложим, на потом.
На послезавтра...
На когда умрем.

Всегда стремилась казаться веселой и беспечной.

Я во сне и наяву
С наслаждением живу.

Не под влиянием ли Гумилева? Он так любил в своих стихах слова «весело», «веселый». Хотя взяла же эпитафией к одному из своих стихотворений слова Блока: «Звезды, звезды, откуда такая тоска!»

Помня, как резко судила Анна Андреевна воспоминания эмигрантов о Гумилеве, я старался выяснить мнение Одоевцевой. Сначала осторожно, потом все настойчивей. В одну из встреч прочитал ей несколько мест, поразительно неправдоподобных, из «Петербургских зим» Георгия Иванова и его очерка «О Гумилеве».

О Гумилеве там сказано, например: «Он не путешествовал как турист. Он проникал в неисследованные области, изучал фольклор, мирил враждовавших между собой туземных царьков. Случалось – давал и сражения. Негры из сформированного им отряда пели, маршируя по Сахаре». Георгий Иванов даже привел слова песни:

Нет ружья лучше Маузера!
Нет вахмистра лучше 3-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!

Никаких сражений Гумилев, конечно, не устраивал. В Сахаре вообще не был. У африканцев, с которыми путешествовал, нет никаких «вахмистров». Да и «царьков» в Абиссинии, где он бывал, тоже нет. Абиссиния тогда была уже централизованным государством во главе с императором.

А Нарбут в «Петербургских зимах» вообще превращен в глуповатого парня, который только что варезку не сосет.

Одоевцеву несколько не смутили мои нападки на ее мужа.

— Это же литературное произведение, что вы хотите.

О Владимире Нарбуте сказала, что ее Жорж писал «Петербургские зимы» еще в середине двадцатых. Нарбут был тогда близок к ЦК ВКП(б), возглавлял крупное издательство «Земля и фабрика». Вот Георгий Иванов и излил на него свою ненависть к советской власти.

— А страшный конец Нарбута в Большом Терроре — не мог ведь Жорж это предвидеть.

* * *

Свои собственные воспоминания Одоевцева не считала просто литературным произведением. Настаивала на достоверности «На берегах Невы», «На берегах Сены» и третьей, так и оставшейся недописанной книге воспоминаний «На берегах Леты».

Уверенно настаивала на своей версии гибели Гумилева.

В 1986–89 годах в советской печати горячо обсуждался вопрос, был ли Гумилев связан с «контрреволюционной деятельностью», в чем его обвинила петроградская ЧК? Все мнения склонялись в одну сторону: нет, нет и нет.

Одоевцева возмущалась этим и твердо стояла на своем: Гумилев написал листовку в поддержку кронштадтского антибольшевистского восстания и даже сам ходил к матросам. (Так она сказала даже в своем интервью по телевидению.) Тут она полностью согласна с Георгием Ивановым.

Одоевцева вызвала у меня чувство доверия и тем, что говорила, и тем, как говорила. Без сомнения, ее воспоминания – тоже литературное произведение. Но все же таких неправдоподобных выдумок о Гумилеве, как у Георгия Иванова, у нее нет. Во всяком случае, они не бросаются в глаза.

И все-таки... Литераторы довольно часто искажают исторические факты. В прекрасной книге Паустовского «Далекие годы» самая романтическая фигура – «дядя Юзя». Паустовский пишет, что дядя Юзя воевал добровольцем в англо-бурской войне, потом сопровождал трансваальского президента Крюгера в его поездке в Россию. А еще раньше побывал в Эфиопии. «Он вернулся оттуда с огромным золотым орденом, пожалованным ему за что-то негусом Менеликом». И даже наглядная подробность: «Орден был похож на обыкновенную дворницкую бляху».

Дядя Юзя – лицо невымышленное (я узнал его фамилию – Высочанский). Но в перечне русских офицеров, побывавших в Эфиопии и Трансваале, его имени нет. А президент Крюгер никогда не был в России.

Мне очень хотелось спросить об этом Константина Георгиевича, но не решился. Неловко как-то. Но после его смерти говорил с его близкими. Они сказали в один голос: обсуждать это с Паустовским было бы бессмысленно – то, что он писал, так закреплялось в его памяти, что иную трактовку ему принять было трудно.

А воспоминания Иванова и Одоевцевой? Орел Гумилева в глазах русской эмиграции и всего Запада должен был стать еще ярче, если он боролся с большевиками. Возникнув, эта версия могла остаться в умах ее создателей...

Но ведь и версия советских журналов, против которой так возражала Одоевцева, тоже полити-

зирована. Обелить Гумилева перед советской властью можно было, только утверждая, что он не участвовал в заговоре. Лишь потом пришли к выводу, что и самого «таганцевского заговора», участие в котором приписывали Гумилеву, не существовало, что его сфабриковали в ЧК.

...Самое большее, в чем, кажется, можно упрекнуть Одоевцеву, — чересчур радужные краски. Создается впечатление, будто последние годы жизни Гумилева — это веселые прогулки по Таврическому саду, розыгрыши, шутки... Тяготы тех лет Одоевцева не замалчивает, но они как-то на заднем плане. «Все дни тогда были веселые. Это были дни зимы 1920/21 года, и веселье их действительно было не лишено безумья. Холод, голод, аресты, расстрелы. А поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе...» «Так веселились поэты. Так по-детски, бесхитростно, простодушно. Смеялись до слез над тем, что со стороны, пожалуй, даже и смешным не казалось...» «Все снова смеются. Да, наверно, нигде и никогда так много не смеялись поэты, как "в те баснословные" года...» «Все были более или менее влюблены».

Совсем иначе вспоминала об этом времени Ахматова:

«Круглый год в одном и том же замызганном платье, в кое-как заштопанных чулках и в чем-то таком на ногах, о чем лучше не думать (но в основном прюнелевом), очень худая, очень бледная — вот какой я была в это время. И это продолжалось годами».

Да ведь и Гумилеву в голодном и холодном Петербурге было ой как нелегко! Как кормить семью? Мать, жена, двое детей. Так что всегда ли было до прогулок, шуток и розыгрышей?

Но для Одоевцевой это впечатления молодого

сти – первые успехи, встречи с интересными людьми. Первые влюбленности. Можно ли удивляться, что полвека спустя она с умилением будет писать о тех годах? Правда, бывало и такое:

Неправда, неправда, что прошлое мило.

Оно, как открытая жадно могила –

Мне страшно в него заглянуть.

Забудем, забудьте, забудь!

...Я знал, что фамилию-имя-отчество Одоевцева взяла себе в 1919-м или в 1920-м. А до того, по паспорту, была Ираида Густавовна Гейнике. Когда-то мне об этом рассказал Всеволод Александрович Рождественский. По его словам, фамилию «Одоевцева» изобрел для нее Гумилев. На одном из заседаний «Цеха поэтов» он предложил опубликовать ее первое стихотворение, но...

– Но вот как быть с именем автора? Рада звучит не по-русски. Вы меня простите, Рада Густавовна, но Ваше благородное остзейское происхождение сейчас было бы не у места. Надо Вам дать русское имя. Послушаем, что нам может предложить уважаемое собрание.

Послышались предложения, десятки женских имен, остановились на «Ирине».

– Прекрасно, – одобрил Гумилев. – Но это еще не все. Нужна другая фамилия. «Гейнике» звучит, простите, несколько гинекологически. Положимся на волю случая.

Он протянул через плечо руку к книжной полке за спиной и, не глядя, вытащил первую попавшуюся книгу.

– «Русские ночи» Одоевского. Гм... – «Ирина Одоевская». В общем, неплохо. Но был поэт, приятель Лермонтова, Александр Одоевский. Не годится. А с фамилией расставаться жаль. Произведем

в ней некоторое изменение: «Ирина Одоевцева». Право, недурно. Вы согласны, Рада Густавовна?

Новая Ирина, разумеется, была согласна. Да и всем такое словосочетание пришлось по душе.

— Так появилась на свет Ирина Одоевцева, — заключал свой рассказ Всеволод Александрович, — а вскоре вышел и ее стихотворный сборник «Двор чудес».

Когда я пересказал это Ирине Владимировне, она ответила, что фамилия «Одоевцева» была у кого-то из ближайших родственников. Вот она и сочла себя вправе ее взять.

Пожалуй, в первый раз я увидел на лице Ирины Владимировны досаду. До этого мне казалось, что это вообще ей несвойственно. Понял, что задел больное место. И перевел разговор на другую тему.

Ее раздражение заставило меня задуматься. Очевидно, изменение имени-отчества-фамилии произошло не так просто («Новая Ирина, разумеется, была согласна»).

С началом войны, которую тогда называли Германской, люди с немецкими фамилиями или фамилиями, похожими на немецкие, почувствовали себя неуютно. Пошла полоса перемен имен и фамилий. Питеры становились Петрами, Иоганны — Иванами, Вильгельмы Вильгельмовичи — Василиями Васильевичами, как один из историков, ставший потом знаменитым...

Семья с фамилией Гейнике... Во время войны с Гитлером — какво жилось в нашей стране человеку, которому родители дали имя Адольф? И даже Ганс, Фриц?

Как назовешь яхту, так она и поплывет, говорят парусники. Какие-то имена годились для анекдотов и насмешек, дорога к славе была им заказана. Сара, Мойша, Карпет — можно себе представить

человека с таким именем героем популярной литературы или фильма? Даже обладатели вполне «благозвучных» фамилий жаловались друзьям, что имена «Томас» и «Роберт» все равно не дадут им дойти до вершины политической власти.

И вот артисты Менакер и Миронова дают своему сыну фамилию матери. Шахматист Вайнштейн становится Каспаровым. А позднее на политической арене взойдет новая звезда – Кириенко.

И мог бы дойти до вершины власти человек с фамилией Джугашвили, не смени он ее вовремя?

Судьба Гейнике, возможно, сложилась бы не так, как судьба Одоевцевой. И тут идея Рождественского верна. Но поскольку ему самому не пришлось пройти через это: решать, отказываться ли от имени, которое носит твой отец, – он и представить себе не мог, какие душевные муки могла испытывать Одоевцева. Вот и подал это как забавный эпизод.

Задавать ей вопросы совсем уж личного характера я после этого не решился. Не осмелился спросить, почему в одних справочниках ее год рождения – 1895-й, а в других – 1900-й или даже 1901-й. Я слышал, что у пожилых людей бывает такое кокетство – не убавлять, а наоборот, прибавлять себе годы. Но не будешь же спрашивать. А Одоевцева вполне чувствовала себя женщиной. Передвигаться без посторонней помощи уже не могла, но, когда ждала гостей, долго прихорашивалась, наводила марафет.

...Воспоминания Одоевцевой Анна Ахматова в законченном виде не читала. Книга «На берегах Невы» вышла в 1967-м, когда ее уже не было в живых. Если бы Анна Андреевна ее прочитала, может быть, смягчила бы суровое отношение к Одоевцевой, не считала бы ее одной из «ничего

не помнящих старушек» и не винила в «мещанских сплетнях».

Одоевцева писала об Ахматовой с глубоким, почти молитвенным трепетом. Как поэтессу – просто боготворила. О ее отношениях с Гумилевым говорила предельно уважительно. «Я уверена, что Ахматова была главной любовью Гумилева и что он до самой своей смерти – несмотря на свои многочисленные увлечения – не разлюбил ее».

О своей единственной встрече с Ахматовой, уже после смерти Гумилева писала: «Если бы я посмела, я бы объяснила ей, что как в ее стихотворении, "Довольно! Ты видишь, я тоже простил!", что он любил ее до самой смерти».

Преклонением перед Ахматовой проникнута вся книга. «О, я дала бы пять, десять лет своей жизни, чтобы так идти с ней и слушать ее всю ночь, до утра».

Во всяком случае человек, которого Анна Андреевна когда-то любила и о котором до конца дней отзывалась с глубоким уважением – Борис Анреп, счел воспоминания Одоевцевой заслуживающими доверия. В 1968-м Глеб Струве послал Анрепу фотокопии посвященных Гумилеву страниц книги «На берегах Невы». Анреп ответил: «...думаю, что длинные разговоры с Гумилевым несколько обработаны ею, но, насколько я помню собственные разговоры с ним, остаются в его характере... Общее мое заключение о воспоминаниях Одоевцевой, что они, может быть, литературно использованы и сгущены, но близки к истине. Я говорю о ее характеристике Гумилева».

Борис Анреп имел право судить. Он близко знал Гумилева. Возвращаясь из Лондона в Россию в 1918-м, именно ему Гумилев оставил свой архив и вещи.

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ КИПЛИНГ

*Это было, это было в те года,
От которых не осталось и следа...*

Н. Гумилев

*Еще неизвестно, кто прав,
и что прошло, и что настанет...*

Б. Окуджава



«КОВРИК ПОД ЕГО НОГАМИ – МИР»

*В каком краю тебе бы ни везло,
Без детства своего ты всюду беден.
Давай поедem в Царское Село,
Давай поедem!*

А. Городницкий



Сколько талантов погибло потому, что приходилось тратить все силы на поиски хлеба насущного, на борьбу за то, чтобы просто выжить. Те, на кого снизошел талант, могли его даже не распознать, настолько их смолоду придавила нужда. Горше было тем, кто успел почувствовать свой дар и понять, что ему суждено пропасть.

А если жизнь пришлась на такое время, когда твоей стране не до музыкантов, поэтов, писателей, художников?

Или ты – сын порабощенного народа? Принадлежишь к религии, которую подавляют. К национальности, к которой относятся с предубеждением.

Ни одна из этих препон не стояла на пути Гумилева. Он мог в полной мере наслаждаться молодостью, заниматься, чем хотел, выбирать свой путь. Свободно размышлять. Учиться кое-как — и все же после гимназии уехать на два года в Париж. Мог ездить по Европе, четыре раза побывать в Африке. Издавать на свои деньги сборники стихов и, пусть и любительские, но все-таки журналы.

У него был прочный тыл. Его родителей по тем временам не назовешь богатыми людьми, но они были вполне обеспечены. Могли позволить сыну многое.

Никаких национальных, религиозных, социальных ограничений для него не существовало. Представитель коренной национальности России. Дворянин. Православный. Монархист. Ни в каких крамолах не замешан.

Ничто не мешало ему раскрыть неиспользованный свыше талант. О своей юности он писал:

Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь — его подруга,
Коврик под его ногами — мир.

Его трагическая гибель загниотизировала нас, заслонила все это. Да, конец — не дай Бог...

Но это все потом.

А почти до тридцати лет — какие у него трагедии?

Неразделенная любовь? Но и она привела к соединению, к свадьбе.

Как ему завидовал, например, Вячеслав Иванов! Он тоже хотел отправиться в Африку. Договорились поехать вместе. Но Иванов не смог на-

скрести денег. А ведь он был старше Гумилева на двадцать лет и зарабатывал сам.

* * *

Родился Гумилев 3 (15) апреля 1886 года в Кронштадте. Отец, Степан Яковлевич, был корабельным врачом, ходил в дальнее плавание на фрегате «Пересвет». Его вторая жена Анна Ивановна принесла ему двух сыновей: Дмитрия и через два года — Николая.

Кронштадта будущий поэт тогда не повидал. Через год после его рождения Степан Яковлевич вышел в отставку в чине статского советника. Было ему пятьдесят лет, в Кронштадте он прослужил четверть века. Семья переехала в Царское Село. Купили там двухэтажный дом с флигелями и садом, а вскоре и усадьбу на станции Поповка, в 35 километрах от Петербурга. В 1896-м переехали в Петербург, и Коля Гумилев поступил в частную гимназию известного педагога Гуревича, что была у Греческой церкви, близ Лиговки. В 1900-м снова переехали, на этот раз в Грузию, в Тифлис.

В Тифлисе Гумилев увлекся было новыми социальными идеями. В летние каникулы даже ходил к мельникам, агитировал их. Повлиял на него однокашник, поклонник Шопенгауэра, Маркса и Ницше. Но у Гумилева эта тяга быстро прошла и уже никогда не возвращалась.

8 сентября 1902-го в газете «Тифлисский листок» появилось его первое стихотворение: «Я в лес бежал из городов». Не яркая ли природа Грузии так повлияла на него, шестнадцатилетнего, что он всю жизнь воспевал красоты южных стран?

Осенью 1903-го семья вернулась в Царское Село. Каким он был тогда? Всеволод Рождественский учился с ним в одной гимназии. Вспоминал:

«...Семиклассник Коля Гумилев являл собой довольно заметную фигуру, о нем ходило немало забавных рассказов. Высокого роста, довольно нескладный юноша, держался он со своими товарищами несколько высокомерно, любил во всех играх занимать главенствующее положение и несколько кичился своим не бог весть каким давним дворянским происхождением. Одевался он несколько франтовато (в узаконенных пределах гимназической формы, разумеется), носил фуражку с преувеличенно широкими полями и изящно уменьшенным серебряным значком, брюки с тщательно отутюженной складкой и какие-то особые остроносые ботинки. Вообще важничал и, по гимназическому выражению, "задавался".

...Гумилеву всегда хотелось быть "белой вороной", всегда чем-то выделяться из общей массы и при всяком удобном случае обнаруживать превосходство. Честолюбие было одной из устойчивых черт его характера даже в те, еще мальчишеские времена».

Всеволод Александрович, очевидно, сопоставлял Гумилева-гимназиста с тем Гумилевым, с которым был вместе в «Цехе поэтов» уже после революции. И отмечал общие черты.

Николай Оцуп: «Вижу франтоватого гимназиста, не разделяющего увлечения революцией, стоящего вдалеке от событий, надменного, замкнутого, уже поглощенного жаждой славы».

Чиновники могли, нисколько не кривя душой, дать ему для поступления в университет «свидетельство о благонадежности»: «В полити-

ческом отношении ни в чем предосудительном не замечен». Но и религиозным рвением он не горел. На выпускном экзамене в гимназии не сумел по Закону Божьему получить больше тройки.

Зрелому человеку, поэту, путешественнику, воину, в чьем мужестве никто не сомневался, многое прощали, хотя тоже не все и не всё. Александр Блок, например, не прощал. Но каково было гимназисту, учившемуся неважно, а порой и так плохо, что в выпускном классе оставили на второй год? Подтруниваний и насмешек – не избежать. Как же трудно было самоутверждаться! Не в этом ли причина тогдашней надменности поведения, стремления показать в чем-то свое превосходство?

А тут еще первая любовь... Он приехал из Тифлиса, она – из Киева. Еще совсем не Анна Ахматова, еще Аня Горенко, но уже пишет стихи. Несмотря на клеймо второгодника, у него свои козыри. Много читал, хорошо знал литературу, историю, географию. В последнем классе гимназии Гумилеву удалось напечатать в местной типографии свой первый сборник стихов. Был он маленький, но назывался гордо: «Путь конквистадоров». Эпиграфом взял слова Андре Жида: «Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко всему, что кочует!»

Гумилев рано выбрал свою музу. И она витала над его пером уже в первом сборнике. Муза Дальних странствий.

Говорят, все мы родом из детства.

Отец, выйдя в отставку по болезни в феврале 1887 года, сохранил тесные отношения с такими же, как он, старыми морскими волками. Среди них и брат его второй жены, адмирал Л. И. Львов. Сводная сестра поэта, дочь его отца от первого

брака, замужем за флотским офицером. Да и отец Ани Горенко – тоже флотский инженер.

Рассказы о плаваниях, о Кронштадте будоражили воображение с раннего детства. Потом возникла даже легенда, будто сам Гумилев, окончив гимназию, поступил в Морской корпус и одно лето был в морском плавании. На самом деле в гардемаринских классах и в плавании был его старший брат Дмитрий.

Гимназические годы – сперва Петербург, морские ворота России, потом, с 1900-го, Тифлис – экзотические улочки старого города, панорама живописного Кавказа.

Затем, с 1903-го, – опять Царское Село. А там, как говорила Ахматова, он видел русских офицеров, бывавших в Абиссинии. И не только видел, но и подолгу расспрашивал их.

Там же, в Царском, встречал и африканцев. И не только таких, как абиссинец, воспитанник поручика Булатовича, или тех, что приезжали в Россию учиться. Были и свои африканцы – «царские арапы», служившие во дворцах.

На рассказ об одной из таких «арапок» из Царского Села я наткнулся, читая воспоминания литературоведа Бориса Филиппова. Встретил он ее после Второй мировой войны. И где? В Нью-Йорке. Свой сочный рассказ он назвал «Патриотка».

«Впереди, колыхаясь необъятными телесами, вся в розовом, шла уже совсем седая негритянка. Трудно было поверить, что такие жидкие ноги могли нести такое фантастическое скопление округлостей: зада и грудей, живота и боков.

– Вот бы, – обрывая очередную любовную одиссею своего спутника, буркнул я, – поухаживал бы ты за этой рожей...

Негритянка обернулась и на превосходном русском языке, с каким-то даже щеголеватым аканьем, насмешливо бросила мне:

– Поглядишь на самого себя в зеркало, голубчик: сам-то ты не больно хорош...

Я буквально ошалел. И не пытаюсь даже вернуться из неудобного положения, раскрыл рот, заглотнул не меньше тонны раскаленного воздуха и пискнул:

– Откуда, как, почему – как знаете – и так знаете русский язык?!

– Я ведь русская, – гордо осклабилась негритянка. – Русская и православная. И зовут меня Настасьей Васильевной. И родилась я в самом Царском Селе: может, бывали там? И учиться там начала. Ах, какой городок, какой городок! Я любила его больше Петербурга. Мой отец был одним из дворцовых арапов. И домик у нас хорошенький был на Дворцовой улице... Тихая-тихая улочка и вся зеленая...»

Настасья Васильевна вспомнила, как в 1917 году прощалась с Николаем II и его семьей, как цесаревич Алексей подарил ей тогда казачью папаху, сказав: «Настенька, теперь будь казаком!» Эмигрировала она с отцом в 1919-м. Отец так и умер русским подданным, не приняв американского гражданства.

Недавно ей повезло – купила альбом Царского Села и вот теперь разглядывает его, вспоминая Екатерининский и Александровский дворцы, Камеронову галерею. Да, ту самую Камеронову галерею, о которой грустила Ахматова.

Гумилев должен был в детстве встречать таких «арапов» да, вероятно, и разговаривать с ними.

Весной 1901 года в Петербург приезжали «дагомейские амазонки». Борис Пастернак вспо-

минал потом: «...первое ощущение женщины связалось у меня с ощущением обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан».

В Петербурге устраивалась и «Абиссинская выставка». Чуть позже в Москве, в Знаменском переулке, на художественной выставке купца Сергея Щукина можно было видеть предметы африканского искусства. Они стояли в одном зале с картинами Пикассо, который в поисках «примитива» обращался к африканскому искусству.

И все-таки важнее любых встреч и выставок оказалось чтение.

КНИЖНЫЙ ШКАП ДЕТСТВА И ЮНОСТИ

*Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны...*

О. Мандельштам

«Книжный шкаф раннего детства – спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкапу, никогда не протиснуться в мировую литературу, в мирозданье. Волей-неволей, а в первом книжном шкапу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка». С этими словами Осипа Мандельштама, думаю, согласится каждый из нас.

В доме Гумилевых в Царском была большая библиотека. Она находилась между гостиной и комнатой Николая Степановича. Полки с книгами поднимались до самого потолка. Посередине — большой круглый стол. Говорить там было принято шепотом. Поэт называл эту комнату «святая святых» и считал, что держаться в ней надо, как в настоящей библиотеке.

После революции, когда дом был реквизирован Детскосельским Советом, Гумилев перевез книги в квартиру, полученную в Петрограде на Преображенской улице. Перевозил в корзинах, с помощью друзей и учеников.

Какие же корешки поблескивали в книжных шкафах отставного корабельного врача Степана Яковлевича Гумилева?

Письменных свидетельств я не нашел. Обратился к Всеволоду Рождественскому. Любимых книг самого Гумилева Всеволод Александрович перечислить не мог, но хорошо помнил, какие романы о далеких краях предпочитали тогда гимназисты — от Жюль Верна, Луи Буссенара, Луи Жаколио, Райдера Хаггарда, Густава Эмара — до бесчисленных сочинителей средней руки: «Под Южным Крестом», «Похитители бриллиантов», «В пустынях Австралии», «Охотничьи рассказы из жизни африканских и американских обитателей», «Остров сокровищ», «В лесах и степях Южной Африки», «Приключения молодых буров», «Капитан Сорви-голова», «Копи царя Соломона», «Приключения трех русских и трех англичан в Южной Африке». Зачитывались журналами «Всемирный путешественник», «Природа и люди».

Уже вышли «Озарения» Артюра Рембо. Свои мысли о сильном человеке Фридрих Ницше раз-

вил в книге «По ту сторону добра и зла». Певец дальних странствий Стивенсон выпустил приключенческий роман «Похищенный» и философскую повесть «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда».

Какие знакомые имена, какие знакомые образы! Но Виктор Шкловский писал в старости: «Вы сейчас читаете другого Жюль Верна». И он прав.

Тогда эти романы и журналы открывали совершенно новый мир. Дважды-тремя десятилетиями раньше сюжеты наиболее читаемой литературы брались из европейской жизни. Бесчисленные «Парижские тайны». Понсон дю Терайль и его бесконечный «Рокамболь». Этим увлекалось в молодости поколение отца Гумилева. Но наступила «схватка за раздел мира». Европейцы открывали для себя новые земли, сражались за овладение ими, поднимали там свои флаги. И в литературу хлынул поток романов, повестей, стихов об экзотических краях. Героем был зачастую европеец с загорелым лицом, в пробковом шлеме. Он сражался со львами, носорогами и крокодилами, пробирался сквозь непроходимые тропические дебри, переправлялся через горные стремнины.

Паустовский вспоминал тогдашние мальчишеские мечты: «Африка существовала как земля для путешественников, для разных Стэнли и Ливингстонов... С охотой на львов, с рассветами в песках Сахары, плотами на Нигере, свистом стрел, неистовым гамом обезьян и мраком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах мокрой ядовитой травы, глядя вос-

паленными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест.

Сколько раз и я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что таинственная Африка не пройдена мной от Алжира до мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара!»

Аркадий Аверченко писал: «Мальчик без Майн-Рида – это цветок без запаха».

Сейчас мы судим о тех временах совсем по-другому, забываем о романтике. А ведь без нее не понять тогдашнюю Европу, да и настроения в нашей стране. Казалось, шло освоение мира, его ярких южных окраин. Казалось, именно там было место мужеству, находчивости, подвигу.

Да разве только мальчики мечтали о дальних странах? Анастасия Вербицкая, популярная писательница предреволюционной России, писала: «По целым часам я стояла над картой и мысленно путешествовала на верблюдах по пескам Сахары; мчалась на диком мустанге в пампасах Южной Америки; вместе с детьми капитана Гранта искала его в камедовых рощах Австралии... Мертвая карта с ее условными знаками и линиями, эта ненавистная и страшная карта для большинства учениц, была для меня расцвечена дивными красками и жила сложной и таинственной жизнью...»

О детском и юношеском чтении Гумилева можно в какой-то мере судить по книгам, на которых вырос его сын – Лев Николаевич. Он воспитывался в Бежецке, жил там у матери Николая Степановича. О том времени он вспоминал: «К счастью, тогда в маленьком городе Бежецке была библиотека, полная сочинений Майн Рида, Купера, Жюль Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов,

дающих обильную информацию, усваиваемую без труда, но с удовольствием. Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойла, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало первичный фактический материал и будило мысль».

Без этой романтики не понять Гумилева — ни его творчество, ни его жизнь. В 1910-м, выйдя из юношеского возраста, он писал о своих мечтах:

Я пробрался в глубь неизвестных стран,
Восемьдесят дней шел мой караван;
Цепи грозных гор, лес, а иногда
Странные вдали чьи-то города,
И не раз из них в тишине ночной
В лагерь долетал непонятный вой.
Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы,
Но трусливых душ не было меж нас.
Мы стреляли в них, целясь между глаз.
Древний я отрыл храм из-под песка,
Именем моим названа река,
И в стране озер пять больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

Потом, через много лет, сверстники Гумилева позволяли себе свысока говорить о том, как долго он сохранял романтичность. Что ж, мир быстро менялся, романтика уходила в прошлое. Но благодаря прекрасной приключенческой литературе она не умрет никогда.

— Я всегда мечтаю в Африку попасть, прорубаться через тропический лес, один с топором и винтовкой.

Это не Гумилев. Произнес эти слова осенью грозного 1941-го командующий 50-й армией генерал М. П. Петров, один из первых Героев Советского Союза, награжденный еще за Испанскую войну. И говорил это в самые тяжелые дни Отечественной войны, на фронте, незадолго до своей гибели!

* * *

В библиотеке Гумилевых была, конечно, не только художественная литература, но и карты, описания заморских стран, впечатления русских моряков, «Фрегат «Паллада»» Гончарова, фундаментальные труды немецких и французских географов, этнографов и историков в хороших переводах, с цветными картами и иллюстрациями, переложенными папиросной бумагой – для лучшей сохранности.

Юный читатель, увлеченный Майн Ридом и Луи Буссенаром, расширял сведения, почерпнутые в романах. Приключения любимых героев виделись на фоне яркой природы далеких стран и от этого становились еще более романтичными.

Да и сами уроки географии были, по словам Всеволода Рождественского, живыми, с яркими описаниями. Немудрено, что мечты гимназистов уносились от серых будней окружающей жизни в края далекой фантастической природы, иных обычаев и нравов. В качестве поощрительных премий царскосельское гимназическое начальство давало учащимся роскошные тома «По Белу свету. Очерки и картины путешествий по трем частям Старого Света».

Гимназисты читали и еще более роскошно изданные книги о путешествиях аристократов,

великих князей и самого Николая II. Он, будучи наследником, в 1890 году, за четыре года до восшествия на престол, совершил путешествие по зарубежному Востоку. Как официально говорилось, с образовательными целями. Эта поездка привлекла внимание общественности, поскольку в истории России стала первым подобным путешествием столь высокопоставленной персоны.

Великий князь Александр Михайлович, который потом женился на любимой сестре Николая — Ксении, в конце восьмидесятых годов провел на Востоке два года. Бывал и в Африке. Даже несколько десятилетий спустя, уже после революции, в эмиграции, он вспоминал Египет, Сингапур, роскошные летние клубы британских офицеров в Кейптауне и слова Сесилия Родса: «Мыслить империалистически». Подолгу живя в Нагасаки, князь, по собственному признанию, подобно многим русским офицерам, завел себе там временную «жену», молоденькую японку.

Знакомство с Востоком навело Александра Михайловича на мысли, отнюдь не типичные для столь высокопоставленных особ: «Мне удалось освободиться от трюизмов и банальностей, привитых мне неправильным воспитанием. Фальшь официального христианства в особенности поразила меня на Дальнем Востоке, где невежественные миссионеры имели смелость обличать священные видения, которые составляют сущность верования буддистов». Восток так полюбился великому князю, что одно время ему вообще хотелось отказаться от титулов и остаться там. «Молукские острова, острова Фиджи, Цейлон и Дариллинг в Гималаях особенно пришлись мне по сердцу».

Другой великий князь, Петр Николаевич, долго жил в Египте по совету врачей, лечивших его от туберкулеза легких.

Будущий император, путешествуя по Востоку, повидал близких родственников. На Цейлоне, в Коломбо — Александра Михайловича. Тот рассказал потом: «Известие о его приезде застало меня в джунглях, где я охотился за слонами. Должно быть, моя трехнедельная борода, мои рассказы о приключениях и трофеи, разбросанные на палубе "Тамары", произвели на Никки большое впечатление, и я показался ему прямо дикарем. Тишина тропической ночи, изредка нарушаемая криками испуганных обезьян, располагала нас к задушевной беседе. Николай Александрович завидовал моему восхитительному времяпровождению».

Зависть наследника оказалась столь горькой, что он сказал: «Моя поездка бессмысленна, дворцы и генералы одинаковы во всем мире, а это единственное, что мне показывали. Я с одинаковым успехом мог бы остаться дома». И Николай настоял, чтобы ему устраивали не только пышные приемы, но и охоту на неизвестных в России зверей.

Увлечение экзотикой дальних стран у юных членов царской семьи имело те же корни, что и у простых гимназистов. Александр Михайлович вспоминал: «Как и большинство моих сверстников, я мечтал о побеге в Америку». В детском воображении рисовалась, конечно, не промышленная Америка, а прерии и «туземцы», что-то сходное с Дальним Западом и Африкой Майн Рида.

Путешествия представителей царствующего дома усиливали общественный интерес к далеким странам. Были и прямые практические по-

следствия – укрепление связей с владыками этих стран. Пример тому – отношения со «страной белых слонов» – Сиамом (Таиландом). В 1891 году в Петербург приехал сиамский принц Дамронг, в 1897-м – король Чулалонгкорн и принц Вадчировуд. А затем Чакробон, младший сын короля, учился в Петербурге в Пажеском корпусе и женился на киевлянке Екатерине Десницкой.

* * *

В начале XX столетия для российской знати стали модой не только поездки на зарубежный Восток, но и сафари в Африке. Достаточно взять в руки журнал «Столица и усадьба»: фотографии российских спортсменов в Африке, описания их охотничьих подвигов и трофеев... Очерки Н. Брянчанинова, который побывал в Судане, Нубии и Восточной Африке.

Один из самых ярких памятников российским сафари – книга киевского архитектора В. В. Городецкого «В джунглях Африки. Дневник охотника». Она была издана в Киеве в 1914 году на меловой бумаге со 114 фотографиями и рисунками.

Дом, построенный автором этой книги, и сейчас стоит в центре Киева. Паустовский вспоминал, как когда-то киевская детвора воображала себе Африку по дому на Банковской улице – «дому Городецкого». В его серые стены вмонтированы скульптурные изображения носорогов, львов, жирафов, крокодилов. Бетонные слоновьи хоботы заменяли водосточные трубы, из пасти носорогов капала вода, а каменные удавы поднимали головы из темных ниш. «Мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке».

Об этом доме с теплотой вспоминал и другой киевлянин, Виктор Некрасов.

«В Киеве есть дом, который знают все, даже некиевляне. "Слыхали, что у вас в Киеве есть такой дом, – говорят они, – на котором много..." Да, есть, – отвечаем мы, – дом Городецкого, дом с русалками... Дом Городецкого – это, конечно же, не просто дом, это сказка, приключенческий роман, детская иллюстрированная книжка... Там вырастают из стен слоны, носороги, антилопы и громадные жабы на крыше, и наяды верхом на усатых дельфинах, и в каннелюрах колонн извиваются маленькие ящерицы и змеи».

Городецкий подробнее других рассказал о сафари в Восточной Африке. «Мне, наконец, представилась возможность осуществить то, о чем я мечтал столько лет, что с раннего, чуть ли не с детского возраста, под влиянием рассказов Жюль Верна, Майн Рида и других возбудило мое детское воображение и, став заветной моей мечтой, послужило причиной целого ряда предпринятых мною путешествий».

Африка привлекала даже первых российских автомобилистов. Один из первой серии отечественных автомобилей (чтобы быть точным – номер четырнадцатый) совершил путешествие по Африке. Для рекламы отечественных машин журнал «Автомобиль» издал объемистую книгу «По Африке на автомобиле». Автор попытался написать ее с юмором, в духе аверченковского журнала «Сатирикон» и повести Джерома Джерома «Трое в лодке».

* * *

С конца девятнадцатого столетия и поэты, писатели, художники все чаще стали бывать в экзотических странах.

Больше всех путешествовал Бальмонт. «Я видел Южную Африку, Тасманию, Австралию, Новую Зеландию, Тонга, Самоа, Фиджи, Новую Гвинею, чудеса Яванского моря, Индию и Цейлон, нашу братскую, несчастную и великую Индию, столь похожую на Россию...»

Писатель Василий Немирович-Данченко, побывав, как и Андрей Белый, в Северной Африке, издал книгу «Под африканским небом». Генрих Сенкевич после путешествия по Восточной Африке написал книгу «Письма из Африки» и роман «В пустыне и пуще».

Художник Петров-Водкин побывал и на окраине Сахары. Павел Филонов повидал Константинополь и Палестину. Искусствовед Владимир Иванович Матвей (В. Марков) объездил многие европейские столицы, разыскивая в музеях предметы африканского искусства, написал книгу «Искусство негров».

Не знаю, был ли тогда интерес к Африке у Александра Яковлева? Но позднее, в первые годы эмиграции, он пересек Африку в составе «Черной экспедиции», организованной фирмой «Ситроен», и издал великолепный альбом рисунков. В Париже «из русских художников, кажется, лишь Яковлев благоденствовал» — и в немалой степени благодаря успеху своих африканских картин и рисунков. Так считала Татьяна Яковлева-Либман, несбывшаяся мечта Маяковского.

Разные были цели у этих путешествий. Николай Николаевич Страхов, автор трехтомника «Борьба с Западом в нашей литературе», намеревался еще в конце прошлого века поехать в Египет, чтобы хоть там увидеть самобытную жизнь, еще не очень тронутую влиянием Европы. Потом раздумал, считая, что и там встретит столь неприятное ему воздействие Запада.

Гумилеву увлечение Африкой давало возможность отойти от окружающей будничной повседневности, создать свой мир — «мой мир волнующий и странный».

Алексей Павловский, известный литературовед: «...Он не мог не помнить проводов на англо-бурскую войну, виденных им в Тифлисе, когда ликующие толпы провожали князя Николая Багратиона-Мухранского, решившегося отправиться на поле сражения. Какой страстной и неизбывной завистью страдали тогда все гимназисты тифлисских гимназий, а в их числе и он тоже!... Такие вещи и переживания не забываются. И если князя Николая всю жизнь потом называли "Буром", то и Гумилев на всю жизнь запомнил и сцену проводов, и свое пылкое желание оказаться рядом с Багратионом-Мухранским».

Речь идет о событиях конца 1899 — начала 1900 годов. Об англо-бурской войне, первой войне XX века. Тогда даже в отдаленных частях бескрайней Российской империи многие мечтали стать добровольцами.

Правда, Багратион-Мухранский сперва поехал во Францию и уже там решил отправиться в Трансвааль, так что его провода в Тифлисе прямого отношения к войне, вероятно, не имели. Но в конечном счете он все же сражался на полях сражений Трансвааля и Оранжевой. В этих республиках, которые раньше-то и на карте мира не всякий мог найти, оказался даже Александр Иванович Гучков — с этого и началась его слава, задолго до того, как он стал председателем Государственной Думы, принимал отречение у последнего русского императора и был военным и морским министром Временного правительства.

Война вызвала горячий отклик в самых разных слоях российского общества. В церквах собирали пожертвования в пользу буров. В Трансвааль посылали иконы, альбомы, роскошно изданную Библию, складни, пластинки с записями русских стихов и песен в честь буров. «Я всецело поглощен войною Англии с Трансваалем», — писал Николай II через несколько дней после начала войны.

В той войне впервые были в широком масштабе применены пулеметы. В боевых действиях сомкнутый строй уже навсегда уступил место рассыпному (как иначе идти против пулеметов?). Появились окопы, траншеи, бездымный порох, шрапнель.

В форму защитного цвета — хаки — все армии мира переоделись тоже с той войны.

«Буры и все "бурское" интересуется теперь решительно все слои общества, и в великосветской гостиной, и в редакции газеты, и в лакейской, и даже в извозничьем трактире только и слышны разговоры о бурах и африканской войне». Так говорилось в книжке, изданной в конце 1899 года. Называлась она «В помощь бурам!» Автор — «Бурофил».

«Нынче куда ни сунься — все буры да буры». Таких высказываний от тех времен остались сотни, тысячи. Да что там высказывания — существует множество русских книг о той войне. Статей — не сосчитать. А брошюры печатали не только в столицах Санкт-Петербурге и Москве или в крупных городах Российской империи — Киеве, Варшаве, Тифлисе, но даже в Борисоглебске.

Фотографии бурских бойцов, генералов, президента Крюгера и его соратников — во всех иллюстрированных изданиях и с самыми восторженными подписями.

Потом в стихах Гумилева – и Трансвааль, и Замбези, и Чака, властитель страны зулусов. Анна Ахматова упоминает буров даже в 1940 году.

НА ЗАРЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА – ANNO DOMINI MCM

*Я что хочу? В минувший век пробраться.
Быть может, там – секреты бытия...*

Б. Окуджава

*И кто бы мог подумать в Девятнадцатом веке,
что за ним придет Двадцатый...*

Е. Лец

Все мы – уроженцы двадцатого века. Нам посчастливилось видеть последние зарницы этого столетия, необыкновенного для нас потому, что с ним связано наше появление на этой планете, наше земное существование.

А тот, кому посвящена эта книга, ждал когда-то его утреннюю зарю. Ему было пятнадцать-шестнадцать – тот возраст, когда идет осмысление происходящего в мире. Вселенная приобретает все более определенные черты.

Течение жизни на Земле не особенно обращает внимание на придуманные людьми календарные даты. Но человек придает им большое значение, а в круглых датах людям нередко виделся мистический, даже апокалиптический смысл.

Цифры 1900 и 1901 не воспринимались как очередной новый год. Провожали девятнадцатое

столетие и гадали, что же уйдет вместе с ним? Рождалось незнакомое, загадочное двадцатое — что оно несет с собой? Что готовит человечеству последний век Второго тысячелетия?

Валерий Брюсов записал в дневнике: «С детства мечтал я об этом XX веке... И вот он!» А Мариэтта Шагинян уже в семидесятых годах вспоминала, как 31 декабря 1899-го ей, тогда одиннадцатилетней девочке, взрослые внушали:

— Не каждому в жизни доводится встречать новый век. Ты запомни, как с ним встрети-лась...

Ученые говорили, что столетие начнется с 1901 года, но современники все же открывали его 1900-м. Его считали рубежом. Ему и в дальнейшем придавали особую значимость.

Не одна книга вышла под заглавием «1900». В 1931-м французский писатель Поль Моран, выпустив книгу «1900», утверждал, что тот год исключительно интересен, но что для читателей, живущих тремя десятилетиями позже, люди тех дней дальше, чем Патагония от берегов Сены и чем Саванарола от Чарли Чаплина. Что же говорить нам теперь, еще через семь десятилетий? Как нам понять тогдашних обитателей планеты? Каков был мир их представлений? Что радовало и что тревожило? Чем восхищались, чему ужасались, на что надеялись? Чего хотели от жизни? Каковы были их повседневные мысли?

Конечно, у науки наших дней немало способов понять людей прошлого. И все же не стоит тешить себя иллюзией, что мы можем представить образ их интересов и мыслей, логику поведения. Но можно попытаться припомнить, о чем говорили и спорили тогда, во всяком случае, в России, в Европе.

...Приход нового столетия усилил у людей интерес к происходящему в мире. А средства массовой информации – хотя не было еще ни радио, ни телевидения – могли уже давать намного больше сведений, чем раньше. Газет и журналов, в том числе дешевых, доступных все более широкому кругу, становилось все больше.

Люди поражались быстрому росту городов: в 1900-м шестнадцать городов в мире имели население больше миллиона. Быстро увеличивалось население Земли. Оно перевалило за полтора миллиарда.

В США, где статистика уже тогда была поставлена лучше, чем во многих странах, в 1900-м средняя продолжительность жизни составляла 47 лет, а смертность была выше всего от туберкулеза, инфлюенцы и пневмонии. Болезни сердца и рак отнюдь не возглавляли перечень.

Нам, жителям конца двадцатого столетия, кажется, что терроризм – это знамение наших дней. Но тогда, в 1900-м, убит итальянский король, совершено покушение на принца Уэльского, в Париже еле спасся от пуль персидский шах. На кайзера Вильгельма II женщина бросилась с топором. Тогда он отделался испугом, но через несколько месяцев, в начале 1901-го – новое покушение, и кайзеру несколько попортили лицо, которым он так гордился. В 1901-м убит американский президент Мак-Кинли. Двумя годами раньше убили императрицу Австро-Венгрии. А в России не проходило года без покушений на высокопоставленных сановников. Министров внутренних дел убивали одного за другим. Покушение на Столыпина в августе 1906-го – 27 убитых, 32 раненых (шестеро из них вскоре скончались).

Мы ужасаемся расправой большевиков с Николаем II и его семьей. Но разве не этого же хотели террористы начала XX века? И намерение это зрело давно. Уничтожить всех Романовых, даже детей, хотел еще декабрист Пестель, потомственный дворянин.

В начале двадцатого века обстановка в Европе еще не накалилась настолько, как спустя четырнадцать лет, когда убийство австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево сыграло роль спички, поднесенной к пороховому погребу. Но взрывы «адских машин», политические убийства случались ли реже, чем в наши дни?

Во многих странах зачитывались книгой «Двадцатый век» французского писателя и художника А. Робиды, в которой летательные аппараты перелетают через Атлантический океан, а человек создает искусственные острова.

Другую свою книгу Робиды назвал «Двадцатое столетие. Электрическая жизнь». Вышла она и на русском языке, со множеством иллюстраций. В двадцатом веке электричество «приводит в движение как громадные скопления колоссальных машин на миллионах заводов и фабрик, так и самые нежные механизмы усовершенствованных физических приборов. Оно мгновенно передает звук человеческого голоса с одного конца света в другой, устраняет предел человеческому зрению и носит по воздуху своего повелителя, человека, — неуклюжее существо, казавшееся осужденным ползать по земле, словно гусеница, не дожившая еще до превращения в бабочку». В двадцатом веке женщины смогут быть инженерами и адвокатами, негры — членами парламентов, а Российская империя испытает громадное потрясение.

Эти книги читали, удивлялись. Но многие ли верили?

Те, кто хотели заглянуть в будущее, ехали на Всемирную выставку в Париже. А если не могли поехать – читали о ней бесчисленные обзоры и статьи, которыми была полна печать. О ней говорили все. Число посетителей – неслыханное. Продано почти пятьдесят миллионов билетов.

Выставка воспринималась как окно в Новый век. Это был смотр развитию науки и промышленности – всему, с чем «цивилизованный мир» вступал в двадцатое столетие.

Изумляли модели гигантских кораблей, особенно немецких. Пароход «Дойчланд», приплывший из Гамбурга в Америку за 5 дней и 8 часов. На транспаранте немецкого павильона читали, что Германия «одним махом увеличила свой флот на 38 крейсеров и 112 эсминцев».

Многие жили еще представлениями, что матерская мира – Англия, а Германия как единое государство возникла всего три десятилетия назад. На памяти многих не существовало даже такого политического понятия – Германия. Французам-то, разумеется, был памятен разгром их армии при Седане. И реклама германской военной техники породила в Париже грустную фразу:

– Это выставка – наш новый Седан.

В несметных толпах посетителей легко было скрыться тем, кто хотел повидать все собственными глазами, сохранив инкогнито. Соглядатаям, да и просто ротозеям то тут, то там чудились вытянутые в струну усы и надменная осанка кайзера Вильгельма II, который хотел сам убедиться в триумфе своих заводов и фабрик.

А для подавляющего большинства, для миллионов выставка была прежде всего невиданным зрелищем: от помпезных павильонов до фейерверков с Эйфелевой башни.

Мужчины, будущие солдаты, пытались превзойти друг друга в мужестве, физической одаренности, в умении показывать ловкость на велосипеде, управлять новинками – автомобилями, выставленными для публичной проверки их качеств. Для шоферов, людей новой, неслыханной дотоле профессии, парижане придумали и необыкновенную одежду: огромная меховая шуба и такие же унты – чтобы им не было холодно в высоких открытых автомобилях.

Для парижанок и женщин, приехавших на выставку отовсюду, она стала соревнованием в косметике и нарядах. Светлые длинные платья с корсетом, с поднятыми плечами и небольшими шлейфами. Пестрые вееры. Вычурно изогнутые гребешки и изящные безделушки по моде 1900 года – в стиле модерн.

Модерн входил в моду. Архитекторы еще не успели застроить европейские города домами в этом стиле, но мебель, люстры – тут он уже всюду давал о себе знать. А *la moderne* переделывали ресторан «Максим». Восторгались театральными афишами, рекламами и картинами в стиле модерн. Их рисовал Альфонс Муха, художник-чех. Он приехал в Париж из Вены вместе с Сарой Бернар, после ее очередного турне. В наши дни картины Мухи пережили возрождение, снова оказались в моде.

Соединенные Штаты гордились быстрым ростом производства автомобилей: в 1896 году – 25, в 1897 – 100, в 1898 – 1000, и дальше – в геометрической прогрессии. И все же в американском павильоне мало кто задерживался надолго. Считалось, что там нет ничего экстраординарно интересного. Американская промышленность лишь начинала еще заявлять о себе, и французского обывателя привлекала разве что искусственными зубами.

Зато с изумлением говорили о подарке Николая II французскому президенту. Это была карта Франции, сделанная из драгоценных камней на Урале, в Екатеринбурге. Реки обозначались на ней ниточками платины, города — алмазами.

Разглядывали привезенный на выставку спальный вагон транссибирской магистрали. Спорили о влиянии, которое окажет на судьбы России и Дальнего Востока эта самая большая из строившихся тогда железных дорог. Вспоминали, что Николай II в бытность наследником престола стал председателем Комитета по делам Сибирской дороги и в мае 1891 года, во время поездки на Дальний Восток, «собственноручно изволили отвезти тачку земли на полотно дороги во Владивостоке».

Посетители разглядывали бюсты Льва Толстого. Это нравилось, вероятно, не всем из русских великих князей, которые появлялись на выставке, кто инкогнито, а кто и не скрываясь. Но во Франции к тому времени он уже стал одним из самых читаемых и почитаемых авторов. Роман «Воскресение», законченный в 1899-м, перевели на французский сразу же.

Всеобщее любопытство вызвали на выставке «экзотические» страны. Заканчивался колониальный раздел мира. Газеты полны сообщений о событиях в Азии и Африке. В наше время это назвали бы информационным взрывом.

На выставке можно воочию поглядеть на жителей тех стран. Экспонированы хижины, уголки селений. Женщины из Центральной Африки, из французской колонии Убанги-Шари толкли в деревянных ступах кукурузу и арахис, чтобы кормить своих малышей, которые изумленно глядели на толпы белых людей.

Всемирная выставка привлекла к себе такое

внимание, что прошла почти незамеченной смерть Оскара Уайльда, а он умер неподалеку от нее, в маленькой парижской гостинице на улице Изящных искусств.

В Веймаре скончался Ницше. Он, наверно, думал, что его конец вызовет больше скорби, толков и пересудов.

А о том, какую известность приобретут родившиеся в 1900-м Луи Амстронг и писательница Маргарет Митчелл, и какой ужас будет наводить имя Генрих Гиммлер, никто еще не догадывался.

Выставка оживила интерес публики к достижениям наук. Говорили о сыворотке Мечникова, о появлении первого дирижабля – «Цеппелина». Говорили бы и больше, если бы знали, какие последствия будет иметь доклад, сделанный тогда Максом Планком о природе атома. И какой резонанс получит книга «Интерпретация снов», только что изданная Зигмундом Фрейдом. И какие открытия сделает молодой человек, окончивший в 1900-м Цюрихскую политехническую школу. Его звали Альберт Эйнштейн.

Но всех, кто серьезно задумывался о будущем, выставка не могла не встревожить. Ведь это был смотр возможностей для боевых действий и для работы тыла в войнах Нового века. Нынешней засекреченности еще не знали, и великие державы мира мерялись силами весьма открыто.

Сейчас, после громадных потрясений двадцатого века, после двух мировых войн, унесших десятки миллионов жизней, тот 1900-й может показаться если и не безмятежным, то во всяком случае спокойным.

Тогда так не казалось. Разумеется, в церквях горячо молили о счастье в Новом веке. И,

поднимая бокалы в последнее Рождество 1899-го, люди говорили о радужных надеждах. Да и в предсказаниях ученых и политиков было немало радостных ожиданий. Это естественно. Сердце человеческое всегда хочет надеяться. Ведь такой серьезный ученый, как Бокль, автор известной «Истории цивилизации в Англии», еще в середине девятнадцатого века утверждал, что Европа становится цивилизованной и поэтому в ней не будет места войнам.

Но были и совсем другие предсказания.

«Двадцатый век приходит не всем нам на радость. Многие обеспокоены завтрашним днем. 1900 год ставит нам множество проблем на будущее. Стремление их разрешить, вероятно, вызовет войны между государствами, а может быть, и гражданские войны.

Встреча Двадцатого столетия проходит в атмосфере всеобщего возбуждения... Захваты новых территорий, перетасовка государственных границ, штурмы важнейших мировых рынков. Так и кажется, что люди уже завтра кинутся убивать друг друга... революции социальные, вызываемые наихудшими чувствами, ненависть бедных к богачам, презрение знатных к беднякам».

Так завершилась книга «Политические и социальные проблемы в конце Девятнадцатого века», вышедшая в Париже в 1900 году. Правда, не желая, очевидно, заканчивать столь пессимистично, автор добавил: «Однако нужно надеяться, ибо надежда укрепляет сердца и дает человеку новые силы».

Девятнадцатый век, «обагрённый целыми реками крови», создал к услугам политики «крови и железа» самые могущественные из когда-либо существовавших боевых орудий. Начался

«период лихорадочных вооружений, крайнего увлечения численностью, преобладания количества над качеством, материальных сил над духовными».

Таков был мрачный вывод книги «Деятнадцатый век», изданной в Санкт-Петербурге в 1901-м.

В петербургском журнале «Книжки недели» грустно прощались с девятнадцатым столетием («жаль уходящего года»), предрекали приход социализма и видели в этом торжество массы над личностью.

Вряд ли кто-нибудь тогда предполагал, что США станут сверхдержавой, а к концу двадцатого столетия – даже единственной. Правда, США в 1898-м начали и в 1899 году выиграли войну против Испании. И американская печать, ставшая в двадцатом веке такой всеильной, уже заявила о себе. Газетный магнат Херст в ожидании войны с Испанией на Кубе послал на Кубу своего художника, чтобы тот делал зарисовки войны. Когда художник телеграфировал, что все спокойно и намеков на войну нет, Херст ответил: «Ваше дело – обеспечить зарисовки, войну обеспечу я». А в 1901-м президент Теодор Рузвельт провозгласил принцип американской внешней политики: «Разговаривать мягко, но иметь и большую дубинку».

Но тогда, в 1900-м, более грозными казались слова кайзера Вильгельма. Экспедиционному корпусу, отплывающим в Китай, он велел:

– Пощады не давать, пленных не брать!.. Подобно тому, как тысячу лет назад при короле Атилле гунны оставили по себе память о своей мощи, до сих пор сохранившуюся в преданиях и сказках, точно так же благодаря вашим деяниям китайцы должны запомнить немцев на тыся-

чу лет – так, чтобы никогда китайцы не посмели даже косо взглянуть на немца.

...Все большая часть российского населения на рубеже столетий втягивалась в общемировые события, все глубже интересовалась ими. Появилось больше газет и журналов – и дешевых, доступных. Уход из жизни императора Александра III воскресил надежды на либерализацию царского режима. С развитием капитализма и нараставшим промышленным переворотом шло оживление общественной жизни.

Но как сложно это проходило!

Новый царь в первой же своей речи 17 января 1895 года назвал надежды на либерализацию «бессмысленными мечтаниями». Его речь сразу же вызвала протест в либеральных кругах. Уже 19 января в Петербурге читали «Открытое письмо к Императору Николаю II»: «Вы первый начали борьбу – и борьба не заставит себя ждать». Письмо написал известный общественный деятель Петр Струве.

В июле 1899-го Николай II утвердил «Временные правила» об отдаче студентов в солдаты за участие в массовых демонстрациях.

...В 1900-м русский военный флот пополнился броненосцем «Князь Потемкин-Таврический» и крейсерами «Аврора» и «Варяг». Спуск «Авроры» на воду наблюдали император и императрица.

Кто думал тогда, какую судьбу уготовило этим кораблям двадцатое столетие? Крейсер «Варяг» стал легендарным. Восстание матросов «Потемкина» известно всему миру по фильму Эйзенштейна. «Аврора» в декабре 1904-го попала в шторм у мыса Доброй Надежды по пути к берегам Японии. Потом еле уцелела при разгроме русского флота японцами.

Впереди маячит Цусима, Пятый год. Лако-
ничные строки Ахматовой – сколько ужаса за
ними, хоть родились они через несколько десяти-
летий:

И кто-то «Цусима!»
сказал в телефон.

* * *

...Рождается Серебряный век. Возникают име-
на Бальмонта, Брюсова, Блока, Мережковского,
Гиппиус, Сологуба, Вячеслава Иванова... В 1899-м
создается журнал «Мир искусств», в 1904-м –
«Весы», в 1909-м – «Аполлон». Их, как и новые
журналы «Золотое руно», «Художественные со-
кровища России», «Старые годы», иллюстрируют
Бакст, Кустодиев, Бенуа, Лансере, Добужинский.

Растет влияние лучших из созданных ранее
журналов: «Русское богатство», «Русская мысль»,
«Мир Божий», «Вестник Европы», «Жизнь».

В октябре 1899-го в Московском Художе-
ственном театре – премьера чеховской пьесы
«Дядя Ваня». В ноябре выходит первый том
сочинений Чехова.

...Властитель дум – Лев Толстой. «Воскресе-
ние» печатается в журнале «Нива», последние
главы – в конце 1899-го. Толстой записывает в
дневнике 18 декабря 1899-го: «Кончил "Воскре-
сение". Нехорошо. Не поправлено. Поспешно. Но
отвалилось и не интересуется более».

В России и Европе выход романа восприни-
мают как событие. В русской газете «Новости»
1 января 1900-го: «После целого ряда сереньких
и скучных лет... небо вдруг озарилось ярким
лучом сильного и самобытного творчества... ху-
дожественным открытием русской жизни».

...Гумилев с юности старался следить за переменами в литературной жизни. И хотя он был равнодушен к сиюминутным политическим переменам, как бы важны они ни были, все же магистральный ход мировой истории его интересовал.

Уже в зрелом возрасте он высказался в печати об итогах девятнадцатого столетия.

«Во всех областях творчества наступил необыкновенный подъем. Люди точно вспомнили, как мало еще они сделали, и приступили к работе лихорадочно и в то же время планомерно. Таблица элементов Менделеева явилась только запоздалым символом этой работы. "Что еще не открыто?" — наперебой спрашивали исследователи, как когда-то рыцари спрашивали о чудовищах и злодеях, и наперебой бросались всюду, где оставалась хоть малейшая возможность творчества. Появился целый ряд новых наук, прежние получили неожиданное направление. Леса и пустыни Африки, Азии и Америки открыли свои вековые тайны путешественникам, и кучки смельчаков, как в шестнадцатом веке, захватывали огромные экзотические царства».

А в беседах с близкими, несмотря на свою обычную браваду оптимизмом, давал мрачные прогнозы на будущее белой расы. Говорил, что она тонет в материализме и что неминуемо ее столкновение с желтой и черной расами.

ИЗ ГИМНАЗИИ — В ПАРИЖ

*И я опять спешу в библиотеки: стараюсь
вывесть у мастеров стили, как можно
победить роковую инертность пера.*

Н. Гумилев

После окончания гимназии не каждому удалось для продолжения самообразования поехать надолго в Париж. А Гумилев отправился сразу, летом 1906-го, только-только получив аттестат зрелости. И как писал в одном из писем Брюсову — надолго. «Собираюсь ехать за границу и пробыть там пять лет».

Шел ему двадцать первый год. Отец поначалу надеялся, что младший сын продолжит его путь, свяжет свою жизнь с морем, как уже сделал старший, Дмитрий. Но он не захотел. Не захотел послушать и другого совета отца — поступить в Петербургский университет. В конце концов родители позволили ему ехать в Париж, продолжать учебу в знаменитой Сорбонне.

Что ж, Париж влек к себе — и тогда, и раньше, и позже. И Гумилев не мог не помнить эпитафию к пушкинскому «Арапу Петра Великого»:

Я в Париже:

Я начал жить, а не дышать.

Гумилева влекли не только блеск и мишура парижской жизни. Увидеть поэтический Парнас, приобщиться, познакомиться с мэтрами поэзии, побывать в литературных салонах...

Его юность прошла в русском Версале, с императорским парком, фонтанами, статуями, белыми лебедями в чистых озерах. Блестящие мунди-

ры гусар, желтых кирасир, улан Ее Величества, цоканье копыт их коней. Для Пушкина и Дельвига это было благословенное «отечество»:

...нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Но для Гумилева – насмешки царскосельцев над его ранними стихами, колкости из-за затянувшейся учебы. Ободряло лишь отношение Иннокентия Анненского, который был директором гимназии и как поэт по-доброму отнесся к первому сборнику стихов своего ученика.

Об Анненском потом появились гумилевские строки:

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.
Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний – слабого меня...

Я расспрашивал Анну Андреевну, чему обязан Гумилев своими разнообразными интересами, широким кругозором – не тому ли яркому обществу, которое, как мне казалось, собралось тогда в Царском Селе? Она, к моему удивлению, горячо запротестовала. Общество, по ее словам, было скучным, жизнь – монотонной, влияние образованного Петербурга чувствовалось мало, хотя и был он рядом. Первые стихи Гумилева приняли там плохо – даже ехидные пародии писали. Так что

своей образованностью Гумилев был обязан главным образом самому себе. Благотворным назвала только влияние Иннокентия Анненского.

В Париже Гумилев обосновался не так долго, как предполагал. Но все же — почти два года, с короткими наездами в Россию. Как он там жил? Сведений мало. Его переписка с Ахматовой сожжена — так они решили после свадьбы.

Но сохранились его письма Брюсову. Кое-что Гумилев рассказывал Алексею Толстому, Одоевцевой, приукрашивая свое житье-бытье. После революции писал в анкетах, в графе «образование»: Сорбонна. Сколько-то систематических знаний в Сорбонне он не получил, да и не стремился к этому. Слушал отдельные лекции, может быть, отдельные курсы.

Завсегдатаем литературных салонов не стал. Жаловался Брюсову: «Я никогда в жизни не видел даже ни одного поэта новой школы или хоть сколько-нибудь причастного к ней». Это и понятно. Имени у него еще не было. Да и его французский оставлял желать лучшего.

Не везло и с русскими, оказавшимися тогда в Париже. Мережковский и Гиппиус его, в сущности, выставили. Он винил хозяев, но, вероятно, вел себя слишком самоуверенно. Бальмонт не ответил на его письмо. Брюсову: «Я оказался несчастлив в моих здешних знакомствах». Одоевцева рассказывала мне с его слов, что он, бывало, играл по вечерам в карты с консьержками.

И все-таки эти годы дали Гумилеву много.

Перед отъездом в Париж он писал Брюсову: «Из поэтов люблю больше всего Эдгара По, которого знаю по переводам Бальмонта и Вас...» В Париже он — из лекций, из обсуждений, из разговоров, а больше всего, из самих книг — смог

представить новейшую западную поэзию. Верлен, Верхарн, Рембо, Киплинг и многие другие поэты, известные ему в гимназические годы по редким и не всегда удачным переводам, теперь стали понятней.

Работал увлеченно и упорно. Сидел в библиотеках. Посещал выставки. Отправлял Брюсову все новые и новые стихи. Печатался в петербургском журнале «Весы». Пытался написать повесть о французском средневековье, используя образы и язык рыцарских романов и хроник. Интересовался оккультизмом. Сумел-таки и знакомства завести. Бывал у художницы Елизаветы Кругликовой, у которой по четвергам собирались писатели и люди искусства. Там познакомился с Алексеем Толстым, Максимилианом Волошиным, многими русскими и французскими художниками и писателями.

* * *

В Париже Гумилев стал издавать журнал. Назвал его «Сириус». Подзаголовок — «Двухнедельный журнал искусства и литературы». Издавал не один, а вместе с двумя молодыми русскими художниками и искусствоведами. Возлагал на журнал большие надежды, но они не оправдались. В начале 1907-го вышло три номера, и на этом издание прекратилось.

О том, как юному Гумилеву удавалось издавать в Париже журнал, мы знаем мало. Пожалуй, что-то помогают понять воспоминания Ильи Эренбурга. Он выпустил в Париже книжку своих стихов примерно в те же времена, двумя-тремя годами позднее. На улице Фран-Буржуа была русская типография. Считалось, что напечатать там кни-

гу недорого. Эренбург заплатил всего 125 франков, но для него эта сумма была немалой. Он получал из дому 50 рублей в месяц – 133 франка.

Гумилеву родители высылали в два раза больше – 100 рублей. И расходы, наверно, делились как-то между тремя основателями журнала. Но все-таки не хватало всего: и денег, и опыта, и читателей, да и авторов.

Восемнадцатилетняя Ахматова писала одному из родственников: «Зачем Гумилев взялся за "Сириус"? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастив наш Микола перенес и все понапрасну! Вы заметили, что сотрудники все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает».

Гумилев был основным автором журнала. Публиковал там стихотворения и рассказы, и даже повесть «Гибели обреченные», так и оставшуюся незаконченной. Печатал как под своей фамилией, так и под псевдонимами.

Один из его псевдонимов – Анатолий Грант. Писал Брюсову: «Вам я открою инкогнито. Анатолий Грант – это я. Что же мне было делать, если у нас совсем нет подходящих сотрудников. Приходится хитрить, и истина об Анат. Гранте – тайна даже для моих компаньонов».

Под псевдонимом Анатолий Грант в журнале появилось произведение, озаглавленное «Вверх по Нилу (листы из дневника)». Речь в нем идет о долгом пребывании в Египте. Первая запись датируется 9 мая, и уже там говорится: «Я устал от Каира... Проходят дни, недели, а я все еще в Каире».

Что это? Действительно путевой дневник? Тогда в каком же году состоялось это путешествие? Записей пять: 9 мая, 11 мая, 12 мая, 24 мая и

17 июня. Год нигде не указан. Но в одной из записей мы читаем: «Мы, люди тысяча девятьсот шестого года».

Так что же, 1906-й? Но 30 мая 1906-го Гумилев только еще получил аттестат зрелости в Николаевской Императорской Царскосельской гимназии. Так что к 1906-му путешествие относиться не могло.

А к 1907-му? Но все три номера «Сириуса» вышли в январе-феврале.

Ну, а содержание «Листов из дневника»? Автор рассказывает, как он побывал на дне неизвестной туристам пирамиды. «Я привязал веревку к выступу скалы и начал спускаться, держа в руке смоляной факел». Главное же, он с легкостью прочитал там древнеегипетскую «полустертую иероглифическую надпись». Она была написана на очень старом египетском, много старше луврских папирусов». И добавил: «Только в Британском музее я видел такие же письма». В Британском музее Гумилев к тому времени еще не бывал. Если и побывал, то десятью-одиннадцатью годами позднее.

Одно из действующих лиц в «Листах» — «задумчивая жаба». Она выползла из-за камня и помогла автору разобрать древние иероглифы. «...Должно быть, благословение задумчивой жабы прояснило мой ум, я читал и понимал». Но эту тайну сумел разгадать мистер Тъери, спутник Анатолия Гранта, и как бы невзначай произнес: — Бойтесь задумчивых жаб.

«Листы из дневника» — литературное сочинение. Наверяно оно было романами Райдера Хаггарда, которого Гумилев любил с детства. При этом «Анатолий Грант» хотел идти в сферу мистического дальше Хаггарда. Отсюда и задумчи-

вая жаба. В рассказе есть слова: «Райдер Хаггард был доволен, встречая свирепых работорговцев, увертливых карликов и красивых девушек с белой кожей. Но мы, люди тысяча девятьсот шестого года, мы ищем скрытого. И мы находим тайны там, где Хаггард не увидел бы ничего, кроме высохшей пальмы и больной негритянки».

Рассказ с названием «Листы из дневника», с датами путешествия и с конкретными подробностями ввел в заблуждение многих, кого интересовала жизнь Гумилева. Возникла легенда о том, что Гумилев побывал в Египте в 1907-м. Ее распространяли Николай Оцуп, Глеб Струве, а за ними Владимир Карпов и многие другие, вплоть до наших дней. Но «Листы из дневника» — не итог путешествий. Это мечты о встрече.

Тогда, в Париже, он мог еще только обдумывать поездку в Африку. Знакомился с африканцами. Стремясь побольше узнать о природе и животном мире этого континента, ходил в Ботанический сад и в зверинец. Несколько раз даже втянул в свои походы Алексея Толстого.

* * *

В январе 1908-го Гумилев издал в Париже небольшую темно-зеленую книжку с посвящением Анне Андреевне Горенко. Этому второму сборнику (он сам даже стал считать его первым, никогда не пытаясь переиздать «Путь конквистадоров») дал название: «Романтические цветы».

Гумилев гордился «африканскими» стихами, вошедшими в ту книжку. В декабре 1907-го он писал из Парижа Брюсову, которого считал своим мэтром: «У меня есть три стихотворения, род серии, на африканские мотивы. Два из них, "Жи-

рафа" и "Носорога", Вы знаете». Третье – «На таинственном озере Чад» («Озеро Чад») – было приложено к письму.

«Озеро Чад» он называл своим любимым стихотворением. Очень известным стал впоследствии и «Жираф». В «Парнасе дыбом» обыграны его строки:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Африка в этих стихах – изящная сказка. Но она вошла в литературу. По словам друзей Владимира Высоцкого, гумилевский жираф стал прототипом «героя» его песни «В желтой жаркой Африке».

Иннокентий Анненский откликнулся на «Романтические цветы» рецензией во влиятельной газете «Речь». «Озеру Чад» оценку дал неоднозначную: «Хорошо и "Озеро Чад", история какой-то африканки, увеселяющей Марсель. Тут целый ряд тропических эффектов, и все, конечно, бутафорские: и змеи-лианы, и разъяренные звери, и "изысканный жираф", жираф-то особенно, – но все чары африканки пропитаны трагедией. Н. Гумилев не прочь был бы сохранить за песнями об этой даме – их, т. е. песен, у него три – всю силу экзотической иронии, но голос его на этот раз немножко изменил Анахарсису XX века, ему просто жаль дикарки, ему хочется плакать».

«...Я хочу особенно поблагодарить Вас за лестный отзыв об "Озере Чад", моем любимом стихотворении», – написал Гумилев Анненскому.

Но эпитет «бутафорские», конечно, ударил его по самолюбию. И легко представить, что после упрека в «бутафорских эффектах» Гумилеву было просто необходимо своими глазами повидать воспетый материк.

МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

*Вот и я выхожу из дома
Повстречаться с иной судьбой,
Целый мир, чужой и знакомый,
Породниться готов со мной...*

Н. Гумилев

*Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?*

М. Лермонтов



«Я ЖЕНЩИНОЮ БЫЛ ТОГДА ИЗМУЧЕН»

*Я верно болен: на сердце туман,
Мне скучно все, и люди, и рассказы,
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.*

Н. Гумилев

В апреле 1908-го Гумилев вернулся на родину. Почему именно тогда, не раньше и не позже? Объяснил туманно, в письме Брюсову: «обстоятельства хотят моего окончательного переезда в Россию».

По дороге заехал в Севастополь к Ане Горенко. Решили вернуть друг другу письма.

Затем – Москва. Встретился с Брюсовым, передал ему новые стихи, рассказ «Скрипка Страдивариуса», попросил, чтобы в издательстве «Скорпион» опубликовали новую книгу стихов «Жемчуга». Одним словом, многое из того, что он наработал в Париже.

Возвратясь в Петербург, установил контакты

с газетой «Речь» и сразу же, с мая, там печатаются его рецензии на новые книги Брюсова, Сологуба, Ремизова, Верховского, на переводы Верхарна и славянских поэтов. Там же, в газете «Речь», в журналах «Весы», «Образование» печатает свои стихи и рассказы.

В июле подал заявление о зачислении студентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета и вскоре был зачислен.

Но с началом учебного года отправился не в университет, а в Африку. Еще в июле сообщил Брюсову, что хочет осенью «уехать на полгода в Абиссинию, чтобы в новой обстановке найти новые слова».

7 сентября выехал из Петербурга. Сделал короткую остановку в Киеве, чтобы повидать Аню Горенко, и 10 сентября отправился из Одессы на пароходе «Россия». Синоп, Стамбул, Пирей, на несколько дней задержался в Афинах. И, наконец, вот она, Африка. Ее ворота – Каир и Александрия.

Исполнилась, наконец, давняя мечта: поглядеть, действительно ли темен «темный Нил, владыка вод бесшумных», постоять «над тростником медлительного Нила», понять, что ощущает человек, «когда на изумрудах Нила месяц закачался и поблек».

В «Романтических цветах» Нилу были посвящены стихи о том, как в Древний Рим привезли крокодила и даже император Каракалла вышел, чтобы полюбоваться диковиной.

Повидал Нил – его низовья. Крокодилов там, правда, уже не осталось.

Письмо Брюсову: «Дорогой Валерий Яковлевич, я не мог не вспомнить Вас, находясь "близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида в цар-

стве пламенного Ра". Но увы! Мне не удастся поехать в глубь страны, как я мечтал. Посмотрю сфинкса, полежу на камнях Мемфиса, а потом поеду, не знаю куда, но только не в Рим. Может быть, в Палестину или Малую Азию».

Осмотрел знаменитый сад Эзбекие, в Исмаилии, европейской части Каира. Этот сад привлекал внимание многих российских путешественников. Они восхищались и его красотой, и его величиной — восемьдесят тысяч квадратных метров.

Гумилев, возможно, читал описание этого сада в роскошно изданном томе: «23000 миль на яхте "Тамара". Путешествие их Императорских Высочеств Великих Князей Александра и Сергея Михайловичей в 1890—1891 гг.» В книге говорилось и о бесчисленных растениях каирского сада, «совершенно неизвестных европейцам», и о зданиях, окружающих «этот прекрасный, обнесенный железной решеткой сад».

Гумилева настолько поразила красота этого сада, что он даже через десять лет с восторгом писал:

Как странно — ровно десять лет прошло,
И не могу не думать я о пальмах,
И о платанах, и о водопаде,
Во мгле белевшем, как единорог.

Но смысл стихотворения все же не в красотах сада, а в памяти о том настроении, что преследовало тогда Гумилева. Лукницкий записал со слов Ахматовой: «Гумилеву стало ясно, что А. А. не невинна. Эта новость, боль от этого известия довела Николая Степановича до попыток самоубийства». И главное в стихотворении:

Я женщиною был тогда измучен,
И ни соленый, свежий ветер моря,
Ни грохот экзотических базаров —
Ничто меня утешить не могло.
О смерти я тогда молился Богу
И сам ее приблизить был готов.

. . . .
И, помню, я воскликнул: «Выше горя
И глубже смерти — жизнь! Прими, Господь,
Обет мой вольный: что бы ни случилось,
Какие бы печали, униженья
Ни выпали на долю мне, не раньше
Задумаюсь о легкой смерти я,
Чем вновь войду такой же лунной ночью
Под пальмы и платаны Эзбекие.

Насколько серьезны были его попытки к самоубийству и тогда, и еще раньше, во Франции? Об этом можно судить лишь по его многочисленным рассказам. Но помыслы, вероятно, были.

Не красота ли солнечной Африки смягчила его смятение? Во всяком случае, о желании распрощаться с жизнью он уже никогда больше не говорил.

...В Александрии кончились деньги. Заняв у ростовщика и оставив мечту о продолжении путешествия, возвратился тем же путем обратно. Опять остановка на два-три дня в Киеве, где жила Аня Горенко. Ахматова говорила: «Первая поездка Николая Степановича в Африку шесть недель продолжалась — в Египте был».

БУРЯ И НАТИСК

*Уж первый номер «Аполлона»,
Темнящий золото руна,
Выходит в свет, и с небосклона
Комета новая видна:
Где лишнего не видно слова,
И вот к числу звучащих слов
Плюссируется: Гумилев.*

Игорь Северянин

«Я в периоде полного уныния. Ничего не пишу и не собираюсь», – писал Гумилев Алексею Ремизову в феврале 1909-го. И пояснил: «Тот рассеянный образ жизни, который я вел эту зиму, сводит на нет мои небольшие литературные способности». Сказано это в подавленном настроении, которое Гумилеву не было свойственно. Во всяком случае, никогда, кажется, не держалось долго. Да и самоуничужение – «мои небольшие литературные способности» – для него тоже не характерно.

Вадим Крейд, один из знатоков творчества Гумилева, считает, что, наоборот, 1909 год был для него «временем бури и натиска». И это, пожалуй, вернее.

В 1909-м Гумилев энергично изучает теорию поэзии, расширяет контакты в литературных кругах, активен в собраниях на «Башне» Вячеслава Иванова. Уходит с юридического факультета на историко-филологический. Организует ежемесячный журнал – «Остров», – правда, он оказался недолговечен, как и парижский «Сириус».

Продолжает работу, которую мы теперь называем литературной критикой. Рецензирует выходившие сборники стихов. В десятом номере журнала «Весна» за 1908 год выходит его рецен-

зия на второе издание сборника Бальмонта «Только любовь». В газете «Речь» с ноября 1908-го по сентябрь 1909-го – четыре рецензии: на сборники Юрия Верховского «Разные стихотворения», Андрея Белого «Урна», Владимира Пяста «Ограда» и Валентина Бородаевского «Стихотворения».

Затем всю эту деятельность Гумилев переносит на страницы нового литературно-художественного журнала «Аполлон», который оказался и влиятельным, и долговечным: просуществовал с 1909-го до 1917-го. Редактор – Сергей Маковский. Ему помог меценат М. К. Ушков.

Гумилев вместе с Маковским создавал этот журнал. Познакомил редактора с Иннокентием Анненским. И взял на себя рецензирование стихов.

Не без участия Гумилева возникло «Общество ревнителей художественного слова». Сергей Маковский писал потом: «В сущности, это общество и создало тот литературный фон, на котором разросся журнал. Учреждение такого общества вовсе не было делом простым в то время – усмирения Столыпиным "первой" революции».

Очень бурной оказалась осень. Первый номер «Аполлона» вышел в октябре. Тогда начало свою деятельность и «Общество ревнителей художественного слова».

Молодой Алексей Толстой в своих ярких, но далеко не во всем точных заметках о Гумилеве с восхищением вспоминал те дни: «Литературная осень 1909 года началась шумно и занимательно. Открылся "Аполлон" с выставками и вечерами поэзии. Замкнутые чтения о стихосложении, начатые весной на "Башне" у В. Иванова, были перенесены в "Аполлон" и превращены в Академию стиха. Появился Иннокентий Аннен-

ский, высокий, в красном жилете, прямой старик с головой Дон Кихота, с трудными и необыкновенно красивыми стихами и всевозможными чудачествами. Играл Скрябин. Из Москвы приезжал Белый с теорией поэтики в тысячу страниц. В прямой, изысканной и приподнятой атмосфере "Аполлона" возникла поэтесса Черубина де Габриак. Ее никто не видал, лишь знали ее нежный и певучий голос по телефону. Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзиной роз. Ее превосходные и волнующие стихи были смесью лжи, печали и чувственности».

Сотрудничество в журнале дало Гумилеву возможность войти в литературные круги Петербурга. В «Аполлоне» публиковались Блок, Брюсов, Вячеслав Иванов, Александр Бенуа, Борис Эйхенбаум, Борис Томашевский, Георгий Чулков и многие другие поэты, писатели, критики, искусствоведы.

В первом же номере «Аполлона» Гумилев напечатал цикл стихов «Капитаны» – гимн дальним странствиям. Герои там

Гонзальво и Кук, Лаперуз и да Гама,
Мечтатель и царь, генуэзец Колумб!
Ганнон Карфагенянин, князь Сенегамбий,
Синдбад-Мореход и могучий Улисс...
И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
Кому опостытели страны отцов...

В «Капитанах» не все удачно, например, строка «Над пасмурным морем следившие румб». Ахматова вспоминала потом, как ее отец, флотский инженер-механик, объяснял ей, что нельзя сказать «следившие румб», и просил: «Анечка, ты скажи, чтобы он переменял эту строку». Но многие строфы цикла стали широко известны:

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

«Капитанов» учили наизусть Владимир Высоцкий и его школьные друзья, когда им кто-то дал на несколько дней сборник стихов Гумилева.

* * *

Гумилев гордился журналом. Аполлоновцы вообще склонны были считать свое детище законодателем литературного вкуса, да так оно и было.

В советское время этому журналу давались отповеди за аполитичность и эстетизм. В хор осуждающих голосов включилась даже Вера Инбер, когда-то испытывавшая на себе влияние «Аполлона». Спустя десятилетия она вспоминала о нем, не знаю уж, искренне или нет:

«В предреволюционные годы и в начале войны, наряду с богом Марсом, свирепствовал Аполлон, в кавычках и без. Аполлон в кавычках, как многим известно, представлял из себя журнал, издаваемый на прекрасной бумаге "верже", чрезвычайно изысканный по содержанию. Все лучшие силы ума и сердца руководителей журнала были брошены на борьбу с грустными реальностями. Жизнь была удушливой и тяжелой, в ее низах бурлили какие-то силы, но на аполлоновских высотах это отражалось еле заметным содроганьем голубого воздуха. Жизнь была отвратна: все ее планы, спроектированные на развале царизма, были скомканы до неузнаваемости. "Красоты" не было ни в чем, и взамен нее явился некий суррогат, явилась "красивость", иными сло-

вами – эстетизм. Влияние его было чрезвычайно сильно. Целое поколение интеллигенции потягивало действительность сквозь соломинку и в таком виде находило ее сносной».

Надо сказать, что журнал вызывал нарекания и насмешки и до революции, и тоже – за эстетизм.

Аркадий Аверченко, глава намного более распространенного журнала «Сатирикон», назвал один из своих фельетонов «Аполлон» и поиздевался всласть.

«Однажды в витрине книжного магазина я увидел книгу... По наружному виду она походила на солидный, серьезный каталог технической конторы, что меня и соблазнило, так как я очень интересуюсь новинками в области техники.

А когда мне ее показали ближе, я увидел, что это не каталог, а литературный ежемесячный журнал.

– Как же он... называется? – растерянно спросил я.

– Да ведь заглавие-то на обложке.

Я внимательно всмотрелся в заглавие, перевернул книгу боком, потом вниз головой и, заинтересованный, сказал:

– Не знаю! Может быть, вы будете так любезны посвятить меня в заглавие, если, конечно, оно вам известно?.. Со своей стороны, могу дать вам слово, что если то, что вы мне сообщите, секрет – я буду свято хранить его.

– Здесь нет секрета, – сказал приказчик. – Журнал называется "Аполлон", а если буквы греческие, то это ничего... Следующий номер вам дастся гораздо легче, третий еще легче, а дальше все пойдет, как по маслу.

– Почему же журнал называется "Аполлон", а на рисунке изображена пронзенная стрелами ящерица?..

Приказчик призадумался.

– Аполлон – бог красоты и света, а ящерица – символ чего-то скользкого, противного... Вот она, очевидно, и пронзена богом света.

Мне понравилась эта замысловатость.

Когда я издам книгу своих рассказов под названием "Скрежет", то на обложке попрошу нарисовать барышню, входящую в здание зубо-врачебных курсов...»

Во времена Аверченко еще не придумали грубоватого слова «выпендрей». Но что-то подобное, наверное, и вертелось в его голове, когда он так, выражаясь тоже теперешним языком, изголялся. Не щадил он и авторов журнала, хотя некоторые из них, например, Мандельштам и художник Бакст, сотрудничали и в его «Сатириконе».

«Первая статья, которую я начал читать, – Иннокентия Анненского – называлась "О современном лиризме".

Первая фраза была такая:

"Жасминовые тирсы наших первых мэнад примахались быстро..."

Мне отчасти до боли сделалось жаль наш бестолковый русский народ, а отчасти было досадно: ничего нельзя поручить русскому человеку... Дали ему в руки жасминовый тирс, а он обрадовался и ну – махать им, пока не примахал этот инструмент окончательно.

Фраза, случайно выхваченная мною из середины "лиризма", тоже не развеселила меня:

"В русской поэзии носятся частицы теософического кокса, этого буржуазнейшего из Анти-смертинов..."

Это было до боли обидно».

По всей вероятности, Аверченко высмеивал прежде всего программную статью первого номера «Аполлона», опубликованную без подписи, под заголовком «Скучный разговор».

А в фельетоне «Африканские неурядицы» говорилось о «вожде племени бери-бери Корибу», якобы обитавшем на западном берегу реки Конго. Аверченко иронизировал: «Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, коррали, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!»

Все это было для Аверченко только литературным приемом, и на самом деле подразумевались отнюдь не африканские, а исконно-посконные российские неурядицы. А в африканскую форму он их облек из-за гумилевских стихов.

ДУЭЛЬ

*Не важно то, что для дуэли нет причины,
Не важно то, что ссора вышла из-за дам,
А важно то, что в мире есть еще мужчины,
Которым совестно таскаться по судам.*

Л. Филатов

Вскоре после выхода первого номера «Аполлона» произошло еще одно событие в жизни Гумилева.

Лет тридцать назад, когда я услышал эту историю от Виктора Мануйлова, о ней у нас, пожалуй, нигде еще нельзя было прочитать. Но в последние годы уже не раз писали о таинственной Черубине де Габриак, о том, как она присылала в «Аполлон» свои стихи на траурных листках, про-

питанных запахом крепких духов и переложенных засушенными «богородицыными травками». О том, как в нее, называвшую себя по телефону инфантой и ревностной католичкой, были заочно влюблены аполлоновцы. О том, как выяснилось, что под этим псевдонимом скрывалась поэтесса Елизавета Дмитриева. И о том, как все это привело к дуэли между Гумилевым и Волошиным.

Но Мануйлов не мог тогда знать «Исповедь» Елизаветы Дмитриевой, в которой рассказывалось об истории ее отношений с Гумилевым. «Исповедь» опубликовали, когда Мануйлова уже не было в живых. А написала ее Дмитриева в 1926-м, за два года до смерти. И наказала своему душеприказчику: «При жизни моей обещайте "Исповедь" никому не показывать, а после моей смерти — мне будет все равно».

С Дмитриевой Гумилев познакомился еще в Париже. Потом они встретились весной 1909-го в Петербурге на лекции в Академии художеств. После лекции и ужина в ресторане «Вена» поехал ее провожать.

«Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это "встреча", и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть. "Не смущаясь и не кроясь я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей", — писал Н. С. на альбоме, подаренном мне.

Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на "Башню" и возвращались на рассвете по просыпающемуся розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой,

непонятной любви. В "будни своей жизни" не хотела я вводить Н. Степ.

Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С. — и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство — желание мучить. Воистину, он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его — невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. В мае мы вместе выехали в Коктебель.

Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его "Гумми", не любила имени "Николай", — а он меня, как зовут дома, "Лиля" — "имя, похожее на серебристый колокольчик", как говорил он... Он писал тогда "Капитанов" — они посвящались мне. Вместе каждую строчку обдумывали мы».

Но там, в Коктебеле, все изменилось. Почему? Потому ли, что ей что-то не нравилось в Гумилеве? Может быть. «Была одна черта, которую я очень не любила в Н. С., — его неблагожелательное отношение к чужому творчеству: он всегда всех бранил, над всеми смеялся — мне хотелось, чтобы он тогда уже был "отважным корсаром", но тогда он еще не был таким».

Но не это главное. В Коктебеле они остановились у Максимилиана Волошина. Дмитриева его давно уже обожала, считая для себя недостижимым. А тут выяснила, что и он ее любит — «любит уже давно». Попросила Гумилева уехать. Он, скрепя сердце, уехал.

Потом и она вернулась в Петербург. Вскоре появилась Черубина де Габриак, творение Воло-

шина и Дмитриевой. В редакцию «Аполлона» приходили стихи от чужеземной аристократки, католички. Она писала о себе: «Но я сама избрала мрак агата, меня ведет по пламеням заката в созвездье Сна вечерняя рука. Наш узкий путь, наш трудный подвиг страсти заткала мглой и заревом тоска...»

В «Аполлоне» Черубина де Габриак никому не показывалась. Приходили лишь пахнущие дорогими духами листы стихов, томно-изысканных, с усталой капризностью.

Даже Ронсара сонеты
Не разомкнули мне грусть.
Все, что сказали поэты,
Знаю давно наизусть.
Тьмы не отгонишь печальной
Знаком святого креста.
А у принцессы опальной
Отняли даже шута...

А Гумилев? «Я вернулась совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. А я собиралась выходить замуж за Максимилиана Александровича. Почему я так мучила его? Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, а другая другого.

О, зачем они пришли и ушли в одно время! Наконец, Н. С. не выдержал, любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В "Аполлоне" он остановил меня и сказал: "Я прошу Вас последний раз: выходите за меня замуж". Я сказала: "Нет!"

Он побледнел. "Ну тогда Вы узнаете меня".

Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н. С. на "Башне" говорил Бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павловне Брюлловой, там же был и Гюнтер. Я спросила Н. С.: говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня. Через два дня Максимилиан Александрович ударил его, была дуэль».

* * *

Разоблачение мистификации с вымышленной поэтессой и развязка отношений Дмитриевой с Гумилевым произошли одновременно. Елизавета Ивановна призналась немецкому поэту и переводчику Иоганну фон Гюнтеру в мистификации. Он догадался о ее отношениях с Гумилевым и устроил их встречу у Брюлловой.

Но тут и произошло неожиданное для него, для Брюлловой и, очевидно, для самой Дмитриевой. По его словам, Гумилев вошел «с небрежным и даже заносчивым видом» и, не поздоровавшись, бросил в лицо Дмитриевой:

— Мадемуазель, вы распространяете ложь, будто я собирался на вас жениться. Вы были моей любовницей. На таких не женятся. Вот что я хотел вам сказать.

И ушел, с презрительным кивком.

Вполне ли верно передал Гюнтер слова Гумилева? Если и не вполне точно, все равно они, несомненно, были оскорбительны.

Девятнадцатого ноября сотрудники «Аполлона» собрались в мастерской художника Александра Головина (она находилась над сценой Мариинского театра). По воспоминаниям Маковского, Максимилиан Волошин, не произнес ни слова,

изо всей силы ударил Гумилева по правой щеке. Гумилев ринулся на него с кулаками, но их тут же разняли. Волошин спросил:

– Вы поняли?

Гумилев ответил:

– Понял.

Стрелялись они возле Черной речки, известной по дуэли Пушкина, на пустыре близ Новой Деревни. И как вспоминал Волошин, «если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему». Дуэльные пистолеты было нелегко найти. Наконец, достали пистолеты «с историей» – на них были выгравированы фамилии всех, кто стрелял из них на дуэлях.

Гумилев потребовал стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Секунданты на такие жесткие условия не согласились.

Гумилев промахнулся, а Волошин вообще, кажется, не умел стрелять и к тому же больше всего боялся попасть в противника.

Обошлось без крови. Но дуэль сразу получила широкую огласку, и не особенно благоприятную для дуэлянтов. Писали разное – и что писателям, дескать, делать больше нечего (одна из статей так и называлась: «Чем заняты наши писатели?»). В газете «Речь» фельетонист Владимир Азов ехидничал: «Насчет дуэли? Превосходная вещь. В особенности зимою. Зимою какая же дуэль без коньяку и шампанского? И при том требуют самого лучшего, высших марок. Дуэли поддерживают винную торговлю... Все-таки фигурируешь в газетах: секундантами были такие-то. И притом без малейшей для себя опасности. Вообще придает человеку известный вес».

Кто разгласил подробности? Может быть, сами

дуэлянты. Еще вероятнее, кто-то из секундантов. Любитель сенсаций молодой Алексей Толстой или сотрудничавший в «Аполлоне» князь Александр Шервашидзе – секунданты Волошина. Или секретарь редакции «Аполлона» Евгений Зноско-Боровский и поэт Михаил Кузмин – секунданты Гумилева. Как бы то ни было, подробности дуэли можно было узнать и из «Вечернего Петербурга», и из «Русского слова», и из «Петербургской газеты». Не обошли дуэль вниманием даже газеты «Копейка», суворинское «Новое время», «Биржевые ведомости», «Столичная молва». Докатилось эхо и до Москвы – там газета «Раннее утро» опубликовала статью «Декадентская дуэль».

Одним словом, эта дуэль почему-то обсуждалась больше, чем другие. Нередко в духе:

Из пистолета на дуэли
Дурак стреляет в дурака.

В воспоминаниях сотрудника «Аполлона» Сергея Ауслендера, записанных Львом Горнунгом: «...История начала "расплываться" в газетах и принимала неприятный характер. Писали о калоше, потерянной, кажется, Зноско-Боровским... Гумилеву была неприятна вся эта история и газетные сплетни. Его романтизм был ущемлен. Вскоре он уехал в первую поездку по Абиссинии».

Да, Гумилев, конечно, добивался славы, но не такой. Возможно, эта шумиха вызвала у него желание на время скрыться и ускорила поездку в Африку.

Сохранилось его письмо, посланное через день после дуэли, 24 ноября, поэту Анненскому-Кривичу,

сыну Иннокентия Анненского. «Дорогой Валентин Иннокентиевич, если свободны, приходите сегодня в восемь... Будут интересные люди. Это последний раз перед Абиссинией у меня собираются».

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С СОМАЛИ И АБИССИНИЕЙ

*Вот и все! Поехали кататься!
Панихида будет впереди.*

В. Высоцкий

Идея поездки – и уже не в Египет, а дальше, в Черную Африку – была у него давно. И строчка в «Капитанах» звучит как мечта:

Туда, за тропик Козерога!

26 ноября едет в Киев, там получает окончательное согласие Ани Горенко стать его женой. 30 ноября внезапно, на Царскосельском вокзале, скончался Иннокентий Анненский. Гумилев уже на пути в Одессу.

Затем – Варна. Оттуда пишет Валерию Брюсову в мальчишеско-задиристом тоне: «Приветствую Вас из Варны, куда я заехал по пути в Абиссинию. Там буду недели через полторы. Застрелю двух-трех павианов, поваляюсь под пальмами и вернусь назад, как раз, чтобы застать Ваши лекции в "Академии стиха". Напишу еще раз из Джибути или из Харара».

Не так бравадно письмо Вячеславу Иванову, который собирался присоединиться к Гумилеву в

дороге. Из Одессы 1 декабря: «...очень хотел бы Вашего общества». Сообщает, что 3-го выезжает в Константинополь, надеется 9-го быть в Каире и там ждет телеграмму. Если ее не будет, 12-го поедет дальше один. Телеграммы не получил.

В его письмах из Каира: «Здесь очень хорошо». Красоты сада, в котором «дивно-хорошо». И вместе с тем: «Но каждый день мне приходит в голову ужасная мысль, которую я, конечно, не приведу в исполнение, — это отправиться в Александрию и там не утопиться подобно Антиною, а просто сесть на корабль, идущий в Одессу. Я чувствую себя очень одиноким».

Прямо как у японского поэта:

Так захотелось просто быть в пути

И ехать в поезде! Поехал.

А с поезда сошел, и некуда идти.

И все же: «Я сижу в Каире, чтобы кончить статью для "Аполлона", как она меня мучит, если бы Вы знали — денег у меня мало. Но лучше я буду работать в Абиссинии, там, кстати, строится железная дорога от Харрара до Аддис-Абебы, и нужны руки, лучше пусть меня проклянет за ожидание Маковский».

Колебался даже, ехать ли в Джибути. «Но, подумав, что там меня ждут письма, я решил быть там во что бы то ни стало. И, кажется, это устраивается. Придется только ехать в четвертом классе и сперва в Аден и уж оттуда в Джибути».

Такое вот сумбурное письмо.

Колебания Гумилев преодолел. Поплыл Суэцким каналом и Красным морем. Сомали. Потом Абиссиния. Настроение, очевидно, выправилось.

5 января 1910-го он пишет Вячеславу Иванову: «Я прекрасно доехал до Джибути и завтра еду дальше. Постараюсь попасть в Аддис-Абебу, устраивая по дороге эскапады. Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны. Я совсем утешен и чувствую себя прекрасно».

Брюсову: «...Как видите, пишу Вам уже из Джибути. Завтра еду в глубь страны по направлению к Аддис-Абебе, столице Менелика.

По дороге буду охотиться. Здесь уже есть все, до львов и слонов включительно... Настоящая Африка. Пишу стихи, но мало... Впечатлений масса. Хватит на две книги стихов. Если меня не съедят, я вернусь в конце января».

Путешествие привело его в восторг, хотя Аддис-Абебы он так и не достиг.

Письмо Михаилу Кузмину, коллеге по «Аполлону», январь 1910-го: «Дорогой Миша, пишу уже из Харрара. Вчера сделал двенадцать часов (70 километров) на муле, сегодня мне предстоит ехать еще восемь часов (50 километров), чтобы найти леопардов. Так как княжество Харрар находится на горе, здесь не так жарко, как было в Дир-Абауа,* откуда я приехал. Здесь только один отель, и цены, конечно, страшные. Но сегодня ночью мне предстоит спать на воздухе, если

* Речь идет о городке Дыре-Дауа. Тут, должно быть, описка. Вообще же Гумилев употреблял принятое тогда русское написание географических названий и имен, и нередко по-разному (например, Харар или Харрар). К нашему времени транслитерация изменилась: не Гаваш, а Аваш, не Харар, а Харэр, не Дире-Дауа, а Дыре-Дауа, не Черчер, а Чэрчэр, не Шейх-Гуссейн, а Шейх-Хуссейн, не Маргарита, а Маргерита, не Родольфо, а Рудольф, не Тафари, а Тэфэри, не Маконен, а Мэконын и т. д. Некоторые же старые наименования настолько изменились в самой Эфиопии, что их трудно отождествить с чем-то ныне известным.

вообще придется спать, потому что леопарды показываются обыкновенно ночью. Здесь есть и львы, и слоны, но они редки, как у нас лоси, и надо надеяться на свое счастье, чтобы найти их.

Я в ужасном виде: платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспален от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Но я махнул рукой на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна, один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом. Как видишь из этого письма, я совсем забыл русский язык; здесь я говорю на пяти языках сразу. Но я доволен своей поездкой. Она меня пьянит, как вино.

Когда ты получишь это письмо, я буду, наверно, уже по дороге в Константинополь и через неделю увижу тебя.

Кланяйся всем на Башне и в Аполлоне. Мой слуга абиссинец ждет меня у дверей. Кончаю писать».

Сохранилось письмо Вячеслава Иванова Брюсову. Хозяин известной тогда литературному Петербургу «Башни», где собирались поэты, писал: «Чуть-чуть было не уехал с Гумилевым в Африку... но был болен, оцеплен делами и — беден, очень беден деньгами». А потом позволил себе и насмешку над гумилевским «одиноким путешествием за парой леопардовых шкур в Африку».

* * *

Путешествие было недолгим. 5 февраля 1910-го он уже вернулся.

Так состоялось знакомство Гумилева с Французским Сомали (теперь эта страна называется

Республика Джибути) и с восточной окраиной Абиссинии. Знакомство, занявшее в дальнейшем такое большое место в его жизни, что он счел возможным написать за несколько лет до смерти: «Я побывал в Абиссинии три раза и в общей сложности провел в этой стране почти два года».

Сведения о путешествии скудны. Пожалуй, особенно странно, что Анна Ахматова не упомянула о нем ни в ответах на мои вопросы, ни в заметках «Гумилев и Африка» в записной книжке конца 1962 – начала 1963-го. Не знать она не могла. Аня Горенко в это время готовилась к свадьбе с Гумилевым.

Еще в начале июля 1909 года Гумилев, приехав к ней под Одессу, в Лустдорф, уговаривал поехать с ним в Африку.

Просто, очевидно, Анна Андреевна не считала ту поездку путешествием. Действительно, она была намного короче двух следующих – всего несколько недель. Да и отправился Гумилев как-то впопыхах.

Вряд ли непосредственно перед отъездом у него было время внимательно поглядеть литературу об Африке – кроме той, что была ему уже знакома. Но, скорее всего, посетил большую «Абиссинскую выставку», которая открылась в 1908-м в Петербурге, на Невском, в доме 59. В петербургском журнале «Зритель» она рекламировалась весьма помпезно:

«Этнографическая и зоологическая демонстрация сказочной страны черных христиан. Большая коллекция оружия, одежды, принадлежностей домашнего обихода и проч. выставлена среди декораций, дающих возможность ознакомиться с дружественной нам Эфиопией».

При выставке даже открыли кинематограф. Не выставка при кинематографе, а кино при вы-

ставка. «При абиссинской выставке имеется "Театр Гомон". Французское акционерное о-во «Гомон» установило новейший и самый дорогой кинематографический аппарат "Хроно", изображающий жизнь на полотне с небывалой до сих пор иллюзией». Вход на выставку — полтинник, «с правом без доплаты занять место в ближайших к экрану театра "Гомон" местах».

Может быть, Гумилева и не так уж соблазнял французский аппарат, «изображающий жизнь на полотне с небывалой до сих пор иллюзией». Во время жизни во Франции у него было достаточно возможностей познакомиться с этой новинкой. Но сама выставка оружия, одежды, предметов домашнего обихода на фоне декораций, воспроизводящих жизнь страны, должна была распалить его желание повидать все своими глазами.

Читал ли Гумилев статьи об Абиссинии в «Новом времени», которые появились прямо накануне его отъезда, 30 октября и 4 ноября 1909 года? Кто-нибудь из знакомых, узнав о готовящейся поездке, наверняка сказал ему о них. Заголовок не мог не бросаться в глаза: «Современное положение Абиссинии». Да и автор статей был известен — Николай Леонтьев провел в Абиссинии несколько лет.

Гумилев тогда вряд ли ставил себе целью разобраться в абиссинских делах. Поехал отвлечься, побродить, поохотиться и, главное, набраться новых впечатлений. До Аддис-Абебы он не доехал. Пробыл на сомалийской и эфиопской земле считанные дни.

Но этот край оказался для него поразительно благотворен. Неприятные воспоминания о дуэли куда-то ушли, отдалились. Легко представлялось, как завидуют друзья в промозглом зимнем Петербурге и какой «интересности» должны прибав-

вить эти странствия в глазах невесты. Да и только ли в ее глазах?

И об Артюре Рембо в Харэре можно было вспомнить (в наши дни там есть даже мемориальный Дом Рембо).

В путешествиях по Африке Гумилев каждый раз повторял свой первый маршрут по Сомали и Эфиопии, стремясь лишь продолжить его. И называл те края «колдовской страной».

К его возвращению история со злополучной дуэлью подзабылась. Сенсации недолговечны в сиятельном Санкт-Петербурге. Молва о путешествии в экзотические края оттеснила пересуды о ссоре с Волошиным.

Правда, через год, в октябре 1910-го, газеты снова вспомнили о поединке. К тому времени дело было передано в суд. Снова замелькали заголовки: «Дело литераторов-дуэлянтов», «Дуэль между литераторами». Но Гумилев опять уже в Африке, и на этот раз — надолго.

«СЛИШКОМ ДОЛГО БЫЛИ ЖЕНИХОМ И НЕВЕСТОЙ»

*Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.*

Б. Окуджава

Между первым и вторым путешествием Гумилева в Абиссинию прошло меньше восьми месяцев (с конца января до конца сентября 1910 года). Но событий в его жизни произошло немало.

Печатается Гумилев теперь больше всего в «Аполлоне». В 1910-м его статьи и обзоры поэ-

зии – почти в каждом номере. В шестой и восьмой книгах – даже дважды. Становится авторитетным критиком.

Каковы его литературные вкусы?

Преклоняется перед Брюсовым: тот восстановил «в России позабытое со времен Пушкина благородное искусство просто и правильно писать стихи». И перед Анненским: «В его стихах пленяет гармоническое равновесие между образом и формой». Вызывает его восхищение Кузмин «со всей неожиданной смелостью своих тем и приемов, с неслыханным в русской поэзии словарем и со стихом, звучащим утонченно и странно».

Зато суров к поэзии Бунина. «Стихи Бунина, как и других эпигонов натурализма, надо считать подделками, прежде всего потому, что они скучны, не гипнотизируют. В них все понятно и ничего не прекрасно». Досталось и Зинаиде Гиппиус с «застывшим на одной точке мастерством». Не месть ли это за ее высокомерие в Париже?

У Саши Черного «есть своя философия – последовательный пессимизм, не щадящий самого автора». Стих его «оригинальный и разработанный».

Краткие, но сочные характеристики даны стихотворениям Федора Сологуба, Фофанова, Александра Рославлева, Тэффи, Сергея Соловьева, Ратгауза.

«Для меня несомненно, что для хорошего сатирика необходимы известная тупость восприятий и ограниченность кругозора, то есть то, что в общежитии называется здравым смыслом. Известно, что люди высшей породы, облагороженной долгим поэтическим созерцанием, не смеются и не негодуют». Нравились ли читателям такие высказывания Гумилева? Оскар Уайльд к

тому времени уже привил им вкус к парадоксам.

Гумилев свято верил, что те, кого природа наделила поэтическим даром, — это лучшая часть рода человеческого. И даже в зрелые годы был убежден, что, если поэты возглавят государства и правительства, жизнь на планете переменится к лучшему. Что ж, английский поэт Мэтью Арнольд еще раньше утверждал, что «нас спасет поэзия».

Литературная критика была для Гумилева и средством познания механизмов поэтического творчества, которые его всегда интересовали, и способом завоевать имя, утвердиться в литературных кругах. Но главным, конечно, оставалась его собственная лира.

В 1910-м вышел его третий сборник стихов — «Жемчуга» с посвящением «моему учителю Валерию Брюсову». Во втором издании, в 1918-м, это посвящение снято, как и во втором издании «Романтических цветов» (тоже в 1918-м) снято «Посвящается Анне Андреевне Горенко».

Этому сборнику Брюсов дал оценку в журнале «Русская мысль»: Гумилев «живет в мире воображаемом и почти призрачном. Он как-то чуждается современности, он сам создает для себя страны и населяет их им самим сотворенными существами: людьми, зверями, демонами. В этих странах — можно сказать, в этих мирах, — явления подчиняются не обычным законам природы, но новым, которым повелел существовать поэт; и люди в них живут и действуют не по законам обычной психологии, но по странным, необъясненным капризам, подсказываемым автором-суфлером».

Вячеслав Иванов тоже откликнулся. Без осо-

бого одобрения писал об экзотическом романтизме Гумилева и о «надменных станцах».

И все-таки именно этот сборник, куда вошел и цикл «Капитаны», пожалуй, впервые принес Гумилеву некоторую известность среди любителей отечественной словесности. Брюсов: Гумилев «медленно, но уверенно идет к полному мастерству в области формы» и «почти все его стихотворения написаны прекрасно, обдуманно и утонченно звучащим стихом».

* * *

А личная жизнь?

Вскоре после его возвращения из Абиссинии, в марте 1910-го, умер давно болевший отец.

Двадцать пятого апреля исполнилась давняя мечта – свадьба с Анной Андреевной Горенко. Венчаться решили не в Петербурге, а в Черниговской губернии, в церкви села Никольская слободка. Медовый месяц провели в Париже. Затем поселились вместе с матерью Гумилева в Царском Селе. Такая вполне обычная женитьба – как у всех – вызвала удивление знакомых. Поэт Владимир Пяст вспоминал потом: «...прошел слух, что Гумилев женился и – против всякого ожидания – "на самой обыкновенной барышне". Очевидно, от него, с его любовью к путешествиям, ожидали чего-то экзотического – что он привезет себе жену зулуску или, по крайней мере, мулатку.

В конце лета 1910-го Гумилев пишет Брюсову: «Я уже женат и живу в Царском на старой квартире, Бульварная, д. Георгиевского... И думаю остаться еще на несколько месяцев, пока не потянет куда-нибудь на юг. Пока смутно намечается поездка в Среднюю Азию».

И вдруг – резкая перемена. «Дней через десять я опять собираюсь за границу, именно в Африку. Думаю через Абиссинию проехать на озеро Родольфо, оттуда на озеро Виктория, и через Момбад в Европу. Всего пробуду там месяцев пять». Так что собрался проникнуть в Южное полушарие. «Туда, за тропик Козерога!», как писал он в 1909-м.

Через Абиссинию спуститься значительно южнее, в область Великих африканских озер, на озеро Рудольф, побывать в Уганде, Кении, а может быть, и в стране, которая теперь именуется Танзанией, а тогда называлась Германской Восточной Африкой. Момбад – это, конечно, Момбаса, один из крупнейших восточноафриканских портов, на полпути от Эфиопии к Мозамбику.

Не странно ли, что всего через полгода после свадьбы он так легко уезжал в дальние края, да к тому же так надолго, на несколько месяцев?

Сергей Маковский объясняет: «...после поездки в Африку пышным цветом расцвели его экзотические восторги, и так хотелось ему увлечь жену мечтой о далеком волшебстве мира, о красоте пустынь под небом южного полушария с созвездием "Креста", и о первобытном человеке, божественно сильном, неистертом так называемой цивилизацией, живущем в согласии с природой и ее тайнами. От Анны Андреевны он требовал поклонения себе и покорности, не допуская мысли, что она существо самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел понять. Она была мнительно-горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень. Возвратясь из Слепнева в Царское, он

только и мечтал умчаться поскорее в новое "страствие" и, не долго думая, исчез опять на несколько месяцев в Абиссинию».

Может быть, в стихах нашего современника, поэта Сергея Глуценко, объяснение короче и яснее:

Сидишь ты в двух
шагах...
Как далеко!

Она была в Киеве, у мамы. Он написал: «Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, потому что я уезжаю в Африку». Вернулась, когда он уже укладывался. С дороги прислал ей:

И, тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Как объясняла Анна Андреевна? Очень хотелось спросить ее. Но не осмелился. Писательница Наталья Ильина, близко знавшая Анну Андреевну, решилась.

— А почему он уехал через полгода после женитьбы?

Анна Андреевна ответила:

— Страсть была к путешествиям. И я обещала, что никогда не помешаю ему уехать, куда он захочет. Еще до того, как мы поженились, обещала. Заговорили об одном нашем друге, которого жена не пускала на охоту, Николай Степанович спросил: «А ты бы меня пускала?» — «Куда хочешь, когда хочешь!». И вот я была у матери, а он прислал за мной. Передал, что едет, хочет проститься. Я приехала. Он укладывался. Были седла куплены.

Уже из этих слов видно, что все не так просто.

А Лидии Чуковской она говорила:

– Мы слишком долго были женихом и невестой... Когда мы поженились, в 10-м году, он уже утратил свой пафос...

Еще в одном разговоре призналась:

– У меня в молодости был трудный характер, я очень отстаивала внутреннюю независимость и была избалована.

Так или иначе, 25 сентября 1910 года Гумилев отправился в путь. Анна Ахматова не раз называла эту дату, как и день возвращения – 25 марта 1911-го.

Скоропалительно. И вернуться не очень तो-ропился...

Через полтора месяца, в ноябре, Анна Андреевна, уехав в родной Киев, написала:

Он любил три вещи на свете:

За вечерней пенью, белых павлинов

И стертые карты Америки.

Не любил, когда плачут дети,

Не любил чая с малиной

И женской истерики.

...А я была его женой.

Не повлияла ли на решение Гумилева и угроза судебного разбирательства его прошлогодней дуэли? В петербургском окружном суде дело о его поединке слушалось 12 октября. Поскольку дуэль кончилась без крови, приговор оказался очень мягким: Гумилеву – его обвинили в вызове на дуэль – семь суток домашнего ареста, Волошину – одни сутки.

В день суда он уже приближался к Порт-

Саиду – прибыл туда 13 октября, в пути написав четвертую песнь «Открытия Америки». Свой домашний арест провел в каютах пароходов, следовавших дальше на юг.

«АХ, БЕЖАТЬ БЫ, СКРЫТЬСЯ БЫ КАК ВОРУ»

*А дальняя дорога
Дана тебе судьбой,
Как матушкины слезы,
Всегда она с тобой.*

Б. Окуджава

*Корабли постоят и ложатся на курс,
Но они возвращаются сквозь непогоды.
Не пройдет и полгода, и я появлюсь,
Чтобы снова уйти на полгода.*

В. Высоцкий

Это самое долгое его путешествие в Африку. Полгода. Отъезд похож на бегство. Писал через несколько лет, когда переживал новую душевную драму:

Ах, бежать бы, скрыться бы как вору,
В Африку, как прежде, как тогда.

Полгода жизни... О чем думал, тосковал, тревожился? Как доносились до него вести с родины – и как он их воспринимал? Смерть Льва Толстого?

Торопился ли вернуться в блистательный Санкт-Петербург? Скорее, наоборот, медлил.

Его молодая жена – ей двадцать один – написала в эти месяцы многие из стихотворений, которые вошли потом в ее первый сборник «Вечер». Тогда и появились строки:

О нем гадала я в канун Крещения.
Я в январе была его подругой.

И еще:

Дни томлений острых прожиты
Вместе с белою зимой,
Отчего же, отчего же ты
Лучше, чем избранник мой?

В те месяцы, что Гумилев провел в Африке, она пережила первый успех как поэтесса – прежде всего на «Башне» у Вячеслава Иванова. Стихи она писала и прежде, но Гумилеву они не нравились. Ахматова и сама потом поняла, что стихи были «ужасающие».

«А в сентябре он уехал в Африку, – вспоминала она через три десятилетия, – и пробыл там несколько месяцев. За это время я много писала и пережила свою первую славу: все хвалили кругом – и Кузмин, и Сологуб, и у Вячеслава (у Вячеслава Колю не любили и старались оторвать меня от него; говорили – "вот, вот, он не понимает ваших стихов"). Он вернулся. Я ему ничего не говорю. Потом он спрашивает: "Писала стихи?" – "Писала". И прочла ему. Это были стихи из книги "Вечер". Он охнул. С тех пор он мои стихи всегда очень любил».

Но и успех на «Башне», и возвращение мужа не так уж радовали ее. В марте 1911-го, за две с

половиной недели до его возвращения, она сетовала:

Знаешь, долю такую
Лишь врагу
Пожелать я могу.

Стихи – не исповедь, но ведь Ахматова, как и Гумилев, точно в изображении примет времени и места. Сергей Маковский писал о том времени: «Я не хочу слишком уточнять перипетии семейной драмы Гумилевых. К тому же каждому, знающему стихи, какими начинается "Чужое небо" и каких много в сборниках Ахматовой – "Вечер" и "Четки", нетрудно восстановить эту драму и судить о том, насколько в этих стихах все автобиографично».

...А Гумилев месяцами молчал. Что за этим молчанием? Нервозность, стремление бежать все дальше? Как у Иосифа Бродского:

Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, и обжорство.
Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных –
Лишь согласное гуденье насекомых.

Не так ли чувствовал себя Гумилев в своем добровольном изгнании? Писал же он Кузмину: «В Петербурге все по-прежнему: ссорятся, пьют и читают стихи».

Сколько перевидал он за эти долгие полгода!

Но в составленных Павлом Лукницким «Трудах и днях Гумилева» о них всего две записи, со слов Ахматовой. «1910. Конец октября, ноябрь и декабрь. Путешествие по Африке. Никому писем не пишет. В течение трех месяцев от него нет никаких известий». И еще: «Новый год, по видимому, застал Н. Г. в Аддис-Абебе. Здесь виделся с Рус[ским] посланником Б. А. Чемериным и с доктором Кохановским. Виделся с абиссинским художником Ато-Энчедуарком. Представлялся Абиссинскому императору (Лидж Иассу). Участвовал в парадном обеде на 3000 абиссинцев. Был ограблен в Аддис-Абебе».

И пометка Лукницкого: «Все проверить». Так он писал, когда Ахматова сомневалась в достоверности фактов.

ПИСЬМА ДИПЛОМАТА

*Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов.*

М. Волошин

«Письма больше, чем воспоминания, — считал Герцен, — на них запеклась кровь событий, это — само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное».

Анна Андреевна не подозревала, какие важные письменные свидетельства все же сохранились.

Несколько лет назад петербургский эфиопист Ватаняр Ягья дал мне возможность ознакомить-

ся с письмами, которые отправляли на родину поверенный в делах Российской империи в Абиссинии Борис Александрович Чемерзин и его жена Анна Васильевна. Эти письма охватывают время с середины 1910-го по середину 1914-го.

Гумилев бывал у Чемерзиных в Аддис-Абебе. Они знали его таким, каким он был там. И картины, представшие его глазам, обстановку, в которой он оказался, их письма передают.

Чемерзины отправились в Абиссинию почти одновременно с Гумилевым. Он – 25 сентября, они – несколькими неделями раньше, в начале августа. Путь их полностью совпадал – от Одессы до Аддис-Абебы. Те же остановки. Те же лица и виды. Иной могла быть только погода.

Гумилев мог видеть окружающее иначе – не как неискушенные в искусстве и литературе Чемерзины. И все же каждая маленькая деталь в этих письмах подсказывает: и Гумилев тут ехал, и Гумилев это видел, и он это пережил.

Больше всего Чемерзины пишут о тяготах пути. Гумилев избегал упоминать о прозе жизни, хотя на его долю ее выпало больше, ведь он не пользовался удобствами и почестями дипломатов.

Еще в самом начале пути, перед входом в Босфор, Чемерзиных несколько дней продержали в карантине. В Константинополе их пугали, что в Порт-Саиде свирепствует чума. Восьмидневное плавание по Красному морю оказалось тяжелым. Жара, влажность. «Было плохо от духоты и испарины – метались и страдали ночью больше, чем днем», – писала Анна Васильевна.

Да, путешествия в то время далеко не так удобны, как сейчас. Кондиционеров еще не было. В Джибути «провели трое суток в ужасной жаре». В Дыре-Дауа уже терпимее: там выше – 1200–1400 метров над уровнем моря. Но все

же и там в середине дня солнце печет «неми-
лосердно».

В Дыре-Дауа задержались на три недели. Переболели лихорадкой. Тем временем нагрузили четыре десятка верблюдов и отправили в Аддис-Абебу в сопровождении десяти конвойных. Сами поселились сначала в гостинице, потом в палатках, чтобы подготовиться к трудному пути.

Путь от Дыре-Дауа в Харэр — меньше двух суток. Но и он показался Анне Васильевне нелегким. Ее письмо от 23 сентября 1910 года, уже из Харэра: «Местами нам приходилось проходить по откосам каменистым и довольно узким тропинкам, впрочем, пропастей больших я не видела, скорее встречались ложбины, в которых масса зелени и трав напоминала мне швейцарские долины и ущелья. Бесперывно шли мы на мулах часа 4 без отдыха, было очень жарко... Двинулись к озеру Харамайя, где предполагалась наша первая стоянка. Прибыли туда лишь к 5 ч., после 7-часового перехода. Для первого раза это было нелегко, и я совсем обалдела, тело ломило, голова болела, и в горле стояла спазма. Спать сразу лечь не удалось. Большой палатки не открывали, спали мы в т. наз. палатке столовая; было холодно, сыро и неприятно, комаров бездна».

Литературным даром Чемерзины не обладали. Из-за отсутствия воображения они как бы фотографировали действительность. Этим письма и ценны.

Путь от Харэра к столице. По гористому району Черчер, а затем по пустынной части страны. У Гумилева:

Восемь дней от Харрара я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы

И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.

В письмах Чемерзиных путь выглядит куда более обыденным, без ореола неизведанности и таинственности, привкус которых неизменно чувствуешь в гумилевских стихах. Конечно, для Чемерзиных, имеющих повара, горничных, прачек и вооруженную охрану, этот путь куда легче. Но и в их письмах порой проскальзывает воодушевление.

«После Харрара мы спустя день попали в горную страну Черчер. Красивее места и лесов трудно себе представить».

1 января 1911 г. Анна Васильевна Чемерзина подробно описала парадный обед, который, со слов Ахматовой, упомянут в «Трудах и днях». Указала и дату: 25 декабря.

В приемном зале императорского дворца Гэби стоял большой стол для европейцев – дипломатов, врачей, служащих банка и вообще всех европейцев, «занимавших известное положение». Там сидел и абиссинский министр иностранных дел. Справа от него – жена английского посланника, слева – Чемерзина. На этот стол подавались европейские кушанья, приготовленные поваром французского посланника.

Лидж Иясу, наследник престола (император Менелик II был тяжело болен), сидел на своем троне. У подножия трона расположились регент и принцы крови. Все, что подавалось наследнику, сперва пробовали его телохранители и пажи. Трон отделялся от остального зала легкими занавесками.

Когда обед кончился, «глазам нашим представилось своеобразное зрелище – угощение ветеранов и всех войск абиссинского правительства.

Входили войска по старшинству и усаживались на полу, укрытом коврами и циновками, у невысоких столов, а служащие дворца вносили туши сырого мяса на больших палках, которые обносили между столами; каждый брал нож со стола и отрезал себе желаемый кусок мяса от туши». А запивали его медовым хмельным напитком и заедали кислыми блинами. Всего обедало около трех тысяч человек, в том числе и ашкеры – солдаты, охранявшие русскую миссию.

«Борис устроил приглашение Гумилеву, который остался очень доволен всем, что видел».

Сколько впечатлений это дало Гумилеву! Повидал абиссинскую знать, традиционные церемонии.

Но из писем Чемерзиных узнаешь не только об императорском обеде.

Письмо Анны Васильевны от 19 ноября 1910 года.

«...Сегодня у нас завтракал русский корреспондент "Речи" и журнала "Аполлон" (декадентский) Н. С. Гумилев, приехал изучать абиссинские песни. Очень приятно было видеть русского. Он сообщил нам, что приехал одновременно с нашей горничной – женой Дмитрия и заботился о ней, служа ей переводчиком в Джибути и Дире-Дау».

Видимо, Гумилев считал, что будет выглядеть странно или несолидно, если скажет, что пустился странствовать в далекие края просто так, сам по себе. Вот и назвал себя корреспондентом и не только журнала «Аполлон», о существовании которого дипломатам и знать-то было ни к чему, но и всем известной газеты «Речь».

Впрочем, не исключено, что, зная практику рекомендательных писем, Гумилев запасся какими-то бумагами от «Аполлона» и даже от «Речи».

Еще из письма Анны Васильевны от 1 января 1911 года.

«...Здесь у нас в Аддис-Абебе проживает временно декадентский поэт Гумилев, окончивший Сорбонну и числящийся теперь на последнем курсе Петербургского университета. В мае мес[яце] он женился на киевлянке, а уже в августе в конце выехал в Абиссинию и пребывает здесь неизменно. Мы, конечно, не спрашиваем его о причинах, побудивших его покинуть жену, но он сам высказался так, что между ним и его женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность. Вероятно, он скоро уезжает через пустыню и Черчер; решил предпринять этот путь, после тысячи самых невероятных проектов. Видимо, он богатый человек, очень воспитанный и приятный в обращении».

Несколько немудреных фраз, но как много информации! И о «самых невероятных проектах», и о том, что Гумилев стремился произвести впечатление богатого человека, и о семейных делах.

Послушать бы разговоры Гумилева у Чемерзиных в их обнесенном широкой террасой доме в предместье Аддис-Абебы. Перед глазами – аллея эвкалиптов. Вдали – синеющие горы. Хозяйка считала, что сад напоминает ей сады на Украине, в Белоцерковке, только, конечно, роскошнее.

Письмо Анны Васильевны от 14 января 1911-го – рассказ о празднествах в русской миссии: «Елка у нас была также, привезли деревцо, напоминающее наши елки, украсили свечами громадными да цветами и лентами; в общем было недурно. Зажигали в Сочельник и на Рождество в присутствии доктора и русского Гумилева...»

Эти и другие свидетельства Чемерзиных, при всей их краткости, – самое полное, что удалось узнать о том путешествии Гумилева.

КОЛДОВСКАЯ СТРАНА

*Живописцы писали царя Соломона
Меж царицею Савской и ласковым львом.*

Н. Гумилев

Почему для своих странствий Гумилев выбрал Абиссинию и называл ее колдовской страной? Выбор этот вряд ли был случайным.

Сергей Маковский писал, что, начиная работу в «Аполлоне» в 1909-м, Гумилев «готовился, по примеру Рембо, к поездке в Африку». Гумилев действительно любил Рембо, перевел его стихотворение «Гласные». Но подражая ли Рембо, он отправился путешествовать? Думаю, и да, и нет.

Пример Рембо, конечно, повлиял. Но ехали они с совершенно разными целями. В судьбе Рембо поэт и путешественник были резко отделены друг от друга. В африканский период жизни Рембо говорил о своих стихах как о заблуждении молодости: «Нелепое омерзительное ребячество».

Борису Поплавскому судьба Рембо виделась так:

Был полон Лондон
Толпой шутов,
И ехать в Конго
Рэмбо готов.

Гумилева тоже, конечно, посещали такие чувства. Но он ехал в Африку не для того, чтобы покончить со стихами, а наоборот, для того, чтобы «в новой обстановке найти новые слова».

В Африке Рембо был торговцем, грезил толь-

ко богатством, водил по пустыням караваны с оружием на продажу и носил зашитыми в пояс несколько килограммов золотых монет. Отправляясь в Африку, он писал: «Я вернусь с железными мускулами, с темною кожей и яростными глазами... У меня будет золото: я стану праздным и грубым. Женщины заботятся о свирепых калеках, возвратившихся из тропических стран». Потом до Франции доходила молва, будто Рембо завел себе гарем и называет женщин живыми словарями местных языков, переплетенными в кожу.

Все это так. Но ведь Рембо в Африке был и иным. Ему выражало благодарность Французское географическое общество. Он мог двадцать дней идти по Сомалийской пустыне. Проведя в Эфиопии и Сомали десяток лет и вернувшись безнадежно больным, даже накануне смерти, в Марселе, мечтал вернуться в Африку.

И как ни пытался Рембо-путешественник забыть о Рембо-поэте, поклонники его стихов отказывались забыть о поэзии. Его стихи еще до Гумилева переводили и Иннокентий Анненский, и другие русские поэты.

Названия народов, местностей, городов, связанные со странствиями Гумилева и Рембо, поразительно совпадают. Прежде всего, город Харэр — там Рембо провел больше всего времени. Там была его фактория. Туда он мечтал вернуться перед кончиной.

Не потому ли спустя два десятилетия Гумилева так тянуло в Харэр в каждом его африканском путешествии? Не потому ли он каждый раз там оказывался?

Но пример французского поэта был, конечно, не единственной побудительной причиной.

Из всех стран Черной Африки Абиссиния больше всего привлекала к себе внимание в России, даже задолго до появления Арапа Петра Великого – Абрама Ганнибала, который считал себя абиссинцем.

На годы детства, отрочества и юности Гумилева пришелся бурный всплеск интереса к этой стране.

Первоначальный повод – сходство религий. Об этом много писали и деятели православной церкви, и миряне. Выходили книги и статьи: «Христианская страна в Африке», «В стране черных христиан», «Наши черные единоверцы», «О стране черных христиан», «Страна черных христиан».

В последние десятилетия девятнадцатого века у России появилась и, как бы сказали теперь, геополитическая заинтересованность. С открытием Суэцкого канала Абиссиния и Сомали оказались на важнейшем океанском пути из Европы в Азию, на Дальний Восток.

Гумилев в «Африканском дневнике» писал: «...Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений – в России их не меньше, чем где бы то ни было – совсем было приобрел его для русского правительства».

Гумилев имел в виду терского казака Николая Ашинова. В 1888 и 1889 годах он пытался во главе отряда в полтораста человек и в сопровождении архимандрита Паисия основать к северу от нынешнего города Джибути поселение «Московская станица» (или «Новая Москва»).

Французы, претендовавшие на эту область, встревожились. В появлении казаков они усмотрели угрозу своим интересам. Решили, что

если казаки сумеют здесь обосноваться, то в конечном счете русский царь объявит это поселение под своим покровительством, и тогда у французов возникнет могущественный соперник в важном стратегическом пункте — у узкой горловины на выходе из Красного моря в Индийский океан.

Кое у кого из русских чиновников, купцов и церковных деятелей такой соблазн был. Нижегородский генерал-губернатор Баранов 20 сентября 1888 года направил Александру III записку с идеей создания в тех местах русской колонии. Добиваясь поддержки царя, он писал: «Заселение русскими выходцами африканского побережья только тогда принесет России всю массу возможной пользы, когда правительство твердо будет руководить устройством колонии и ее сношениями с соседями, а главное с Абиссиниею». И даже: «В случае Высочайшего соизволения я с особенною радостью взял бы на себя съездить под видом отпуска в казачью колонию...» и «...при некотором содействии правительства образовать Российско-Африканскую компанию».

Ашинов был представлен Александру III. Победоносцев сравнивал основателя «Московской станицы» с Христофором Колумбом.

...С французского военного корабля в феврале 1889 года обстреляли казачий лагерь. Убитые, раненые... Казакам пришлось покинуть те места и вернуться на родину.

О скандале, который разыгрался в Петербурге после краха авантюры, можно судить по дневнику товарища министра иностранных дел В. Н. Ламздорфа. «Государь очень раздражен против Ашинова и почти жалеет, что последнего там же хорошенько не побили; капитан Пташинский с "Нижнего Нов-

города", встретивший эту банду в Порт-Саиде, доносит в морское министерство: "Ашинов играет в рулетку и сорит золотом, большинство его товарищей шатаются оборванные, пьяные по улицам и кабакам". Его Величество повелел напечатать это донесение в "Кронштадтском вестнике"».

Кто знает, как бы отнеслись к Ашинову и Паисию в случае их успеха. Но тут, конечно, постарались от них откреститься. В министерство иностранных дел принесли прокурорский рапорт трехлетней давности, «в котором констатируется совершение пресловутым Ашиновым ряда разбойничьих действий. В газетах тоже начинают проскальзывать сообщения о прошлом этого авантюриста, которого пытались сравнивать с Ермаком, Колумбом и т. п. и которого хотели возвести в роль пионера "русского дела"».

О Паисии стали говорить, что он неграмотен и что в архимандриты был посвящен только как пылкий сторонник создания колонии и лишь по настоянию Победоносцева. А сам Победоносцев ездил к государю доказывать свою непричастность к этой истории. Но стрелы в него метал даже князь Мещерский. Передовая «Гражданина» была прямо направлена против Святейшего Синода. «Боже праведный, если в столице русского царства и у кормила православной ее церкви мыслимы такие случайности, которые ставят Россию в возможность столкновения с другими государствами. Вина, которую на себя приняли таинственные отправители по выбору полузверя Ашинова, безграмотного монаха Паисия» и т. д. и т. п.

Одним словом, пусть неудачник плачет.

Одесский губернатор на запрос, почему он снабдил Ашинова оружием и военными припасами, ответил: «Я думал, что правительство почувствовало этим предприятиям; что же касается

ся вооружения и снабжения, то оно было доставлено из Николаева морским ведомством».

Излагая все это, Ламздорф сделал вывод: «Между собою мы должны признать, что это печальное происшествие явилось очень кстати, чтобы открыть Государю глаза и проучить наших псевдопатриотов, столько раз вводивших Его Величество в заблуждение».

Надо сказать, что в русском обществе далеко не все отнеслись с таким уж восторгом к проникновению в Абиссинию. А Салтыков-Щедрин даже всласть поиздевался. В «Современной идиллии» странствующему полководцу Полкану Самсонычу Редее «в Африке посчастливилось». Он поступал на службу то к эфиопскому царю, то к египетскому хедиву, то к зулусскому правителю. Всех африканских владык, которым Редедя служил, взяли в плен, но зато он сам «везде получил прогоны и суточные по расчету из Петербурга». Сражений Редедя не выигрывал. Но московские купцы и «петербургские патриоты-концессионеры» были от него без ума. «В особенности пленял Редедя купеческие сердца тем, что задачу России на Востоке отождествлял с теми блестящими перспективами, которые при ее осуществлении должны открыться для пливсов и миткалей первейших российских фирм».

Мудрый Салтыков-Щедрин писал это еще в начале восьмидесятых. У него есть уже и Редедя, и черноокий Лампопо, и, главное, он углядел тех торговцев миткалями, которые снабжали деньгами авантюристов.

* * *

Но русско-абиссинское сближение началось позднее и связано с итало-абиссинской войной 1895–1896 годов. Многотысячная итальянская ар-

мия вторглась в Абиссинию. Абиссинскому негусу (императору) Менелику удалось разгромить итальянцев.

В марте 1896 года Российское общество Красного Креста решило отправить в Абиссинию санитарный отряд и ассигновать для этого 100 000 рублей. В Аддис-Абебе начал действовать русский госпиталь. Выпустили даже нагрудный знак. Помню свою радость, когда мне подарили его в детстве – я коллекционировал дореволюционные монеты и медали. На нем надпись: «Православным братьям Абиссинии. Красный Крест России». И дата: 1896.

В феврале 1898 года в Аддис-Абебу прибыла российская императорская миссия. Ее приезд означал установление дипломатических отношений. Это было первое дипломатическое представительство, отправленное Россией в Черную Африку.

Миссию сопровождал конвой – двадцать казаков под начальством подъесаула лейб-гвардии Атаманского полка П. Н. Краснова. Да, того самого Краснова. В гражданскую войну он, уже генералом, был одним из вождей Белого движения. Потом стал писателем, хотя и не отошел от политической деятельности. Большую известность получил его роман «От двуглавого орла к красному знамени». Но первая книга называлась «Казачья жизнь в Абиссинии».

Российские дипломаты и офицеры близко познакомились с центральной частью Абиссинии, с областью Шоа, в центре которой находилась основанная лишь несколькими годами раньше столица Аддис-Абеба. Об этой области и о молодой столице Гумилев писал потом:

Но поверив шоанской изысканной лести,
Из стараний отчизны поэтов и роз

Мудрый слон Эфиопии, негус негести,
В каменистую Шоа свой трон перенес.
В Шоа воины хитры, жестоки и грубы,
Курят трубки и пьют опьяняющий тэдж,
Любят слушать одни барабаны да трубы,
Мазать маслом ружье да оттачивать меч.
Харраритов, галла, сомали, данакилей,
Людоедов и карликов в чаше лесов
Своему Менелику они покорили,
Устелили дворец его шкурами львов.

Далекie западные части Абиссинии и даже Восточный Судан повидал полковник генерального штаба Леонид Артамонов. Он был прикомандирован к миссии военным министерством и, не задерживаясь после прибытия в Аддис-Абебу, отправился дальше на запад. С двумя казаками он путешествовал почти год, с марта 1898-го по февраль 1899 года, и исследовал ту часть бассейна Белого Нила, которая была почти неизвестна европейцам.

Сама по себе отправка Артамонова в Абиссинию означала, какой большой интерес вызывала эта страна и в русских военных сферах. Артамонов был одним из самых опытных генштабистов. Ему прочили блестящую военную карьеру — и он действительно ее сделал. В «Августе Четырнадцатого» Солженицын рассказал, как он «гонял по Приамурью, и гонял к бурам, и гонял в Абиссинию». (Правда, к бурам Артамонов не гонял, в Трансваале и вообще в Южной Африке не был — Солженицын ошибся.)

Особенно близко познакомился с Абиссинией поручик лейб-гвардии Гусарского полка Александр Ксаверьевич Булатович. Он был там четыре раза. Накануне третьего путешествия, в

марте 1899 года, его принял и напутствовал Николай II.

Булатович повидал даже самые отдаленные юго-западные окраины этой страны. Первым из европейцев пересек с севера на юг Кэфу (Каффу) — область, от названия которой произошло слово «кофе». Доказал, что река Омо не связана с Нилом. Горный хребет на правом берегу Омо назвал в честь Николая II.

По тем областям, о которых мечтал Гумилев, Булатович прошел почти полутора десятилетиями раньше. Издал книги о своих походах: «С войсками Менелика II», «От Энтото до реки Баро», «Из Абиссинии через страну Каффа на озеро Рудольфа».

Имя Булатовича обросло легендами, былями и небылицами. Гусарский офицер, впоследствии стал монахом-схимником. Первые три путешествия в Эфиопию совершил как военный, а последнее — уже как монах. Близко знал Менелика, один из последних европейцев, повидавших безнадежно больного императора, пытался его лечить.

В наше время о Булатовиче не раз писали и в научной, и в популярной литературе. Но и те, кто ее не читал, все равно, сами того не ведая, знакомы с ним по одному из самых любимых у нас сатирических романов.

«Блестящий гусар, граф Алексей Буланов... был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей дворцов по Английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца гусара — куртка, расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем...

За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходов... Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах... Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, глядя в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька».

Так эта история изложена в «Двенадцати стульях» – Остап Бендер рассказывает ее Ипполиту Матвеевичу накануне женитьбы на мадам Грицацуевой. Ильф и Петров, конечно, не собирались давать точное изложение судьбы Александра Булатовича. Они изменили его имя и приукрасили судьбу. Такого бешеного успеха в свете у него не было. Но молва о его походах разнеслась широко и, должно быть, горячила воображение юного Гумилева. Он не мог не знать о книгах гусара, наверняка читал их и восхищался судьбой этого человека.

* * *

А в воспоминаниях Бориса Филиппова есть главка «Наследник абиссинского престола». Это рассказ о встрече в Москве на рождественских каникулах 1924 года. Филиппов приехал из Петербурга вместе с другом, тоже студентом, которого в своих воспоминаниях он назвал Юрием К. Этот Юрий и сказал Филиппову:

– Зайдем, Борис, к моему знакомцу. Он недалеко живет, в одном из переулков Арбата... Наследник абиссинского престола...

– Что?

– Да, так мы его обычно и зовем. Алексей Николаевич – он видный московский инженер-технолог – родился в Аддис-Абебе, там провел и первые годы детства. Его отец, врач и натуралист, участник одной из экспедиций в Абиссинию, чуть ли не пресловутой ашиновской, застрял там на несколько лет – был придворным врачом негуса Менелика: негус и был его крестным отцом. А все крестники Царя Царей, императора Эфиопии, как и его многочисленнейшие сыновья и внуки, родичи и свойственники считаются наследниками престола, по крови или по духу потомками царя Соломона и царицы Савской. Каждый – в свою точно определенную очередь. Вот Алексей Николаевич тоже наследник, кажется, в 517-ю очередь...

Рассказ Филиппова достоин того, чтобы привести его целиком.

«Уютная двухкомнатная квартирка Алексея Николаевича была небольшим музеем. Страшные африканские маски, деревянные пузатые идолы с глазами из перламутровых пуговиц, примитивные эфиопские бронзовые распятия, какие-то накидки и передники из многоцветных ярких перьев, иконы с темно-коричневыми Богородицами и Спасами Ярое Око... Все в комнатах дышало старохолостяцкой аккуратностью – не без некоторого педантизма, но и старомосковским радушием и теплотой. Жарко натопленные кафельные печки, зеленые и алые лампы. Если бы не африканские трофеи – типичная квартира патриархального москвича начала века.

Хозяин, широкоплечий и ясноглазый крепыш лет под сорок, подчеркнута великорусского типа, встретил нас с распростертыми объятиями.

– Спасибо, Юра, что не забываешь старых друзей...

– А я, не спросясь, и товарища к вам привел, – извинился тот.

– И прекрасно. "Нам каждый гость дарован Богом", – как в старой песенке. Я, правда, ужина сегодня не готовил, но чайку по-московски попьем. Со свежими калачами и украинской жареной колбасой, с водочкой (оно, конечно, "Рыковка" – всего тридцать градусов, но я настоял ее на рябине). Да я еще позавчера посылку получил из Аддис-Абебы – засахаренные тамошние фрукты и какие-то соленья и моченья... От старого друга покойного отца... Вот и их отведаем...

За вкусным чаем хозяин рассказал об Абиссинии Менелика, о его наряженной на европейский лад, но почти поголовно босой гвардии, о тучных важных эфиопских нищих, разъезжающих на мулах и ослах в двуколках в сопровождении их рабов, тощих и почти голых, вымаливающих милостыньку Христа ради для своих господ, о небольших белокаменных монастырьках в горах и вое голодного зверья на окраинах самой столицы Царя Царей...

...Прошло много, много лет. Освободившись в марте сорок первого года из Ухто-Печерских лагерей, я тайком посетил Питер (мне было строго-настрого запрещено хотя бы кратковременное пребывание в крупных центрах, тем более – в столицах). Повидался с Юрием К., к тому времени видным физиком. Как водится, вспомнили прошлое.

– Юра, а как поживает твой знакомец – "наследник абиссинского престола"?

– В тридцать шестом его расстреляли как члена хотя и зарубежной, но императорской фа-

милли. Да еще и полуколониальной феодальной страны...».

Конечно, Борис Филиппов вряд ли точен в деталях о праве на наследование престола и о 517-й очереди. И о том, что лишь «позавчера» Алексей Николаевич получил посылку из Аддис-Абебы. Все-таки встречались они в Москве в 1924-м, а воспоминания появились в Америке в 1982-м. И, подчеркнув, что «встреча эта крепко засела в памяти», Филиппов заметил: «Я забыл его фамилию. Помнится, звали его Алексеем Николаевичем».

И все же в рассказе много такого, что придумать было бы трудно. Значит, действительно жил в тогдашней Москве человек, родившийся в Эфиопии и наполнивший свою квартиру в арбатском переулке эфиопской утварью.

Если его звали Алексеем Николаевичем, то, скорее всего, это сын Николая Петровича Бровцына. Бровцын был врачом, приехал в Абиссинию в конце девяностых годов и настолько понравился Менелику, что тот упросил Николая II оставить его в Аддис-Абебе на несколько лет — не заменять другим доктором.

* * *

Россия с Абиссинией сблизилась потому, что их интересы во многом совпадали. Обе страны видели в Англии противника. Менелик при этом хотел получить у России и защиту, и прямую материальную помощь. А царское правительство? Председатель Совета министров Российской империи Сергей Юльевич Витте вспоминал о том времени:

«У нас в России в высших сферах существует страсть к завоеваниям или, вернее, к захватам того, что, по мнению правительства, плохо лежит.

Так как Абиссиния, в конце концов, страна полуидолопоклонническая, но в этой их религии есть некоторые проблески православия, православной церкви, то на том основании мы очень желали объявить Абиссинию под своим покровительством, а при удобном случае ее и скушать».

Комментируя тогдашние русско-абиссинские отношения, Витте в сердцах высказал и более широкое суждение: «...пробежав карты развития России со времени Рюрика, каждый гимназист убедится, что великая Российская Империя, в течение тысячелетнего своего существования, образовалась тем, что славянские племена, жившие в России, постепенно поглощали силою оружия и всякими другими путями целую массу других народностей, и таким образом явилась Российская Империя, которая представляет собой конгломерат различных народностей, а потому, в сущности говоря, России нет, а есть Российская Империя; ну, а после того, как мы поглотили целую массу чуждых нам племен и захватили их земли — теперь в Думе и "Новом времени" явилась полукомическая национальная партия, которая объявляет, что, мол, Россия должна быть для русских, т. е. для тех, которые исповедуют православную религию, фамилия которых кончается на "ов" и которые читают "Русское знамя" и "Голос Москвы"».

Сколько-либо конкретных планов «присоединения» Абиссинии не существовало. Но настроения такие были. «Хорошо бы присоединить кафров и Абиссинию к русской империи. Об этом в газетах не столько говорили, сколько проговаривались». Так вспоминал Виктор Шкловский уже в старости. И не только он один.

Российское правительство хотело бы обеспечить свой флот гаванью на пути из Одессы во

Владивосток, чтобы не зависеть от желания или нежелания западных стран снабжать русские корабли углем. Это считалось необходимым для прочной связи между западными и дальневосточными частями империи. Русско-японская война доказала потом, насколько это было важно — Англия, да и не только она, отказалась заправлять эскадру Рождественского углем в портах своих колоний.

* * *

...Гумилев этих политических перипетий не знал (к моменту его путешествия их накал уже ослабел). Его манила романтическая экзотика.

В начале двадцатого века об этой стране писали много. Даже названия книг — «Русский кавалерист в Абиссинии» или «Казачи в Абиссинии» — возбуждали мечты о странствиях! Рассказы о путешествиях выходили не только в столицах, но и в провинциальных городах. В Гродно врач Д. Л. Глинский издал брошюры «Харрар и его обитатели» и «Жизнь русского санитарного отряда в Харраре». Появилась и русская научная литература об Абиссинии. Профессор Тураев еще в 1899 году опубликовал статью об эфиопских стихах, в 1903 — брошюру «Абиссинские свободные мыслители XVII века», а затем ряд других работ.

Скорее всего, увлечение Абиссинией и повлияло на выбор маршрута Гумилева. Страна привлекала экзотикой, уже в какой-то мере известной, и в то же время была началом пути в края совсем неизведанные.

Всеволод Рождественский говорил, что Абиссиния возбуждала необыкновенное любопытство

царскосельских гимназистов. Как и Ахматова, он считал, что в Царском Селе служили или во всяком случае бывали офицеры и казаки из конвоя, сопровождавшего первую российскую дипломатическую миссию. А юный Гумилев, по словам Рождественского, очень любил расспрашивать военных.

В странствиях по Абиссинии ему было кого вспомнить, с кем себя сравнить. Может быть, он, романтик, обращался и к Артюру Рембо, и к своим соотечественникам:

Как странно, как сладко входить в ваши грезы,
Заветные ваши шептать имена...

ТОЛЬКО КНИГИ В ВОСЕМЬ РЯДОВ

*Как путник, препоясав чресла,
Идет к неведомой стране,
Так ты, усевшись глубже в кресло,
Поправишь на носу пенсне.*

Н. Гумилев

Это четверостишие Гумилев посвятил Михаилу Лозинскому. Но оно вполне может быть отнесено и к нему самому. К тем годам его жизни, когда он не странствовал, а сидел над книгами — в Царском, в Петербурге или в усадьбе в Слепневе. От Лозинского его отличало разве лишь отсутствие пенсне.

В такие периоды он обычно сокрушался, что обречен «высыхать в глубине кабинета перед пыль-

ными грудями книг». Завидовал «отъезжающему», который «во всем ее убранстве увидит Музу Дальних Странствий». Сетовал:

А я, как некими гигантами,
Торжественными фолиантами
От вольной жизни заперт в нишу.
Ее не вижу и не слышу.

Таким периодом были и два года между его большими путешествиями в Африку – с весны 1911-го по весну 1913 года.

Почти сразу по возвращении, в перерыве между приступами тропической лихорадки, Гумилев выступил в редакции «Аполлона». Рассказал о путешествии, продемонстрировал привезенные предметы утвари, украшения. Рассказывал и на «Башне» Вячеслава Иванова. Дочь Иванова, Лидия, вспоминала, что слушали, «затаив дыхание».

Поэт Александр Кондратьев написал шутовскую «Песнь торжественную на возвращение Николая Степановича Гумилева из путешествия в Абиссинию».

Братья, исполните радостный танец!
Прибыл в наш круг из-за дальнего Понта,
Славу затмить мексиканца Бальмонта
С грузом стихов Гумилев-африканец!
Трон золотой короля Менелика
Гордо отвергнув, привез он с собою
Пояс стыдливости, взятый им с бою
У эфиоплянки пылкой и дикой.

Петербургская жизнь пошла своим чередом. Все больше Гумилев сближался с Лозинским и Мандельштамом. Они становятся его друзьями.

Одновременно слабеют прежние связи со Зноско-Боровским, Ауслендером, Кузминым, Потемкиным. Усилились расхождения с Вячеславом Ивановым, да и с Брюсовым.

В мае 1911-го решил уйти из Петербургского университета и в течение следующего учебного года не учился. Тогда же, в мае, проводил жену в Париж (вряд ли знал, что она ехала к Модильяни), а сам уехал в Слепнево. Там и провел лето в обществе соседей, в основном с семьей двоюродных племянниц, сестер Кузьминых-Караваевых. Вместе с домочадцами и соседями организовал даже домашний театр и цирк.

Осенью вернулся в Царское. Познакомился с востоковедом Шилейко. К тому же летом в Слепневе увлекся чтением Сенковского, писателя и востоковеда.

Той же осенью осуществился замысел Гумилева: ему удалось создать литературную группу – Цех поэтов. Заседания Цеха проходили попеременно у Гумилева в Царском, у Зенкевича, Городецкого или у поэтессы Елизаветы Кузьминой-Караваевой (будущая Мать Мария).

В начале 1912-го Гумилев вместе с Городецким провозгласил создание литературного течения – акмеизма. Акмеистами объявили себя Сергей Городецкий, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Михаил Зенкевич и еще несколько молодых поэтов. Акмеисты приобрели большое влияние в «Аполлоне». В 1912–1913 годах под редакцией Лозинского вышли десять номеров созданного ими журнала «Гиперборей».

Одно из первых, если не самое первое развернутое определение акмеизма Гумилев дал в девятом номере «Аполлона» за 1912 год в рецензии на книгу стихов Городецкого «Ива».

«Акмеизм (от слова акме – расцвет всех ду-

ховных и физических сил) в сущности есть мифотворчество. Потому что, что же, если не мифы, будет создавать поэт, отказавшийся и от преувеличений, свойственных юности, и от бескрылой старческой умеренности, равномерно напрягающий все силы своего духа, принимающий слово во всем его объеме, и в музыкальном, и в живописном, и в идейном – требующий, чтобы каждое создание было микрокосмом».

Развернутым манифестом нового течения стала его статья «Наследие символизма и акмеизм» в первом номере «Аполлона» за 1913 год. «Для внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает... На смену символизма идет новое направление». Гумилев считал, что его можно назвать акмеизмом или адамизмом. Адамизм Гумилев охарактеризовал как «мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь».

Противопоставляя акмеизм символизму, Гумилев не позволил себе резко осуждать последний. Наоборот, подчеркнул, что для акмеизма «символизм был достойным отцом». Отличие же нового течения видел в том, что акмеисты стремятся достичь «большого равновесия сил и даже точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме».

С какими именами прошлого Гумилев теснее всего связывал свое направление?

«В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них – краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека; Рабле – тело и его радости, мудрую физиологичность; Виллон поведал нам о жизни,

нимало не сомневающейся в себе, хотя знающей все – и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие; Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента – вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами».

Мистическому устремлению символистов к «непознаваемому» акмеисты противопоставили конкретно-чувственное восприятие «вещного мира», «стихию естества», возврат слову его изначальному, а не символического смысла. Принято считать и, должно быть, справедливо, что на акмеистов повлияли не только четыре автора, названные в статье Гумилева. Однако кто именно повлиял и как – об этом ведутся споры. Называют Леконта де Лиля, Кольриджа, Бодлера, Рембо, Кипплинга.

Сколько пороха истратили литературоведы в битвах о различиях между символизмом и акмеизмом! А. В. Доливо-Добровольский недавно составил даже большую, на несколько страниц таблицу. Акмеизму, он считает, присущи оптимизм, утверждение самооценности жизни, идей людского содружества, патриотизма, бесспорности авторитетов и многого другого, что близко составителю таблицы. Символизм же он связывает с пессимизмом, человеконенавистничеством, шаткостью авторитетов, космополитизмом, западничеством и другими идеями и понятиями, которые составитель таблицы осуждает.

Вероятно, и в таких сопоставлениях можно найти смысл. Но уж очень они резкие. Да и была ли такая четкая граница? Что же, если символист, значит – не патриот? Как известно, символист Блок (соответственно таблице – космополит, западник и непатриот) обвинял Гумилева (соответственно таблице – патриота) в западничестве. А

противопоставление: оптимизм акмеистов – пессимизм символистов? Сколько печали в стихах акмеистки Ахматовой? Гумилев действительно стремился не поддаваться грусти, но разве ему всегда удавалось? Эти общечеловеческие чувства – так ли уж они закреплены за каким-то литературным направлением? Шутки ради – куда тогда отнести стихи императрицы Елизаветы Петровны? Она ведь тоже сетовала:

Ныне уж не знаю,
Как на свете жить,
И не доумеваю,
Что болше творить.

. . . .

Ах трудновато жить!

Свои взгляды на поэтическое творчество Гумилев излагал и в «Аполлоне», и в других журналах в обзорах выходивших сборников поэзии.

Гумилев рецензировал и первые сборники поэтов, которые были тогда начинающими, а потом приобрели громкую известность. Насколько сумел он уже тогда заметить их талант и своеобразие? Да и мог ли быть объективным по отношению к своим сверстникам и старшим современникам – ко всем, с кем себя вольно или невольно сравнивал?

Александр Блок выступил против акмеизма. Свое отношение он высказал потом в статье под недвусмысленным названием: «Без божества, без вдохновенья (Цех акмеистов)». Эта статья написана в апреле 1921 года, вскоре после того, как Гумилева выбрали вместо него председателем петроградского отделения Всероссийского союза поэ-

тов. В дневнике Блока есть запись: «В феврале меня выгнали из Союза и выбрали председателем Гумилева».

В своих литературно-критических обзорах Гумилев, по мнению Блока, «начал громко и развязно, полусветским, полупрофессорским языком разговаривать с застенчивыми русскими литераторами... Кое за что он поощрял и похлопывал их по плечу, но больше порицал».

Вполне ли это верно?

* * *

Начну с молодых поэтов. Казалось бы, именно по отношению к ним скорее всего могли проявиться развязность и порицание. Все-таки Гумилев оказался одним из первых, кто оценивал их способности, давал или не давал путевку в жизнь. Ведь это его голос звучал со страниц влиятельного «Аполлона».

Первая книга Марины Цветаевой — «Вечерний альбом». Цветаевой было тогда восемнадцать. Стихи ее еще не вполне «цветаевские». И все-таки как же высоко оценил их Гумилев!

«Многое ново в этой книге: нова смелая (иногда чрезмерно) интимность; новы темы, например, детская влюбленность; ново непосредственное, бездумное любование пустяками жизни... Здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что книга — не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов».

Первый сборник Георгия Иванова — «Отплытие на остров Цитеру». 1912 год. Автору тоже восемнадцать. «...Безусловный вкус даже в самых смелых попытках, неожиданность тем

и какая-то грациозная "глуповатость" в той мере, в какой ее требовал Пушкин». И «каждое стихотворение дает почти физическое довольство».

Николая Клюева Гумилев в начале 1912 года считал «уже совершенно окрепшим поэтом, продолжателем традиций пушкинского периода». А позднее его стихи назвал безукоризненными.

Не обделил вниманием и стихи двадцатилетнего князя Дмитрия Святополка-Мирского. Стихи были еще незрелые, и все же Гумилев нашел, чем его приободрить. Похвалил за смену «отточенных и полнозвучных строф».

Мать Мария, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, вошла в историю не стихами. Но начинала она как поэтесса. Когда ей шел двадцать первый год, в 1912-м, издала сборник стихов «Скифские черепки». Она была так увлечена «Скифией», что невольно противопоставила ее России своих дней. Гумилев пришел к мысли, что Елизавета Юрьевна «принадлежит к числу поэтов однодумов», и дал ей характеристику, которая, наверно, может относиться к некоторым поэтам и художникам наших дней, безмерно идеализирующим далекое прошлое. Но и о ее стихах он сумел отозваться очень по-доброму.

Откликнулся на ранние стихи Ильи Эренбурга: «В его терцинах есть подлинное ощущение язычества, по-земному милого и слегка чудесного. Он умело соединяет лирический подъем с историзмом тем и почти никогда не возвышает голоса до крика. Конечно, мы вправе требовать от него еще большей работы и прежде всего над языком – но главное уже сделано: он знает, что такое стихи». И отметил, что у Эренбурга еще тогда появились подражатели.

Как известно, впоследствии возникло насмешливо-пренебрежительное отношение к стихам Эренбурга. Особенно явственно оно прозвучало в написанной четырьмя десятилетиями позднее эпиграмме Сергея Васильева, которую он озаглавил: «Из коллективного письма читателей к Илье Эренбургу».

У Вас так явственны, так велики заслуги
и так, по существу, малы грехи,
что мы прощаем все Вам, даже на досуге
написанные Вами же стихи.
Да что корить! Давным-давно
мы их забыли все равно.

Эренбург любил в себе поэта, может быть, так же, как Гумилев в себе – путешественника. Ему, двадцатилетнему, были лестны отзывы в таком журнале, как «Аполлон».

О стихах Ходасевича, своего ровесника, Гумилев писал: «Свободными и верными стихами, серьезностью и затаенной печалью пленяют стихи Владислава Ходасевича, к тому же безупречные по форме».

О второй книге Саши Черного «Сатиры и лирика»: «Для грядущих времен его книга будет драгоценным пособием при изучении интеллигентской полосы русской жизни. Для современников она – сборник всего, что наиболее ненавистно многострадальной, но живучей русской культуре».

О ранних стихах Игоря Северянина: «Конечно, девять десятых его творчества нельзя воспринять иначе, как желание скандала, или как ни с чем несравнимую жалкую наивность. Там, где он хочет быть элегантным, он напоминает пародии

на романы Вербицкой; он неуклюж, когда хочет быть изящным, его дерзость не всегда далека от нахальства».

И вместе с тем: «Но зато его стих свободен и крылат, его образы подлинно, а иногда и радуяще неожиданны, у него есть уже свой поэтический облик... Трудно, да и не хочется судить теперь о том, хорошо это или плохо. Это ново – спасибо и за то».

А ведь многие, считавшие себя рафинированными интеллигентами, о стихах Северянина судили лишь в пренебрежительном тоне.

Через два с половиной года Гумилев увидел в «Громокипящем кубке» Северянина повод для серьезного разговора.

«Уже давно русское общество разбилось на людей книги и людей газеты, не имевших между собой почти никаких точек соприкосновения. Первые жили в мире тысячелетних образов и идей, говорили мало, зная, какую ответственность приходится нести за каждое слово, проверяли свои чувства, боясь предать идею, любили как Данте, умирали как Сократы, и, по мнению вторых, наверное, были похожи на барсуков... Вторые, юркие и хлопотливые, врезались в самую гущу современной жизни, читали вечерние газеты, говорили о любви со своим парикмахером, о бриллиантине со своей возлюбленной, пользовались только готовыми фразами или какими-то интимными словечками, слушая которые каждый непосвященный испытывал определенное чувство неловкости...

И вдруг – о, это "вдруг" здесь действительно необходимо – новые римляне, люди книги, услышали юношески-звонкий и могучий голос настоящего поэта, на волапюке людей газеты говорящего доселе неведомые «основы» их странного

бытия. Игорь Северянин – действительно поэт и к тому же поэт новый. Что он поэт – доказывает богатство его ритмов, обилие образов, устойчивость композиции, свои и остро-пережитые темы. Нов он тем, что первый из всех поэтов настоял на праве поэта быть искренним до вульгарности».

Из этого парадоксального рассуждения Гумилев сделал и парадоксальный, во всяком случае на первый взгляд, вывод.

«Повторяю, все это очень серьезно. Мы присутствуем при новом вторжении варваров, сильных своей талантливостью и ужасных своей небрезгливостью. Только будущее покажет, «германцы» ли это, или... гунны, от которых не останется и следа».

Футуристов Гумилев откровенно не любил. Но и на их манифесты откликнулся без той высокомерной развязности, в которой упрекал его Блок.

О «Садке судей» написал в четвертом номере «Аполлона» за 1911 год. «Кульминационной точкой дерзания в этом году, конечно, является сборник "Садок судей"... Из пяти поэтов, давших туда свои стихи, подлинно дерзают только два: Василий Каменский и В. Хлебников; остальные просто беспомощны».

Манифест «Пощечина общественному вкусу», в котором Бурлюк, Крученых, Маяковский и Хлебников предлагали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. проч. с парохода современности», Гумилев оставил без внимания. А о сборнике «Садок судей II», подписанном теми же авторами и несколькими их единомышленниками, отозвался даже не без толики одобрения: «Кружок писателей, объединившихся для издания этого сборника, невольно внушает к себе доверие, как и несомненной своей революционно-

стью в области слова, так и отсутствием мелкого хулиганства».

Гумилев не считал зазорным отходить от прошлых, даже весьма недавних, оценок. Изменилось его отношение к поэзия Сергея Клычкова. Поначалу Гумилев увидел в нем только подражателя, в стихах которого «одна сладкая водица, славянская Аркадия с неизменными Ладами и Лелями, царевнами и невестами». Но вскоре признал, что Клычков «сделал успехи со времени выхода своей книги. Хорош его "Пастух", слышен морской запах в его "Рыбачке"».

Так относился Гумилев к молодежи, к своим сверстникам и вообще к тем, кто еще не получил всеобщего признания.

* * *

А к маститым?

О Брюсове, своем мэтре, Гумилев по-прежнему пишет восторженно, называет «мудрым Дедалом». В его «простых и бесконечно благородных строках» видит «синтетическое понимание такого поруганного и такого героического XIX века».

О Михаиле Кузмине: «В цикле М. Кузмина "Осенний май" есть прекрасные, классически-безупречные стихотворения»; «среди современных русских поэтов М. Кузмин занимает одно из первых мест».

О Вячеславе Иванове: «На каждой странице чувствуется, что имеешь дело с большим поэтом, достигшим полного расцвета своих сил». Или: «Газэлы Вячеслава Иванова – великолепная мозаика слов».

О Бальмонте: «...И очень крупный поэт может писать очень плохие стихи». Но «вдруг он

печатает стихотворение, и не просто прекрасное, а изумительное, которое неделями звучит в ушах – и в театре, и на извозчике, и вечером перед сном».

Почти у каждого поэта Гумилев отмечал что-то хорошее. Он любил Оскара Уайльда и, может быть, поэтому строго отнесся к переводу «Сфинкса», сделанному Александром Дейчем. И все же радовался, что эта поэма переведена. Переводчик «...дал лишь очень добросовестный пересказ. Следует быть благодарным и за это».

Стихи должны были уж очень не понравиться Гумилеву, чтобы он позволил себе высказаться в категорической форме, как, например, произошло со стихами барона Н. А. Врангеля: «Я не верю, что он читал Пушкина». У Александра Котомкина увидел лишь призыв: «Хоть мало, братья, нас, но все же мы славяне!»

В первой большой статье после возвращения из Африки Гумилев дал оценки двадцати книгам стихов. Поделив их на «любительские, держащие и книги писателей», он поставил «вне литературы» только четыре.

Можно лишь удивляться, что двадцатипятилетний Гумилев оказался таким терпимым к чужим стихам, к чужому образу мыслей. И хотя не со всеми его оценками согласишься, поражает широта кругозора молодого поэта. И то качество, для которого изобрели определение уже в наше время: «раскованность».

Так что обвинения, брошенные Блоком, не вполне справедливы.

Блок вообще высказывался о Гумилеве резко: «Все люди в шляпе – он в цилиндре. Все едут во Францию, в Италию – он в Африку. И стихи также, по-моему... в цилиндре».

Почему?

Не хотелось бы думать, что из-за соперничества во Всероссийском союзе поэтов. Гумилев многих раздражал своей манерой держаться. О его надменности писала даже Ахматова. Главное же, конечно, заключается в том, что акмеизм был чужд Блоку.

А как относился Гумилев к поэзии Блока?

С беспредельным восхищением. Отклик на блоковское собрание сочинений в трех томах: «Обыкновенно поэт отдает людям свои творения. Блок отдает самого себя». О стихах в «Антологии» издательства «Мусагет»: «Александр Блок является в полном расцвете своего таланта; достойно Байрона его царственное безумие, слитое в полнозвучный стих». О сборнике «Ночные часы»: «...даже тема о забытом полустанке рыдает у него как самая полнозвучная скрипка».

Статью «Без божества, без вдохновенья» Гумилев читал совсем незадолго до своей гибели, в рукописи. Она написана за три-четыре месяца до того, как не стало их обоих – и Блока, и Гумилева. А увидела статья свет только в 1925-м, и то с грубыми ошибками. В подлинном же виде – еще позже, в 1935 году, в десятом томе собрания сочинений Блока.

Но и без этой статьи Гумилев знал об отношении Блока к акмеизму и к себе. Тем не менее это, кажется, не повлияло на его преклонение перед стихами Блока. Одоевцева приводит слова Гумилева:

– Возможно, что это лучший поэт нашего века.

Один из бесплодных споров с Блоком Гумилев объяснял так:

– Вообразите, что вы разговариваете с живым

Лермонтовым. Что бы вы могли ему сказать, о чем спорить?

Свои «Письма о русской поэзии» Гумилев писал предельно сжато, иногда о целом сборнике только одна строчка. Брюсов оценил посмертное издание «Писем»: «У Гумилева было чутье подлинного критика, его оценки метки, выражают – в кратких формулировках – самое существо поэта».

Учатся гумилевской лаконичности и сейчас. В 1991 году Константин Кузьминский, составитель девятитомной антологии неофициальных поэтов «У голубой лагуны», сказал:

– Образцом критики выбрал Гумилева и Ходасевича, мастеров короткого, точного, хлесткого разбора.

...Сколько же труда стоило Гумилеву откликаться чуть ли не на всю тогдашнюю русскую поэзию! Тысячи книг, целые библиотеки прошли через его руки и, главное, через его сознание. Вот и сетовал:

Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы,
Сторожат вековые истома,
Словно зубы в восемь рядов.
Мне продавший их букинист,
Помню, был и горбатым, и нищим...
...Торговал за проклятым кладбищем
Мне продавший их букинист.

По сравнению с этим трудом путешествия казались, да, наверное, и были, отдыхом. И, начав следующее путешествие в апреле 1913-го, писал Ахматовой с дороги: «Безумная зима сказывается, я отдыхаю, как зверь».

«В КАЖДОЙ ЛУЖЕ ЗАПАХ ОКЕАНА!»

*Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вояды,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.*

Н. Гумилев

Массового читателя Гумилев не завоевал. И стремился ли к тому? Но в поэтическом Петербурге после возвращения из Аддис-Абебы ему сопутствовал успех. Цех поэтов. Новое литературное течение. Критические статьи, к которым прислушивались поэты и ценители поэзии. В 1912 году издал новый сборник стихов «Чужое небо».

К его успехам – и успех жены. В 1912-м вышел ее первый сборник – «Вечер». И хотя он издан тиражом всего триста экземпляров, откликов получил много. Критика приняла его, как писала потом сама Ахматова, «благосклонно».

Гумилев посвятил жене большой цикл стихов в «Чужом небе». К одному из них дал эпиграфом ахматовские строки:

...Как мой китайский зонтик красен,
Натерты мелом башмачки.

А Ахматовой очень нравилось, например, такое стихотворение из «Чужого неба», как «Паломник» («Ахмед-Оглы берет свою клюку»).

Успехи на поэтическом поприще не повлияли на увлечение дальними странами. Да и сам успех был связан с чужими небесами, с тем, как их образы отразились в его стихах. Новый сборник так и назывался – «Чужое небо».

Сборник получился пестрым: переводы пяти стихотворений Теофиля Готье, пьеса «Дон Жуан

в Египте». В большинстве стихотворений – думы и мечты о далеких странах.

И сетования. «У камина». Его так любили Константин Паустовский и Николай Ходотов. В нем горечь непонятого человека – нет сочувствия, сопереживания, любви. Путешествовал по неизведанным землям, не боясь ни зверей, ни людей, а затем «узнал, что такое страх, погребенный здесь в четырех стенах».

У этой жалобы – конкретный адрес. Снова и снова не ладилось с той, любви которой добивался много лет.

...После возвращения из Африки Гумилев вместе с женой и матерью, уже вдовой, переселился в Царском Селе с Бульварной улицы на Малую, в дом 63, почти напротив той гимназии, где учился. В этом доме прожил долго. Там бывали Михаил Лозинский, Осип Манделъштам, Владимир Нарбут. Бывала и будущая Мать Мария. Ахматова дом невзлюбила.

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина свет патриархальный,
Ни колыбелька моего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены...
Не уменьшало это чувство страха.

Написано в Царском Селе в 1921-м, вскоре после смерти Гумилева. И кончается:

Теперь ты там, где знают все, скажи:
Что в этом доме жило кроме нас?

О том доме Тэффи писала: «У них было всегда темно и уютно и почему-то всегда беспо-

койно. Гумилев все куда-то уезжал, или собирался уезжать, или только что вернулся. И чувствовалось, что в этом своем быту они живут как-то "пока"».

Как жилось в этом доме Гумилеву? Буквально через несколько дней после возвращения из Африки он писал:

Из логова змиева,
Из города Киева
Я взял не жену, а колдунью...
Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — и хочет топиться.

У Ахматовой родился сын Лев, у артистки Ольги Николаевны Высотской — Орест. Отец обоих — Гумилев. У Ахматовой вырвалось:

Как-то раз и меня повели к аналою,
С кем — не знаю. Но помню — давно...

Должно быть, несмотря на успехи в творческой жизни, Гумилеву многого не хватало.

Возможность продолжать странствия не заставляла себя ждать.

* * *

«Однажды в декабре 1912 года я находился в одном из тех прелестных, заставленных книгами уголков Петербургского университета, где студенты, магистранты, а иногда и профессора пьют

чай, слегка подтрунивая над специальностью друг друга». Так начинается «Африканский дневник».

«Я ждал известного египтолога, которому принес в подарок вывезенный мной из предыдущей поездки абиссинский складень: Деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой».

Вот, значит, он, тот складень (Анна Андреевна говорила – триптих). А «известный египтолог» – Борис Александрович Тураев. Его называли и первым в России «абиссиноведом».

«В этом маленьком собрание, – признался Гумилев, – мой складень имел посредственный успех: классик говорил о его антихудожественности, исследователь Ренессанса о европейском влиянии, обезценивавшем его, этнограф о преимуществе искусства сибирских инородцев. Гораздо больше интересовались моим путешествием, задавая обычные в таких случаях вопросы: много ли там львов, очень ли опасны гиены, как поступают путешественники в случае нападения абиссинцев. И как я ни уверял, что львов надо искать неделями, что гиены трусливее зайцев, что абиссинцы страшные законники и никогда ни на кого не нападают, я видел, что мне почти не верят. Разрушать легенды оказалось труднее, чем их создавать».

В том, как Гумилев рассказал об этих спорах, сквозит недоверчиво-скептическое отношение друг к другу двух миров – писательского и научного. Да он этого и не скрывал: «...Я привык смотреть на академиков как на своих истинных врагов».

В скольких стихотворениях Гумилев противопоставлял книжные знания живой полнокровной жизни. Подтрунивал над учеными, хотя бы в «Болонье», написанной тогда же. Универси-

тет — что ж, иди туда, если не получилась жизнь,
достойная настоящего мужчины. Ведь:

...вино, чем слаще, тем хмельнее,
Дама, чем красивей, тем лукавей,
Вот уже уходят ротозей
В тишине мечтать о высшей славе.

И они придут, придут до света
С мудрой думой о Юстиниане
К темной двери университета,
Векового логовища знаний.

А что же тогда профессора, те, кто учит этих
ротозеев?

Старый доктор сгорблен в красной тоге,
Он законов ищет в беззаконьи,
Но и он порой волочит ноги
По веселым улицам Болоньи.

Гумилев сам был студентом «векового логовища знаний». Поступил на юрфак Санкт-Петербургского университета в августе 1908 года, через год попросил о переводе на историко-филологический, в мае 1911-го — об отчислении, в сентябре 1912-го — о зачислении снова. Из его матрикула явствует, что он прослушал лекции таких блестящих профессоров, как филолог И. А. Бодуэн де Куртенэ, историк С. Ф. Платонов, античник Ф. Ф. Зелинский.

С какой теплотой Гумилев отзывался о «преlestных, заставленных книгами» уголках университета! И все же к академической науке можно отнести строки из «Чужого неба», хотя они и написаны в другой связи.

Никогда ничему не поверите,
Прежде чем не сочтете, не смерите,
Никогда никуда не пойдете,
Коль на карте путей не найдете.

И вам чужд тот безумный охотник,
Что, взойдя на нагую скалу,
В пьяном счастье, в тоске безотчетной
Прямо в солнце пускает стрелу.

Когда в том университетском уголке его спросили, рассказал ли он о своем прошлом путешествии в Академии наук, вопрос его удивил. «Я сразу представил себе это громадное белое здание с внутренними дворами, лестницами, переулками, целую крепость, охраняющую официальную науку от внешнего мира; служителей с галунами, допытывающихся, кого именно я хочу видеть; и, наконец, холодное лицо дежурного секретаря, объявляющего мне, что Академия не интересуется частными работами, что у Академии есть свои исследователи, и тому подобные обескураживающие фразы... Часть этих соображений, конечно, в смягченной форме, я и высказал...»

Но его ждало приятное разочарование. Ученые отнеслись к нему без тени высокомерия. К его изумлению, «принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными».

С той встречи и началась подготовка к путешествию, в отличие от прежних, вполне официальному. «...Не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб».

Где была эта лестница? Может быть, речь идет о том величественном здании с белыми колоннами на берегу Невы, которое принадлежало Академии наук, да и в наши дни принадлежит ей? Нет, скорее всего, о соседнем, тоже на Неве и тоже напротив Адмиралтейства – о здании петровской Кунсткамеры. Во времена Гумилева, как и теперь, там находился Музей антропологии и этнографии.

А «вершитель»? Вероятнее всего, академик Василий Васильевич Радлов – он был тогда директором этого музея. Или ученый-хранитель музея Лев Яковлевич Штернберг.

Подготовка к путешествию заняла пять месяцев, с декабря 1912 по апрель 1913 года. «За это время я много бывал и на внутренних лестницах, и в просторных, заставленных еще не разобранными коллекциями кабинетов, на чердаках и в подвалах музеев этого большого белого здания над Невой. Я встречал ученых, точно только что соскочивших со страниц романа Жюль Верна, и таких, что с восторженным блеском глаз говорят о тлях и кокцидах, и таких, чья мечта добыть шкуру красной дикой собаки, водящейся в Центральной Африке, и таких, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости. И почти везде прием, оказанный мне, поражал своей простотой и сердечностью».

Так было положено начало путешествию в Абиссинию, которое стало для Гумилева не только последним, но и самым богатым разнообразными результатами. С ним сохранилось больше свидетельств, чем о всех предыдущих, вместе взятых.

А решалось все в том старинном доме, где

потом был создан и первый в нашей стране музейный отдел Африки, и первый в Академии наук отдел по изучению Африки. Первым главой обоих отделов стал Дмитрий Алексеевич Ольдерогге, мой учитель, продолжатель традиций Радлова и Штернберга. Его высокий кабинет с потемневшими портретами на стенах выходил на Неву, на Адмиралтейство и Зимний дворец.

В этом здании холодной зимой 1948–1949 годов я впервые услышал от него о хранящихся здесь африканских коллекциях Гумилева – результатах путешествия, задуманного здесь же зимой 1912–1913 годов.

«У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА»

*И струится и поет по венам
Радостно бушующая кровь.*

Н. Гумилев

*Мой конь,
Обрызганный росой,
Играет и храпит,
Мое поместье
Под луной,
Ночной повито тишиной,
В горячих травах спит...*

В. Скотт

Гумилеву повезло. Именно в те годы Музей антропологии и этнографии добился государственных дотаций на дальние экспедиции. Радлов и Штернберг мечтали, чтобы по экспозициям музея действительно можно было судить о многооб-

разии форм эволюции человечества. И ценой огромных усилий преодолели множество бюрократических заслонов, которые и в то время были труднопробиваемы. Радлов сумел даже создать Комитет содействия музею и привлек пожертвования частных лиц.

Так что та беседа Гумилева в заставленном старыми книгами уголке петровского здания Двенадцати коллегий произошла, что называется, во благовремение. Музею были нужны африканские коллекции. Он мог если и не целиком субсидировать экспедицию, то, во всяком случае, оказать ей материальную поддержку. Гумилев был признан руководителями музея фигурой подходящей.

Написав последнюю фразу, я подумал: как бы и ко мне не отнесли упрек Евтушенко, что поэтический и жизненный путь Гумилева теперь «бездумно косметизируется» чуть ли не под оперный образ «Гей, славяне!». Евтушенко прав. Один журналист даже утверждает: «...ни у Радлова, ни у Штернберга не было ни малейших сомнений относительно кандидатуры Гумилева, они знали, что направляют в Африку профессионального этнографа».

А это, конечно, не так. Профессиональным этнографом Гумилев не был – соответствующего образования не получал, в этнографических учреждениях никогда не работал. Да и претендовал он на славу поэта, путешественника и воина, но никак не профессионального ученого.

И все же Радлову и Штернбергу он подошел. Дело в том, что профессиональных этнографов-африканистов в нашей стране тогда не существовало. А Гумилев уже знал страну, был молод, здоров, полон энергии, чтобы преодолевать тяго-

ты пути, природных условий, климата. Рвался в Африку.

Сохранились документы о подготовке экспедиции. Документы всегда красноречивее, чем любой их пересказ. Поэтому приведу целиком те, что я нашел в Санкт-Петербургском отделении архива Российской Академии наук. Это отделение находится в здании, почти примыкающем к Музею этнографии. Там все тротуары исхожены Гумилевым.

Первый по времени документ, хранящийся в архиве, датирован 20 марта 1913 года. Это письмо директора музея академика Радлова директору-распорядителю правления Добровольного Флота.

*«Милостивый государь Отто Львович,
Позволю себе обратиться к Вашему Превосходительству со следующей просьбой.*

Музей антропологии и этнографии имени Императора Петра Великого командирует в Абиссинию для собирания этнографических коллекций и для обследования племен Галла и Сомали Николая Степановича Гумилева и Николая Леонидовича Сверчкова.

Ввиду крайне ограниченной суммы, ассигнованной на эту экспедицию, обращаюсь к Вашему просвещенному содействию для предоставления означенным лицам свободного проезда на пароходах Добровольного Флота от Одессы до Адена и обратно. Экспедиция предполагает выехать 10 апреля из Одессы и возвратиться в начале августа».

Затем следуют сразу три документа с одной и той же датой – 26 марта 1913 года. Очевидно, в этот день директор музея уделил абиссинской

экспедиции немало времени. Одним из первостепенных дел считалось обеспечение экспедиции оружием. И появилось следующее письмо:

*«В Главное Артиллерийское управление
Музей антропологии и этнографии, снаряжая экспедицию в Абиссинию под начальством Н. С. Гумилева, покорнейше просит не отказать в разрешении на выдачу г. Гумилеву из арсенала пяти солдатских винтовок и 1000 к ним патронов на возможно льготных условиях.*

*Директор музея
Действительный тайный советник
Академик В. Радлов»*

Необходимо было заручиться содействием Российской императорской миссии в Абиссинии. И ее главе, Б. А. Чемерзину, направляется послание. Тому Чемерзину, который уже знал Гумилева по его жизни в Аддис-Абебе два года назад.

*«Его Превосходительству Б. А. Чемерзину
Милостивый государь Борис Александрович!
Позволяю себе обратиться к Вашему Превосходительству со следующей просьбой: Музей антропологии и этнографии командирует Н. С. Гумилева в Абиссинию для изучения племени Галласов. Так как для беспрепятственного проезда по стране этого племени необходимо содействие губернатора г. Харрара, покорнейше прошу исходатайствовать соответствующее рекомендательное письмо от Абиссинского правительства и выслать таковое по адресу г. Гумилева в Dirre-Daia, а также сообщить русскому вице-консулу в Джибути об оказании содействия*

г. Гумилеву в этом городе, чем премного обяжете Музей Императорской Академии наук и Вашего покорного слугу.

В. Радлов»

Наконец, в этот же день, очевидно, подписан и так называемый «открытый лист», давший Гумилеву несомненные привилегии на всем пути следования. Самого документа в архиве нет. Он был отдан Гумилеву.

Ответы на свои письма директору музея не пришлось ждать особенно долго. Хотя и принято думать, что колеса бюрократической машины Российской империи поворачивались медленно – и весьма часто оно так и было, – в данном случае все решилось оперативно. Главное артиллерийское управление ответило Радлову на седьмой день, правление Добровольного Флота – на шестнадцатый.

Правда, и расстояния были не столь уж велики. Правление Добровольного Флота находилось на Михайловской площади в доме № 5, в двух с небольшим километрах от Музея. Да и Главное артиллерийское управление – не очень далеко.

Для ответа из Аддис-Абебы потребовался только месяц.

Оружие Гумилеву было отпущено. А директор-распорядитель и заведующий канцелярией правления Добровольного Флота сообщали:

«5 апреля 1913 г.

В Музей антропологии и этнографии имени Императора Петра Великого

В ответ на отношение от 20 прошлого марта Правление Добровольного Флота имеет честь уведомить о согласии своем предоставить бес-

платный проезд на пароходе Добровольного Флота от Одессы до Джибути и обратно, с оплатой продовольствия за собственный счет, Н. С. Гумилеву и Н. Л. Сверчкову, отправляющимся в Абиссинию для собирания коллекций и обследования местных племен.

Пределным пунктом поездки указывается Джибути, а не Аден, так как обычно пароходы Добровольного Флота в Адене не останавливаются; в случае же остановки, вызванной высадкой хотя бы двух пассажиров, пароход считался бы производящим коммерческие операции, что повлекло бы за собою уплату значительных портовых сборов».

«У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение р. Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена». Это часть Эритреи и территории, по сегодняшнему административному делению составляющие провинции Уолло и Тигре, а также земли, входящие ныне в Республику Джибути.

Справедливо ли было считать, что в 1913 году там жили «неизвестные и загадочные племена»? Конечно, сказано слишком торжественно, но действительно в России, да и во всей Европе об этих племенах знали тогда не очень много.

Субсидировать путешествие туда Академия наук отказалась — слишком дорого.

Пришлось Гумилеву предложить другой маршрут. Он проходил южнее. «Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском проливе, оттуда по железной дороге к Харрару,

потом, составив караван, на юг, в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования». Иными словами, речь шла о восточной и южной частях современной Эфиопии и о западной части Сомали.

Этот маршрут и был утвержден. Он требовал меньших затрат. А начало пути Гумилев знал по прошлым путешествиям.

Руководство музея согласилось, чтобы Гумилев взял себе в спутники племянника Колю Сверчкова.

Цель путешествия: «делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции».

Личная же цель Гумилева, как и прежде — получить новые впечатления для поэтического творчества.

Казенное денежное обеспечение было не особенно щедрым. Многого предстояло делать за свой счет. Но Гумилев и Сверчков получили бесплатный проезд. И оружие — пять винтовок и тысячу патронов.

Впервые Гумилев ехал в Африку не на свой страх и риск, а с официальной миссией. Командировка Академии наук дала ему неоспоримые преимущества. Только ступив на африканскую землю, он писал Ахматовой: «Магический открытый лист уже сэкономил мне рублей пятьдесят и вообще оказывает ряд услуг».

Это путешествие Гумилева было самым подготовленным и продуманным. Да и сам он вступил в пору зрелости. В апреле 1913-го, за несколько дней до отъезда, ему исполнилось двадцать семь лет.

«Приготовление к путешествию заняли месяц упорного труда. Надо было достать палатку, ружья, седла, вьюки, удостоверения, рекомендательные письма и пр. и пр.

Я так измучился, что накануне отъезда весь день лежал в жару. Право, приготовления к путешествию труднее самого путешествия».

* * *

Целый месяц ушел на последние сборы. Но до этого Гумилев не мог не перерыть кучу книг, статей, карт. Разумеется, он много читал и прежде. Кабинет Гумилева стали называть Абиссинской комнатой. На полках — книги об Африке, на стенах — шкуры африканских зверей и картины абиссинских мастеров.

Но на этот раз Николай Степанович имел дело с Академией наук. Предлагая и отстаивая намечавшиеся им цели и маршруты, он мог ожидать самых разных вопросов. И при его весьма болезненном самолюбии наверняка опасался выглядеть некомпетентным. Ведь он представлялся как человек, совершивший уже три путешествия!

Так что необходимо было читать и перечитывать. Списка прочитанной литературы Гумилев не оставил. Но не так трудно представить себе основную его часть.

Обращался ли Гумилев к литературе на иностранных языках? Если и да, то это скорее было исключением. Знание языков никогда не являлось сильной стороной его образованности. Английский знал плохо. Французский — лучше, ведь долго жил во Франции. Но в переводах с французского у него порой находили серьезные огрехи.

К тому же времени было в обрез. Так что проще — литература на родном языке. Книги Булатовича, Артамонова и других российских путешественников, переводы фундаментальных немецких, английских и французских изданий.

В 1909-м в Петербурге вышел на русском языке том «Истории человечества», посвященный Африке и Западной Азии. Этот многотомный труд крупнейших немецких ученых выходил под редакцией и с дополнениями российских историков и этнографов: В. В. Радлова и Л. Я. Штернберга, В. В. Бартольда, А. А. Кизеветтера, Д. А. Коропчевского, Е. В. Тарле и многих других. Б. А. Тураев заново написал большую часть раздела об Абиссинии, составил генеалогическую таблицу абиссинских царей «Соломоновой династии» и дополнил материал об англо-бурской войне. Гумилеву было о чем поговорить с Тураевым, когда он дарил ему абиссинский складень.

Читал Николай Степанович, конечно, и книгу кёнигсбергского профессора Ф. Гана «Африка». На русском языке она в первое десятилетие нашего века издавалась не раз. Наверняка штудировал африканские тома французского географа Элизе Реклю. И обращался к «старикам» Брокгаузу. Изданные Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефроном 86 томов были лучшей русской универсальной энциклопедией. Статья «Абиссиния» в первом томе вышла в 1890 году, и уже, разумеется, устарела. Но в 1911 году Брокгауз и Ефрон начали издавать «Новый энциклопедический словарь». В новом словаре статья «Абиссиния» написана, очевидно, Тураевым, который к тому времени уже издавал и «Памятники эфиопской письменности». Была там и неплохая карта. Главное, статья свежая — том вышел в 1911-м.

ПО ЕГО СОВЕТУ

*Вся закоптелая, несметный груз
Годов несущая в спине сутулой —
Она напомнила степную Русь...*

В. Нарбут

Гумилеву, конечно, хотелось бы представить, какие перемены произошли в Абиссинии за те два с лишним года, что он отсутствовал. К чему нужно готовиться теперь?

Столь свежих сведений в книгах еще не найти. Но ему повезло. Из Абиссинии вернулись двое добрых знакомых. Самую полную информацию привез доктор Алексей Кохановский. Он хорошо знал эту страну, провел там несколько лет, любил ее и уехал не по доброй воле — не поладил со своим начальником, Чемерзиным.

В конце февраля 1913-го в Петербург вернулся Владимир Нарбут. Он провел в Абиссинии четыре месяца. Гумилев ждал его рассказов с большим нетерпением, ведь Нарбут, один из шести акмеистов, отправился в Абиссинию по совету Николая Степановича. Стал вторым русским поэтом, повидавшим эту страну. Как же было не сопоставить его впечатления со своими?

К сожалению, сохранившиеся сведения о жизни Нарбута в Абиссинии крайне скудны. В начале семидесятых годов я пытался расспросить его вдову, Серафиму Густавовну, женщину необычной судьбы. Одна из сестер Суок, она была замужем сперва за Юрием Олешей, затем за Нарбутом. Нарбут был арестован и погиб в годы сталинских репрессий. Впоследствии Серафима Густавовна вышла замуж за Виктора Шкловского. Она могла бы написать захватывающие мемуары об истории своей семьи, назвав их «Три сес-

тры». Одна из ее сестер была женой Багрицкого, другая – второй женой Олеси. Девичью фамилию сестер, Суок, Юрий Олеса упоминал в «Трех толстяках».

Анна Ахматова писала, что среди женщин, которые навещали жену Мандельштама в страшное для нее время, была и «еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут». А Валентин Катаев вывел Серафиму Густавовну в своем «Алмазном венце» под именем «Дружочек», и, как казалось многим, не без иронии. Шкловский не знал, как отнестись к этому. Писатель Лев Славин рассказывал мне тогда, что Виктор Борисович встревоженно спросил его мнение. Славин постарался его успокоить: «Мне кажется, надо гордиться, ведь она выглядит второй Манон Леско».

О Нарбуте Серафима Густавовна говорила охотно. Но о его абиссинском путешествии знала мало. Да и немудрено. Первая мировая война. Революция, Гражданская война... Все это далеко отодвинуло в памяти самого Нарбута его эфиопские впечатления. А воспоминаний он не оставил, насколько я знаю.

Что же сохранилось? Несколько стихотворений об Эфиопии и Джибути. У Нарбута те места предстают отнюдь не романтичными. В стихотворении «Пустыня сомалийская» – тяготы пути и бивака.

В шалаше духота. А вода,
Словно жидкая муть, — в бурдюках.
Никогда, никогда, никогда
Здесь не встретишь ключа на песках!

Те же впечатления в письмах. Он все время рвался на родину. В декабре 1912-го писал свое-

му другу журналисту Н. Н. Сергиевскому из Дыре-Дауа. «Вот уже почти два месяца, как я в Абиссинии. Страна эта – очень интересная, хотя без знания арабского или абиссинского языка – почти недоступная. Обьедаюсь бананами и, признаться, страшно скучаю по России... Может статься, в феврале увидимся в Питере. Впечатлений масса».

Больше всего о путешествии Нарбута (из воспоминаний современников), пожалуй, сказано у Георгия Иванова в «Петербургских зимах». Георгий Иванов не любил Нарбута и писал насмешливо, даже язвительно, явно стараясь унижить.

Существует устоявшееся мнение, что причиной отъезда Нарбута из России осенью 1912 года было издание сборника его стихов «Аллилуйя», который вызвал недовольство церкви. Георгий Иванов считал, что, хотя эта книга действительно «была конфискована и сожжена по постановлению суда», все же отъезд Нарбута состоялся по иной причине – его заставило уехать чувство стыда перед петербургской демократической интеллигенцией. Нарбут основал ежемесячный «Новый журнал для всех» и получил разрешение властей на его издание. Поскольку дело не пошло, он журнал продал. Не подумав, продал черносотенцу Гарязину. «Гром грянул недели через две – когда вдруг все как-то сразу узнали, что "декадент" Нарбут продал как-никак "идейный и демократический" журнал Гарязину – члену Союза русского народа и другу Дубровина». Вот и пришлось скрываться от позора.

Потом во всех петербургских редакциях обсуждалась телеграмма, краткая, но эффектная: «Абиссиния. Джибутти. Поэт Владимир Нарбут помолвлен с дочерью повелителя Абиссинии Ме-

нелика». А затем пришло письмо с эфиопским штемпелем и гербом Нарбутов, оттиснутым на лиловом сургуче с золотой искрой. Письмо было отправлено из Гранд-отеля в Джибути и гласило:

«Дорогие друзья (если вы мне еще друзья), шлю привет из Джибути и завидую вам, потому что в Петербурге лучше. Приехал сюда стрелять львов и скрываться от позора. Но львов нет, и позора, я теперь рассудил, тоже нет: почему я знал, что он черносотенец? Я не Венгеров, чтобы все знать. Здесь тощица. Какой черт меня сюда занес? Впрочем, скоро приеду и сам все расскажу.

Брак мой с дочкой Менелика расстроился, потому что она не его дочка. Да и о самом Менелике есть слух, что он семь лет тому назад умер».

А возвращение Нарбута в Петербург Иванов описывал так:

«Приехал Нарбут из Африки какой-то желтый, заморенный. На "приеме", тотчас же им устроенном, он охотно отвечал на вопросы любопытных об Абиссинии, но из рассказов его выходило, что "страна титанов золотая Африка" — что-то вроде русского захолустья: грязь, скука, пьянство. Кто-то даже усумнился, да был ли он там на самом деле?

Нарбут презрительно оглядел сомневающегося.

— А вот, придет Гумилев, пусть меня проэкзаменует.

— Как же я тебя экзаменовать буду, — задумался Гумилев. — Языков ты не знаешь, ничем не интересуешься... Хорошо — что такое "текели"?

— Третью рома, третью коньяку, содовая и лимон, — быстро ответил Нарбут. — Только я пил без лимона.

– А...– Гумилев сказал еще какое-то туземное слово.

– Жареный поросенок.

– Не поросенок, а вообще свинина. Ну, ладно, скажи мне теперь, если ты пойдешь в Джибути от вокзала направо, что будет?

– Сад.

– Верно. А за садом?

– Каланча.

– Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо, за угол?

Рябое, безбровое лицо Нарбута расплылось в масляную улыбку:

– При дамах неудобно...

– Не врет, – хлопнул его по плечу Гумилев. – Был в Джибути, удостоверяю.

Вскоре оказалось, что Нарбут вывез из Африки не только эти познания, но и лихорадку».

Такая версия о путешествии Нарбута приобрела наибольшую известность, поскольку «Петербургские зимы» Георгия Иванова издавались много раз.

Но Ахматова относила Георгия Иванова к тем, кто «сознательно и ловко передергивают». А к Нарбуту он был особенно пристрастен.

Мог ли Гумилев пренебрежительно сказать Нарбуту: «Ничем не интересуешься»? Если бы Гумилев так к нему относился, то вряд ли поместил бы в «Аполлоне» один за другим два отклика на его стихи. В 1911-м: «Неплохое впечатление производит книга стихов Нарбута... она ярка». В 1912-м – отзыв на книгу «Аллилуйя», ту самую, из-за которой, как считалось, Нарбуту пришлось на какое-то время покинуть пределы России.

А в 1913-м, уже с дороги в Абиссинию, Гумилев писал жене: «Я совершенно убежден, что из

всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными».

Путешествие в Абиссинию оказалось единственным столь дальним путешествием Нарбута. Уже через несколько лет он вряд ли смог бы его повторить: в 1918-м неизвестные злоумышленники напали на него и сильно покалечили (потому в «Алмазном венце» он и назван – не очень, правда, тактично – Колченогим).

Абиссиния не увлекла Нарбута, как Гумилева, но он ее увидел. Увидел иную. Прозаическую, повседневную.

«С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ АФРИКИ»

*Я помню ночь, как черную наяду,
В морях под знаком Южного Креста.
Я плыл на юг; могучих волн громаду
Взрывали мощно лопасти винта,
И встречные суда, очей отраду,
Брала почти мгновенно темнота.*

...

*Но проходили месяцы... Обратю
Я плыл и увозил клыки слонов,
Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер – мне нравились их пятна –
И то, что прежде было непонятно, –
Презренья к миру и усталость снов.*

Н. Гумилев

О последнем путешествии Гумилева в Африку мы знаем больше, чем о предыдущих. Нашелся «Африканский дневник», тот, о котором мне говорила Ахматова, а потом и Лукницкий.

По словам Лукницкого, «Африканский дневник» когда-то находился у него. Если я верно понял, он получил его от второй жены Гумилева, Анны Энгельгардт, еще в двадцатых. Но затем, надолго отправляясь на Памир, принес дневник Анне Ахматовой. Она же потом отдала его на хранение другим людям. Война...

Павел Николаевич, говоря со мной, сожалел, что в свои «Труды и дни» он не перенес цитат из «Африканского дневника» — только даты, связанные с путешествиями. Он, как и Анна Андреевна, не терял надежды, что дневник найдется.

И он действительно появился на свет, правда, не целиком, только в 1987-м, когда Анны Андреевны и Павла Николаевича давно уже не было в живых. Обнаруженная часть — это четырнадцать листов школьной тетради. Они хранились у сестры Гумилева Александры Степановны Сверчковой, матери Коли Маленького, с которым Гумилев ездил в Африку. В 1951-м она переслала их Оресту Высотскому, сыну Гумилева и Ольги Высотской.

В начале 1987-го Орест Николаевич передал их редакции журнала «Огонек», сопроводив письмом, где с сожалением констатировал, что «часть листов была потеряна», а сохранившиеся написаны «мелким неразборчивым почерком черными, слегка выцветшими чернилами. В тексте имеются помарки, описки, некоторые слова зачеркнуты. Некоторые записи в дневнике перечеркнуты».

Вскоре нашлась и еще одна часть дневника. В 1988 году доктор геолого-минералогических наук Вадим Бронгулеев сообщил, что он еще в начале шестидесятых купил у собирателя автографов В. Г. Данилевского две тетрадошки дневниковых записей Гумилева. Свою бесценную коллекцию, где были и автографы Пушкина, Достоевского,

Толстого, Гюго, Бальзака и русских царей, Данилевский годами держал в старом чемодане в проходной Московского карбюраторного завода на Шаболовке. Подобно подпольному миллионеру Корейко, считал это наиболее надежным.

Когда Бронгулеев умер, те дневниковые записи, которые хранились когда-то в старом чемодане в проходной завода на Шаболовке, купил Михаил Елиазарович Кудрявцев, известный московский коллекционер, поэт и страстный поклонник Гумилева. Он дал мне ксерокопию этих записей.

Так что о последнем путешествии Гумилева в Африку известно немало. К этому путешествию относится не только «Африканский дневник», но и этнографические коллекции, привезенные Гумилевым, фотографии Сверчкова, обнаруженные в конце восьмидесятых документы в Архиве Академии наук и несколько писем.

* * *

Отъезд Гумилева был назначен на 7 апреля 1913 года. Дата названа в письме Брюсову. «В этот день я уезжаю на четыре месяца по поручению Академии Наук в Африку, в почти неизведанную страну Галла, что на востоке от озера Родольфо. Письма ко мне доходить не могут. И Вы поймете все мое нетерпение узнать Ваше мнение, мнение учителя, о движеньи*, которое мне так дорого. Я буду обдумывать его в пустыне, там гораздо удобнее это делать, чем здесь».

Сохранилось несколько писем и открыток, посланных с дороги и вскоре по прибытии в

* Речь, очевидно, идет об акмеизме.

Джибути и Абиссинию. Среди них и письма к Ахматовой.

Первое – из Одессы, без даты. Думаю, что от 9–10 апреля. В нем больше говорится еще о российских делах, чем об африканских. О том, что сам он сидит в кафе «почти заграничном». В книжном магазине продается журнал «Жатва» со стихами Ахматовой. Вспоминая ахматовские строки, пишет: «...никогда бы не смог догадаться, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны Галла».

Дает адреса, куда ему можно писать в Африку: до 1 июня – Дыре-Дауа, до 15 июня – сомалийский порт Джибути, до 15 июля – Порт-Саид, потом – Одесса. И тут же о Сверчкове: «Маленький до сих пор был прекрасным спутником; верю, что так будет и дальше».

Второе послание, тоже Ахматовой, в Царское Село. Открытка с изображением Суэцкого канала и почтовым штемпелем от 13 апреля. «Безумная зима сказывается, я отдыхаю как зверь... С нетерпением жду Африки... Пиши мне, пусть я найду в Дире-Дауа много писем». Уже начат «Африканский дневник», идет работа над переводами стихов Теофиля Готье. «Готье переводится вяло, дневник пишется лучше».

Третье письмо – из Джибути. Даты нет. Очевидно, написано лишь несколькими днями позднее – путь по Красному морю недолог. Африка действовала на Гумилева благотворно. «Мое нездоровье прошло совершенно, силы растут с каждым днем». «Мой дневник идет успешно, и я пишу его так, чтобы прямо можно было печатать». «В Джедде с парохода мы поймали акулу; это было действительно зрелище. Оно заняло две страницы дневника».

И о важной встрече: «С нами едет турецкий консул, назначенный в Харрар. Я с ним очень подружился, он будет собирать для меня абиссинские песни, и мы у него остановимся в Харраре. Со здешним вице-консулом Галебом, с которым, помнишь, я ссорился, я окончательно помирился, и он оказал мне ряд важных услуг».

Забегая вперед, скажу, что встреча и впрямь оказалась важной. Встречать турецкого консула в Харэр приехал один из сомалийских вождей, и у его свиты Гумилеву удалось купить немало интересных предметов для петербургского музея.

Кто такой Галеб, с которым Гумилев поссорился еще в прошлом путешествии? Купец, грек, он считался внештатным русским вице-консулом в Джибути. Таких вице-консулов у Российской империи имелось в то время немало. Это были местные жители, которые соглашались помогать появлявшимся в их краях немногочисленным россиянам, защищать их интересы. О Галебе упоминала в своих письмах и Чемерзина.

В архиве Академии наук сохранились открытка и письмо, посланные Гумилевым Льву Яковлевичу Штернбергу из Джибути. Красочная открытка, фотография танцующих мужчин одного из местных племен. Дату Гумилев, как обычно, не поставил.

*«Россия
Петербург
Императорская академия наук
Музей антропологии и этнографии
Его превосходительству Льву Яковлевичу
Штернбергу*

*Многоуважаемый Лев Яковлевич,
мы уже в Джибути. Завтра едем вглубь стра-*

ны. Дождей не будет еще полтора месяца. Путешествие обещает быть удачным. Русский вице-консул Галев оказал уже мне ряд услуг. Из Харрара, когда соберу караван, напишу подробное письмо, а пока извиняюсь за открытку.

*Искренне уважающий Вас и преданный Вам
Н. Гумилев»*

Из Харэра Гумилев письма так и не написал. Зато послал, и сравнительно подробное, из Дире-Дауа. На бланке отеля «Континенталь». И даже поставил дату: 20 мая 1913.

*«Многоуважаемый Лев Яковлевич,
как увидите по штемпелю, мы уже в Абиссинии. Нельзя сказать, чтобы путешествие началось совсем без приключений. Дождями размыло железную дорогу, и мы ехали 80 км на дрезине, а потом на платформе для перевозки камней. Прибыв в Дире-Дауа, мы тотчас отправились в Харрар покупать мулов, так как здесь они дороги. Купили пока четырёх, очень недурных, в среднем по 45 р. за штуку. Потом вернулись в Дире-Дауа за вещами и здесь взяли 4-х слуг, двух абиссинцев и двух галласов, и пятого переводчика, бывшего ученика католической миссии, галласа. Из Харрара я телеграфировал русскому посланнику в Аддис-Абебе, прося достать мне разрешение на проезд, но ответа пока не получил.*

Мой маршрут более или менее устанавливается. Я думаю пройти к Бари, оттуда по реке Уаби Сидамо к озеру Зваи и, пройдя по земле Арусси по горному хребту Черчер, вернуться в Дире-Дауа. Таким образом я все время буду в наименее изученной части страны Галла. Благодаря дождям не жарко, всюду есть трава и

вода, т. е. все, что нужно для каравана. Правда, реки иногда разливаются, и в Дире-Дауа почти ежедневно есть несчастные случаи с людьми, но с такими мулами, как у меня, опасность сведена до минимума.

Завтра я надеюсь уже выступить, и месяца 3 Вы не будете иметь от меня вестей. Вернее всего в конце августа я прямо приду в Музей. Очень прошу Вас в половине июня послать через Лионский кредит в *Bank of Abyssinie* в *Dire Daoua* 200 р. Я на них рассчитываю, чтобы расплатиться с ашкерами и возвратиться. Русский вице-консул в Джибути м-р Галев оказал мне ряд важных услуг: устроил бесплатный пропуск оружия в Джибути и в Абиссинии, скидку на провоз багажа на железной дороге, дал рекомендательные письма.

Искренне уважающий Вас
Н. Гумилев»

С какой же быстротой шел обмен письмами между Царским Селом и городками Абиссинии! Из Джибути Гумилев послал жене только что написанное стихотворение. И попросил: «Напиши в Дире-Дауа, что ты о нем думаешь». А городок Дире-Дауа расположен километрах в трехстах от океана и отнюдь не на перекрестке оживленных сухопутных дорог.

ДЖИБУТИ, ДЫРЕ-ДАУА И ХАРЭР

*Веселы, нежданны и кровавы
Радости, печали и забавы
Дикой и пленительной земли...*

Н. Гумилев

Эти три города были воротами в Абиссинию. Интересны наблюдения Гумилева над теми переменами, которые он видел в знакомых ему местах.

Гавань и городок Джибути, где Гумилев сошел на африканскую землю. «Джибути лежит на африканском берегу Аденского залива к югу от Обока, на краю Таджуракской бухты. На большинстве географических карт обозначен только Обок, но он потерял теперь всякое значение, в нем живет лишь один упрямый европеец, и моряки не без основания говорят, что его "съела" Джибути. За Джибути — будущее. Ее торговля все возрастает, число живущих в ней европейцев тоже. Года четыре тому назад, когда я приехал в нее впервые, их было триста, теперь их четыреста. Но окончательно она созреет, когда будет достроена железная дорога, соединяющая ее со столицей Абиссинии Аддис-Абебой. Тогда она победит даже Массову, потому что на юге Абиссинии гораздо больше обычных здесь предметов вывоза: воловьих шкур, кофе, золота и слоновой кости».

Прогноз Гумилева сбылся. Джибути как морской порт с той поры давно обогнал «Массову» — Массауа. Обок исчез с географических карт. О нем никто уже и не помнит. А Джибути — столица созданной в 1977 году республики, названной по имени этого порта. Его девиз: «24/365!».

что значит: «Мы открыты для судов 24 часа в сутки все 365 дней в году». Круговерть портовой жизни. Танкеры и сухогрузы, контейнеровозы, пассажирские лайнеры и военные корабли. А вокруг – грузчики, контрабандисты, «ночные красавицы», дельцы черного рынка, торговцы сувенирами, бармены и маклеры, нищие и бездомные – кого только нет. Не только морская гавань, но и аэропорт Джибути – один из крупнейших в Африке.

Во времена Гумилева не так легко было предвидеть такой бурный рост этого городка – я не раз об этом думал, часами сидя там на аэродроме, гудящем сейчас, как огромный улей.

Правда, к тому времени была уже построена железная дорога, ведущая в Абиссинию. К услугам населения и проезжающих уже были кафе. Но поезда ходили только два раза в неделю, да и то нерегулярно: проливные дожди размывали полотно. Кафе – всего два.

Жизнь Джибути очень патриархальна. «...Люблю этот городок, – писал Гумилев, – его мирную и ясную жизнь. От двенадцати до четырех часов пополудни улицы кажутся вымершими, все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетется какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитами дам. Террасы обоих кафе полны народом... Потом все идут на прогулку. Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме

замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями – все в ослепительно белой извести. В один из подобных вечеров мы совершили очаровательную поездку в загородный сад в обществе Галеба, греческого коммерсанта и русского вице-консула, его жены и Мозар-бея, турецкого консула, о котором я говорил выше. Там узкие тропки между платанами и банановыми широколиственными пальмами, жужжанье больших жуков и полный ароматами теплый, как в оранжерее, воздух. На дне глубоких каменных колодцев чуть блестит вода. То там, то сям виден привязанный мул или кроткий горбатый зебу».

Тогда, во времена Гумилева, до конца еще не определилось, какие порты на Красном море и в Аденском проливе окажутся самыми важными. Ведь заметное положение в мировой торговле и политике те края приобрели лишь немногим раньше. До тридцатых годов девятнадцатого века европейцы считали их забытыми Богом и людьми. Главная водная артерия мира, связь Европы с Азией, проходила тогда кругом Африки. Не был еще прорыт канал, по которому Гумилев плыл шесть раз:

Стаи дней и ночей
Надо мной колдовали,
Но не знаю светлей,
Чем в Суэцком канале.

Где идут корабли
Не по морю, по лужам.
Посредине земли
Караваном верблюжьим.

Океанские корабли пошли по Красному морю и Аденскому заливу только с 1869 года, когда

канал был торжественно открыт. Поначалу многие думали, что на этом пути главным портом будет Обок. Потом его стал опережать Джибути.

Гумилев высказал лишь одно опасение за будущее Джибути. «Жаль только, что ею владеют французы, которые обыкновенно очень небрежно относятся к своим колониям и думают, что исполнили свой долг, если послали туда несколько чиновников, совершенно чуждых стране и не любящих ее».

Гумилев обратил внимание и на быстрый рост городка Дыре-Дауа, через который шел путь от порта Джибути к центральным областям Абиссинии. «Дире-Дауа очень выросла за те три года, пока я ее не видел, особенно ее европейская часть. Я помню время, когда в ней было всего две улицы, теперь их с десяток. Есть сады с цветниками, просторные кафе. Есть даже французский консул. Весь город разделяется на две части руслом высохшей реки, которая наполняется лишь во время дождя: европейскую, ближе к вокзалу, и туземную...»

В «туземной» части города «можно бродить целый день, не соскучась. В двух больших лавках, принадлежащих богатым индусам, Джиоваджи и Мохамет-Али, шелковые шитые золотом одежды, кривые сабли в красных сафьяновых ножнах, кинжалы с серебряной чеканкой и всевозможные восточные украшения, так ласкающие глаза. Их продают важные толстые индусы в ослепительно белых рубашках под халатами и в шелковых шапочках блином. Пробегают йеменские арабы, тоже торговцы, но главным образом комиссионеры. Сомалийцы, искусные в различного рода рукодельях, тут же на земле плетут циновки, готовят по мерке сандалии. Проходя перед хижинами галласов, слышишь запах лада-на, их любимого куренья».

И наконец, Харэр. Этот город занял особое место в странствиях Гумилева. Он бывал там подолгу в каждом из своих путешествий. И на этот раз повстречал там старых знакомых. Разыскал абиссинца – директора местной школы. «Склонный к философствованию, как большинство его соотечественников, он высказывал подчас интересные мысли, рассказывал забавные истории, и все его мирозерцание производило впечатление хорошего и устойчивого равновесья. С ним мы играли в покер и посетили его школу, где маленькие абиссинцы лучших в городе фамилий упражнялись в арифметике на французском языке».

Были встречи и менее приятные. «Подозрительный мальтиец Каравана, бывший банковский чиновник, с которым я смертельно рассорился в Аддис-Абебе, первый пришел приветствовать меня».

Оказался в Харэре даже соотечественник, российский подданный Артем Иоханжан, армянин, живший в Абиссинии уже двадцать лет.

Почему Харэр так привлекал Гумилева? Ко времени его путешествий не только Джибути, но и столица Абиссинии, Аддис-Абеба, не имела еще давней истории. Она была ровесницей Гумилева, даже моложе его на год. А Харэр? Гумилев интересовался его историей и набросал ее в своем дневнике. Положение на столбовой дороге здешних мест и разноплеменное население, сочетание разных культур – все это привлекло его внимание.

С БУДУЩИМ ИМПЕРАТОРОМ

*Император с профилем орлиным,
С черною, курчавой бородой,
О, каким бы стал ты властелином,
Если б не был ты самим собой!*

Н. Гумилев

Имя Рембо в сохранившихся листках дневника Гумилева не упомянуто. Зато назван, и не раз, другой живший в Харэре человек, и еще более известный. Рембо был значительно старше Гумилева, тот – моложе.

Случилось так, что Гумилев стал одним из первых, кто рассказал о нем, описал его внешность, манеры, жену, дом. Этот человек был молод и носил не то имя, под которым потом стал известен миру. Об этом не догадались те, кто в 1987 году в журнале «Огонек» опубликовали «Африканский дневник». Иначе они не оставили бы читателей в неведении.

Гумилев встретил в Харэре человека, который потом стал императором и сумел удержаться на троне поразительно долго – сорок четыре года. А если учесть, что до того он был в течение четырнадцати лет регентом, то получится, что этот человек управлял государством почти шестьдесят лет. По продолжительности правления рядом с ним можно поставить разве что королеву Викторию, Людовика XIV, Франца-Иосифа и Хирохито.

Хайле Селассие I, император Абиссинии с 1930 по 1974 год, регент с 1916 по 1930 год. По официальной абиссинской генеалогии его считали 225-м потомком царя Соломона и царицы Савской, основателей Соломоновой династии, обла-

давшей исключительным правом на власть в этой стране.

Хайле Селассие стал не только последним императором Эфиопии, но и последним самодержавным монархом в истории человечества (во всяком случае в двадцатом столетии). Его личность вновь и вновь привлекает к себе внимание. В переведенной на русский язык книге польского публициста Рышарда Капусцинского «Император» Хайле Селассие предстает правителем столь изощренным в коварстве и вероломстве, что мог бы стать центральной фигурой сочинения Макиавелли «Государь».

Несомненно, Хайле Селассие был фигурой сложной, неоднозначной. И сам он, и методы, которыми он пользовался, сильно менялись за долгие годы его правления. В автобиографии «Моя жизнь и прогресс в Эфиопии» престарелый правитель не без гордости вспоминал, как, еще только придя к власти, он запретил отрубать руки и ноги — это было привычным наказанием даже за мелкие проступки. Запретил варварский обычай четвертования, которое должен был публично исполнять самый близкий родственник: сын убивал отца, мать — сына. Запретил работорговлю.

Гумилев встретился с Хайле Селассие, когда тот был дэджазмачем (один из высших титулов Абиссинии; в написании Гумилева — дедьязмач), губернатором Харэра и окружавших его территорий. Звали его тогда Тэфэри Мэконнын (у Гумилева — Тафари Маконен). Гумилев считал, что ему было девятнадцать лет. На самом деле чуть больше — двадцать один.

Вряд ли Гумилев мог предположить, что уже через три года этот человек станет регентом Абиссинии. Но все же подчеркнул, что это один из самых знатных людей в стране, который ведет

«свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской». Что он – сын двоюродного брата и друга Менелика, а его жена – внучка покойного императора и сестра наследника престола.

К будущему Хайле Селассие Гумилев явился, чтобы получить пропуск – разрешение на путешествие по Абиссинии. Как известно, впоследствии, став императором, Тэфэри построил для себя дворец в каждой из провинций страны, но тогда, писал Гумилев, его дворец представлял собою «большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящей во внутренний, довольно грязный [двор]; дом напоминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголово или Териоках. На дворе толкалось десятка два ашкеро́в, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожидания на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедьязмача. Дедьязмач поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по его точенному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим, полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца».

По традиции являться следовало с подарком. И к ногам Тэфэри был поставлен ящик с бутылками вермута. Но тот, «несмотря на подарок, ответил, что без приказа из Аддис-Абебы он ничего сделать не может... Тогда мы просили дедьязмача о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился. Через несколько дней мы пришли с фотографическим аппаратом. Ашкеры расстелили ковры прямо на дворе, и мы сняли дедьязмача в его парадной синей одежде. Затем была очередь за принцессой, его женой.

Она сестра Лидж Иассу, наследника престола, и, следовательно, внучка Менелика. Ей двадцать два года, на три года больше, чем ее мужу, и черты ее лица очень приятны, несмотря на некоторую полноту, которая уже испортила ее фигуру. Впрочем, кажется, она находилась в интересном положении. Дедьязмач проявлял к ней самое трогательное вниманье. Сам усадил в нужную позу, оправил платье и просил нас снять ее несколько раз, чтобы наверняка иметь успех. При этом выяснилось, что он говорит по-французски, но только стесняется, не без основанья находя, что принцу неприлично делать ошибки. Принцессу мы сняли с ее двумя девочками-служанками».

Эти снимки, наверно, из самых ранних фотографий Хайле Селассие.

В Музее этнографии сохранились их негативы. В описи, составленной Колей Сверчковым, они названы: «Дедьязмач Тафари, губернатор города Харара». «Жена дедьязмача Тафари сидя» (два снимка), «Дедьязмач Тафари стоя» (два снимка), «Жена дедьязмача Тафари с прислужницами». Был и негатив «Ворота губернаторского дома в Хараре», но он не сохранился.

* * *

Интересны заметки Гумилева о том, как управлялся Харэр. Харэр был завоеван императором Менеликом и поначалу им управлял Мэконнын, отец Тэфэри. Гумилев назвал его одним из величайших государственных людей Абиссинии и даже помянул в стихах.

Непосредственно же перед Тэфэри Харэром управлял генерал Бальча. «Это был человек сильный и суровый. О нем до сих пор говорят в городе, кто с негодованием, кто с неподдельным

уважением. Когда он прибыл в Харрар, там был целый квартал веселых женщин, и его солдаты принялись ссориться из-за них, и дело доходило даже до убийства. Бальча приказал вывести их всех на площадь и продал с публичного торга [как рабынь], поставив их покупателям условие, что они должны смотреть за поведением своих новых рабынь. Если хоть одна из них будет замечена, что она занимается прежним ремеслом, то она подвергается смертной казни, а соучастник ее преступления платит штраф в десять талеров. Теперь Харрар едва ли не самый целомудренный город в мире, так как харрариты, не поняв, как следует, принца, распространили его (приказ — А. Д.) даже на простой адюльтер. Когда пропала европейская почта, Бальча приказал повесить всех обитателей того дома, где нашлась пустая сумка, и четырнадцать трупов долго качались на деревьях по дороге между Дире-Дауа и Харраром».

О правлении самого Тэфэри: «Тафари, наоборот, мягок, нерешителен и непредприимчив. Порядок держится только вице-губернатором фитаурари Габре, старым сановником школы Бальчи. Этот охотно раздает по двадцать, тридцать жирафов, т. е. ударов бичом из жирафьей кожи, и даже вешает подчас...»

Так что сам будущий император жестоких приказов не отдавал, зато позволял это делать своим подчиненным. Иными словами, уже тогда проявлял тот самый макиавеллизм, который ему приписывали. Но, может быть, и не стоит судить его строго. Нравы были суровы, и режим, пришедший в семидесятых годах двадцатого века на смену императорскому, как все мы убедились, оказался еще более жестоким.

Юный Тэфэри, по свидетельству Гумилева,

завел в Харэре первый в Абиссинии театр, пригласив заезжих индийских актеров. Гумилев побывал на одном из спектаклей и подробно описал все увиденное. Как и судебное разбирательство, свидетелем которого он стал.

И в Харэре, и в Дыре-Дауа Гумилев бывал в католических миссиях. Беседовал и с монсеньором, здешним епископом, жившим в Харэре. К сожалению, Гумилев не назвал его имени, написал лишь, что это француз лет пятидесяти, и рассказал о его поведении, манерах. Этим епископом наверняка был тот самый иезуит Жером, которого Капусцинский назвал другом Артюра Рембо и единственным учителем юного Тэфэри Мэконына.

Гумилев, конечно, был наслышан о будущем императоре и составил представление о нем не только по личным встречам. Он был в Харэре уже третий раз. Да и Чемерзины наверняка рассказывали ему о встрече, которую Тэфэри устроил им на их пути в Аддис-Абебу в сентябре 1910 года. Тэфэри допустил тогда оплошность: не распорядился заранее, чтобы российской официальной миссии отвели хорошее место для ночевки при подходе к Харэру. Ему пришлось принести извинения по телефону, а затем устроить пышную встречу. Чемерзина в письме из Харэра, двумя днями позднее, подробно описала эту торжественную церемонию.

«...Мне представлялось все время, что мы действующие лица какой-то феерии или очень обстановочной оперы, Африканки, Аиды и пр. Что-то сказочное, пестрое, совершенно невероятное представляли абиссинские войска в количестве 15 тыс. выстроившиеся по дороге и на холме в часу езды от города.

...Мы остановились у дома генер.-губ-ра — дедьязмача Тафари, сына Раса-Маконена, который

со своей свитой ожидал нас во дворе своего дома. Это юноша 18–19 лет, который по требованию харарского войска был, несмотря на свою молодость, назначен ген.-губернатором или лучше сказать владельцем Харара. Молодой мальчик, худенький, только что перенесший воспаление легких, он видом скорее напоминал безмолвную куклу. Носит по отцу титул высочества. Понимает он впрочем по-французски и имеет при себе переводчика-абиссинца, католика, знающего француз. язык. Прекрасна у Тафари его улыбка, которая делает его одновременно привлекательным и живым».

Академик Николай Вавилов спустя полтора десятилетия тоже начал свое путешествие с Дыре-Дауа и Харэра. Его тоже принял Тэфэри, уже не губернатор и еще не император, но уже регент. И уже не в Харэре, а в Аддис-Абебе. «Рас Тафари с большим интересом расспрашивал о нашей стране. Его интересовали в особенности революция, судьба императорского двора». Мог ли он думать тогда, что и в его стране произойдет революция, а он сам окончит свои дни под арестом?

«ВОСЕМЬ ДНЕЙ ОТ ХАРРАРА Я ВЕЛ КАРАВАН»

Далекie загадочные страны

Н. Гумилев

О том, что было после Харэра, в дневнике лишь две фразы: «Мы решили, что Харар изучен, насколько нам позволяли наши силы, и, так как

пропуск мог быть получен только дней через восемь, налегке, т. е. только с одним грузовым мулом и тремя ашкерами, отправились в Джиджига к сомалийскому племени Габаризаль. Но об этом я позволю себе рассказать в одной из следующих глав».

Эти главы не найдены. И написал ли он их? Пока речь может идти только о тех двух тетрадках, которые принадлежат теперь Михаилу Кудрявцеву.

Судя по этим отдельным записям с 4 июня до 20 или 21 июля, караван Гумилева из Харэра снова двинулся к Дыре-Дауа, а оттуда на запад, в сторону Чэрчэрских гор, затем к реке Уаби. Переправившись на ее правый берег, побывали в городке Гинир. Большая часть пути шла по высокогорью, от полутора до двух с половиной километров над уровнем моря и даже выше. Там температура воздуха была терпимой. Но при спусках в долины и низины жара становилась невыносимой. Нехватка воды. Запасы пропитания пополняли охотой. Гумилева мучила лихорадка. В одном из поселков встретили русского доктора, но имя его Гумилев не назвал.

Побывали в селении Шейх-Гуссейн, названном по имени святого, осмотрели его гробницу.

Восемь дней от Харрара я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы
И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.

И таинственный город, тропический Рим,
Шейх-Гуссейн я увидел высокий,
Поклонился мечети и пальмам святым,
Был допущен пред очи пророка.

О путешествии, может быть, дают какое-то представление и очерки «Африканская охота. Из путевого дневника», которые Гумилев опубликовал в 1916 году. Рассказывая о том, как ему удалось убить леопарда, Гумилев упоминает, что это было неподалеку от маленькой сомалийской деревушки, «где-то на краю Харрарской возвышенности». Охота на льва происходила близ реки «Гаваш», а значит, далеко к востоку от Харэра, километров на полтора или еще дальше. А большая облава, в которой Гумилев убил самца павиана, была устроена в полутора верстах от Аддис-Абебы.

В книгах и статьях, издающихся в наше время, можно прочесть, что «Гумилев избрал путь через наименее изученную часть страны» и включил «в свой маршрут и область диких и воинственных племен». Это взято, возможно, из воспоминаний Александры Сверчковой, сестры Гумилева. Там полно ужасов: «Как найти его (Гумилева — А. Д.) в непроницаемой тьме среди зарослей, когда кругом слышно рыкание зверей и хохот гиен?» Как тут не вспомнить слова Гумилева из «Африканского дневника», что «львов надо искать неделями», а «гиены трусливее зайцев»?

Сверчкова писала о «дикой Африке», о том, что никто из проводников «не пожелал идти в неизведанные края к дикарям», а потом нашелся один, «который даже знал несколько слов по-русски». Вот так: неизведанные края, дикари — и тут же местный житель, который даже понимает по-русски... Александру Степановну понять можно. Страх и гордость за сына и брата наложились на представления о «дикой Африке».

Сам Гумилев, хотя ему отнюдь не чуждо было желание порисоваться, все-таки не изображал себя

первопроходцем. Он-то отлично знал, что в Абиссинии до него перебывало немало европейцев, в том числе и соотечественников.

О выполненном маршруте можно судить по маленькой синей тетрадке, формата записной книжки, которая по возвращении на родину была сдана Гумилевым в Музей антропологии и этнографии и хранится там по сей день. На обложке тетради: «Галласские, харраритские, сомалийские и абиссинские вещи, собранные экспедицией Н. Гумилева 1913 г. от 1-го мая до 15-го августа». Обложка разрисована в манере Гумилева. Голова африканца, белый человек в тропическом шлеме, фигурки зверей и череп. И еще надпись, сделанная чуть по-другому или другим почерком: «Н. Сверчков».

В этой тетрадке – сведения почти обо всем, что собрал тогда Гумилев для музея. На четырнадцатой странице нарисована схема путешествия. Обозначен не весь маршрут, но все же схема дает представление о нем. Гумилев побывал в Харэре, Джиджиге, районе Меты, Аннийской пустыне, Уэби, Шейх-Гуссейне, районе Арусси, Чэрчэрских горах. Это восток центральной части Абиссинии и область, примыкающая к Северо-Западному Сомали. Намеченный маршрут в основном совпадает с выполненным.

* * *

В путевых заметках, как и в стихах, Гумилев любил писать о радостном, веселом, а не о трудностях. Но трудностей на этих дорогах встречалось много, например, отношения с ашкерами – воинами, взятыми для охраны каравана. Гумилев для них – чужой белый человек. Его цели им чужды и непонятны. Зачем он пришел на их

землю? С какими намерениями? Может быть, у него такие же цели, как у итальянцев?

Один из ащкеров украл у Гумилева бурнус. «Пришедшие наши друзья-абиссинцы ссудили нам кандалы и вора заковали».

О сложностях, которые ждали путешественника, писал и академик Николай Иванович Вавилов. «С трудом собранный персонал мигом разбежался», узнав, что он из лучших намерений купил для каравана не мулов, а ослов. «Как нам разъяснили, путешествие на осле оскорбительно для мужчины, на нем путешествуют только дети и женщины».

Вавилов спросил губернатора Аддис-Абебы, как быть, если нанятые сопровождающие выйдут из повиновения. Тот «посоветовал взять с собой достаточное количество кандалов, указывая, что так делают все – и французы, и англичане». Вавилов отказался последовать такому примеру. Губернатор лишь покачал головой.

– Попомните, молодой человек...

Сколько же сложностей было у Гумилева – ведь он путешествовал намного раньше, в более трудные времена.

Но в сохранившейся части его дневника говорится больше о переводчиках. Вопрос о языке, а значит, о переводчике, оказался для него крайне важен. Хотя он и был здесь уже третий раз, удовлетворительно объясняться вряд ли мог, особенно если учесть, что его путь проходил по землям народов, говоривших на разных языках. А в этом путешествии, из-за конкретных заданий Музея антропологии и этнографии, ему требовался особенно точный перевод.

Человека, который мог сколько-то сносно переводить с местных языков на русский, он, судя по дневнику, не нашел. Значит, речь могла идти

только о переводе на какой-нибудь западноевропейский язык. Из западных языков Гумилев лучше всего знал французский, так что ему нужен был переводчик со знанием французского. Таких африканцев Гумилев нашел среди воспитанников католических миссий.

Об одном из них через три четверти века, в 1987 году, в газету «Московские новости» пришло письмо от эфиопа О. Ф. Е. Абдуи. Прочитав только что опубликованный «Африканский дневник», он писал, что по совету миссионеров в Дыре-Дауа Гумилев взял переводчиком его родственника Х. Мариама. «Гумилев (или Гумило, как его знали в нашей семье) добрался до Дыре-Дауа 19 мая 1913 года и познакомился с дядей моего отца Х. Мариамом (до крещения Регосса), который в то время учился во французской католической школе».

В письме говорится: «По окончании своей поездки Н. Гумилев остановился в районе, называвшемся Дёра (низменность между горами Чэрчэр и массивом Аруси к северу от озера Зивай), в семье переводчика, где пробыл полтора дня». Приведены и другие интересные сведения.

Указана не только точная дата прибытия Гумилева в Дыре-Дауа (которой нет в дневнике), но и дата его отъезда оттуда на обратном пути, перед возвращением на родину: «В день отъезда поэта из нашего дома в Харэр местный землевладелец привязал своего работника за ногу к дереву (вид телесного наказания). Гумилев отвязал его и привел в Дыре-Дауа, поручив там попечению французских миссионеров. В этот же день 13 августа у моего деда родился сын, и в честь русского путешественника его назвали Гумило. (В некоторых районах Эфиопии существует традиция называть новорожденных в честь

гостя, побывавшего в доме.) Эфиопский тезка Н. Гумилева умер в 1974 году в возрасте 61 года».

Бабушку автора письма Гумилев лечил таблетками от свирепствовавшей тогда малярии. За такие таблетки давали быка или корову с теленком. Гумилев от платы отказывался. «В нашей семье сохранилось немало преданий о Гумилеве», — писал Абдуи.

Трудно судить, верны ли все сведения, приводимые в письме. По крайней мере одну ошибку автор допустил. В конце письма он утверждает, что «немало упоминаний о Гумилеве содержат записки «Путешественники в Эфиопии» Ричарда Панкхерста». Но в книге Панкхерста, крупнейшего знатока эфиопской истории, Гумилев не упомянут.

И все-таки поразительно, что через столько лет в эфиопской семье помнят о Гумилеве. И многое выглядит вполне достоверно.

А совсем недавно, уже в 2000 году, Ангисо Дуга, советник посольства Эфиопии в Москве, сказал мне, что в Лондоне живет (или жил) эфиоп, называющий себя сыном Гумилева.

«ЕСТЬ МУЗЕЙ ЭТНОГРАФИИ В ГОРОДЕ ЭТОМ»

*Африка... ждет именно гостей и
никогда не признает их хозяевами...*

Н. Гумилев

А задание Музея антропологии и этнографии? Придется вернуться в Харэр. «...Я собирал этнографические коллекции, без стеснения оста-

навливал прохожих, чтобы осмотреть надетые на них вещи, без спроса входил в дома и пересматривал утварь, терял голову, стараясь добиться сведений о назначении какого-нибудь предмета у не понимавших, к чему все это, харраритов. Надо мной насмеялись, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет — чалму, которую носят харрариты, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката (наркотического средства, употребляемого мусульманами) обладателя его, одного старого полоумного шейха».

Даже «копался в зловонной корзине для старья и нашел там много интересного. Эта охота за вещами увлекательна чрезвычайно: перед глазами мало-помалу встает картина жизни целого народа и все растет нетерпенье увидеть ее больше и больше. Купив прядильную машину, я увидел себя вынужденным узнать и ткацкий станок. После того, как была приобретена утварь, понадобились и образчики пищи. В общем, я приобрел штук семьдесят чисто харраритских вещей, избегая покупать арабские или абиссинские».

Эти предметы можно увидеть воочию. Они и сейчас хранятся в петербургском Музее антропологии и этнографии.

В Музее хранятся и четыре абиссинские картины, привезенные Гумилевым тогда же. В 1936 году музей приобрел их у художницы Кругликовой, которая получила картины когда-то от Гумилева (она была хорошо знакома с Гумилевым и Ахматовой, рисовала их портреты).

Таким был Гумилев
в 1916 г.



Анна Ахматова в 1916 г.



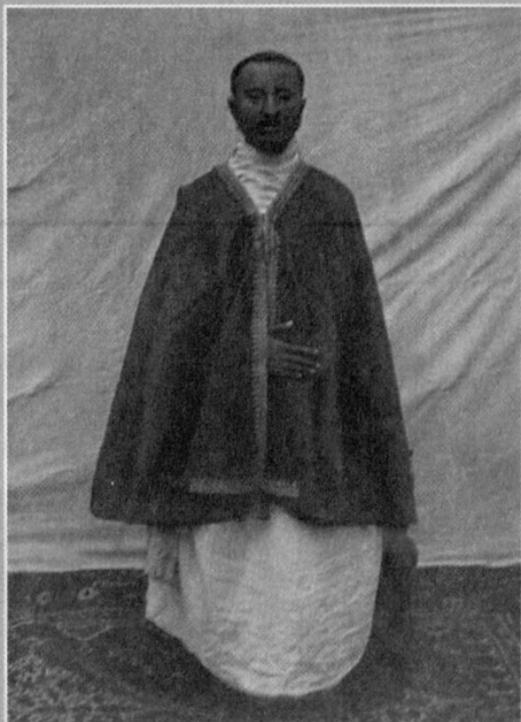
Первый сборник стихов Гумилева.



Обложка сборника
«Жемчуга»



Коля Сверчков, спутник
Гумилева в путешествии
1913 г.



Таким был будущий им-
ператор Абиссинии Хай-
ле Селассие на фотогра-
фиях, сделанных Гуми-
левым и Сверчковым.



Гумилев – вольноопределяющийся
Лейб-гвардии Уланского
полка.

Гумилев в годы войны. Силуэт
художницы Е. Кругликовой



Реальность, а не поэтический вымысел стоит за строчками:

Есть Музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалека привез,
Чують запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

И я вижу, как знойное солнце пылает,
Леопард, изогнувшись, ползет на врага
И как в хижине дымной меня поджидает
Для веселой охоты мой старый слуга.

Дикарские? Ну что ж, в Европе тогда так писали, из песни слова не выкинешь. Дело не в слове. И путешествия Гумилева, и стихи убеждают в его несомненном уважении к Африке. Да и по составу коллекций видно, что Гумилева очень интересовали предметы, которые дали бы возможность в России конкретнее судить об уровне духовной культуры народов Эфиопии и Сомали. Многие вещи связаны с обучением грамоте, подготовкой рукописей и книг, с переплетным делом. Чернильница. Доска для обучения детей грамоте. Набор инструментов для переплетного ремесла. Четыре деревянных инструмента для тиснения и подравнивания.

Может быть, эти коллекции не так уж и важны? Во многих квартирах можно увидеть привезенные из Африки маски, фигурки людей

и зверей. Но зачастую это изделия, сработанные африканцами не для себя, а специально для туристов, в расчете на вкус среднего европейского обывателя. Гумилевские же коллекции состоят из вещей, которые находились в обиходе, были частью подлинной жизни, быта, к началу двадцатого столетия уже уходящего в прошлое.

Конечно, наименования предметов, как и географических названий, могли быть записаны Гумилевым неточно, на слух. Но зачастую описания сделаны тщательно, особенно если учесть, что Гумилев не имел специальной этнографической подготовки.

Почти две с половиной сотни негативов — тоже результат экспедиции. Фотографировал и составлял опись Коля Сверчков.

Большинство снимков сделано в Харэре, Шейх-Гуссейне, Джибути и по дороге на Черчерский хребет. На снимках — самые разнообразные сцены. В Джибути — торжественное шествие мусульман во время религиозного праздника. В Харэре — не только будущий император, его жена и их дом, но и церковь, кузница, лепрозорий, батарея пушек, сенной рынок. В Шейх-Гуссейне — места, связанные с этим святым и с легендами о нем: «Пещера, в которой Шейх-Гуссейн превратил змею в камень», «Женщина, обращенная Шейх-Гуссейном в камень», «На горизонте гора, последовавшая за св. Шейх-Гуссейном из Аравии».

Запечатлены и «Абу-Муда, теперешний наместник св. Шейх-Гуссейна», «Внутренность хижины, где живет Абу-Муда». Этому наместнику пророка, назвав его Шейх-Гуссейном, Гумилев посвятил стихотворение.

Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
По плечу меня с лаской ударя,
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

Все расспрашивал он, много ль знают о нем
В отдаленной и дикой России...

В ранних поездках Гумилева угадываются стремление к эксцентричности, желание привлечь к себе внимание, попытки уйти от самого себя. И, разумеется, любопытство. Но последнее путешествие вызвано уже глубоким интересом, любовью к тем краям, стремлением их понять.

Африку Гумилеву больше уже не удалось по-видать. На всю оставшуюся жизнь – только память:

Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслону
И буду плакать долго, долго,
Припоминая вечера,
Когда не мучило «вчера»
И не томили цепи долга;
И в море врезавшийся мыс,
И одинокий кипарис,
И благосклонного Гуссейна,
И медленный его рассказ,
В часы, когда не видит глаз
Ни кипариса, ни бассейна.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД МИРНОГО ВРЕМЕНИ

*И боль, и пыль, и пушек гром...
Ах, это будет все потом,
Чего ж печалиться о том,
А может, обойдется?*

Б. Окуджава

В тридцатых годах, в детстве, я часто слышал от взрослых эти слова: «В мирное время». Мирное — это до Германской войны, до революции.

Гумилев вместе с Колей Маленьким вернулся в Петербург 20 сентября 1913-го. Сразу же, 26-го, сдал в музей привезенные коллекции. До мировой войны оставалось десять месяцев, но ее еще ничто не предвещало.

Цепи долга он чувствовал все ощутимей. Молодость с ее беззаботностью ушла. Ему шел двадцать восьмой год. Обязательства перед семьей, издательствами. Перед теми, кого вовлек в «Цех поэтов», соблазнил акмеизмом.

Жалуется Ахматовой на меланхолию, но работает по-прежнему много. Переводит французских и английских поэтов. Публикует новые стихи. С января 1914-го, после годичного перерыва, печатает в «Аполлоне» «Письма о русской поэзии».

Возобновляет занятия в университете, записывается на курсы лекций по романской и немецкой филологии, испанской литературе, старофранцузскому языку, по истории греческой литературы.

Сталкивается с новыми сложностями. «Цех поэтов» близок к распаду. Обострились отношения с Городецким. В марте 1914-го прекратил существование журнал «Гиперборей». Далеко не все просто и в личной жизни.

Его путешествие привлекло в Петербурге мень-

ше внимания, чем оно заслуживало. Гумилев не успел обобщить свои наблюдения, опубликовать их, сопоставить с впечатлениями других путешественников, о которых знал по книгам. Конечно, он и не считал главной целью подготовку путевых очерков. Главными для него всегда оставались стихи. Но все-таки, вел дневник, собирался его издать. И даже решил написать статью об африканском искусстве. Этим, как и многим другим планам, не суждено было осуществиться.

Помешала война. Но может быть, он не очень-то и спешил с публикацией своих очерков, считал эти путешествия лишь началом странствий.

А стихи? Стихи писал. «Мик. Африканская поэма». Работа над ее ранними вариантами пришла на то время. В начале 1914-го на заседании Общества ревнителей художественного слова прочитал большую поэму «Мик и Луи». Перевел двенадцать абиссинских песен. В отличие от песен в сборнике «Чужое небо» — это подлинные абиссинские песни. Там упоминаются император Менелик и государственные мужи времени его царствования. Песни помогают представить Абиссинию, какой ее видел Гумилев.

К переводам дал примечание. «Напечатанные здесь песни собраны мной в течение трех моих путешествий в Абиссинию и переданы по возможности буквально. Ни одно еще, насколько мне известно, не было переведено на европейские языки. Свежесть чувства, неожиданность поворотов мысли и подлинность положений делает их ценными независимо от экзотичности их происхождения. Их примитивизм крайне поучителен наряду с европейскими попытками в том же роде».

Он хотел опубликовать переводы. Об этом говорит последняя фраза в его примечании: «Рисунки в книге сделаны по абиссинским образ-

цам». Сама рукопись сохранилась в архиве Михаила Лозинского. Рисунков там нет, но для них оставлены чистые листы. К рукописи приложена записка без подписи и даты: «Передать Н. С. Гумилеву. Вост[очная] кол[легия] затрудняется напечатать».

Мало что из итогов путешествий увидело тогда свет. И все же Гумилев успел кое-что опубликовать еще до войны. Насколько он был сведущ в абиссинских делах, можно судить по статье «Умер ли Менелик?» Она появилась в «Ниве» в феврале 1914 года.

Почему этим императором заинтересовался один из самых распространенных русских журналов? Судьба Менелика занимала в то время многих. Мир не знал, жив ли еще этот человек, глава единственного государства в Африке, не завоеванного европейцами. Он нигде не показывался. Слухи ходили самые разные. Многие думали, что Менелика давно уже нет в живых, и только из-за дворцовых интриг это держится в секрете. В конечном итоге так оно и оказалось, хотя разрыв между смертью и официальным извещением о ней и не был так велик, как полагали.

Россию судьба Менелика волновала. Именно в его царствование между Россией и Абиссинией установились тесные связи.

У редакции «Нивы» имелся немалый круг авторов, которым можно было заказать статью. Российские дипломаты, офицеры, путешественники встречались с Менеликом, знали его. И если выбор пал на Гумилева, это уже само по себе явилось признанием его компетентности.

Гумилев познакомил читателей со слухами, будоражившими Абиссинию: о борьбе за престол, о придворных интригах, о попытках отравить Менелика. Читатель получил представление и о

подоплеке борьбы: стремлении феодалов возродить былое могущество, ослабить центральную власть и воспротивиться желанию Менелика сделать преемником внука Лиджа Иясу.

После смерти Менелика «могучие феодалы поднимут спор за императорский трон, недавно покоренные народы возмутятся, и все это окажется предлогом для европейцев разделить между собой Абиссинию», — писал Гумилев. Он даже наметил, как этот раздел может произойти, какие части Абиссинии попытается заполучить Англия, какие — Франция, какие — Италия.

Свою надежду на сохранение независимой Абиссинии он связывал с тем, что Менелик еще жив. «Если же жив Менелик — все будет по-старому. Министры из столицы Абиссинии, Аддис-Абебы, будут повелевать феодалами, сильные гарнизоны — держать в повиновении покоренные племена; белые не посмеют напасть на сплоченный, безумно храбрый и удивительно выносливый народ».

На самом деле в момент появления статьи Менелика уже не было в живых. Он умер в сентябре 1913 года. Но несколько месяцев об этом не знал никто, кроме самых приближенных к абиссинскому престолу.

Насколько сбылся гумилевский прогноз? Как только появилось известие о смерти, в стране наступило смутное время. Вспыхнула борьба за власть, и молодому Лиджу Иясу так и не удалось укрепиться на троне. Что же до вмешательства европейских стран — на зоны экономического влияния Абиссинию поделили уже до этого. Вероятно, сбылось бы и предсказание Гумилева о военном вмешательстве, но произошло то, чего он предусмотреть не мог.

Разразилась мировая война. Колониальным

державам стало не до Абиссинии. Может быть, поэтому смута кончилась через два-три года, и Абиссиния сохранила свою независимость и целостность. Впрочем, военное вмешательство все же произошло, только позднее, в 1935-м.

* * *

«Мне досадно за Африку. Когда полтора года назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпенья выслушать мои впечатления и приключения до конца», — жаловался Гумилев уже во время Германской войны.

Но как бы ни было это ему обидно, куда горше другое.

Еще в 1908 году он сетовал: «...так велик наплыв в литературу людей безграмотных и бездарных». А двумя годами позднее говорил «от лица оплеываемой справа, попрекаемой слева, робко притаившейся современной русской поэзии».

Мы сейчас склонны идеализировать ту жизнь, что была до 1917-го. Эйфория распространяется и на отношение к тогдашней литературе. Порой создается впечатление, что в начале прошлого века повсюду процветали литературные салоны и под их благотворным влиянием у читающей публики рос как на дрожжах высокохудожественный вкус, что цензуры не было и в помине.

И главное, что в литературе или, во всяком случае, в поэзии безраздельно царили лучшие: Блок, Брюсов, Бальмонт, Гумилев, Ахматова... Те, кого потом называли поэтами Серебряного века. И что эти поэты принадлежали к наиболее читаемым авторам.

Во многих нынешних статьях, публикациях и фильмах высвечиваются лишь лучшие сторо-

ны того прошлого. Если раньше период между революциями 1905 и 1917 годов принято было считать черной полосой в истории нашей страны, то теперь это же время видится в радужных тонах. Из одной крайности в другую, как это часто бывает в нашей стране. Наверно, нынешний крен не так плох, как прежний. Но скрашиваются или вообще исчезают трудности, которые приходилось преодолевать литераторам начала двадцатого века.

В обзоре русской литературы за 1911 год Чуковский писал:

«Унтеры Пришибеевы по-прежнему топтали своими сапожищами нашу литературу. Шлиссельбуржцу Н. А. Морозову за книжку "Звездные песни" опять предстоит тюрьма! А. В. Пешехонов за какие-то старые статьи присужден к заключению в крепости на полтора года! Сочинения и письма Льва Толстого, невиннейшие книги О. Дымова, Гарина и Серафимовича, автобиография Ницше, "Кобзарь" Шевченко, все это зачем-то конфисковывалось и с унылым тупоумием уничтожалось...»

Ссылаюсь на Чуковского не только потому, что он был добрым знакомым Гумилева. Чуковский тогда являлся ведущим литературным критиком. Из года в год он делал обзоры состояния отечественной словесности, считал патриотизмом не бахвальство достижениями, а борьбу со злом. Как у Некрасова:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.

Слово другому свидетелю — Аркадию Аверченко. Вот что он писал о цензурных порядках в 1908–1913 годах.

«Перечислю только то, чего нам категорически запрещено касаться.

1. Военных (даже бытовые рисунки).

2. Голодающих крестьян.

3. Монахов (даже самых скверных).

4. Министров (даже самых бездарных). А в последнем номере не пропущена даже карикатура, осмеивающая "Новое время"».

Это те темы, которых нельзя было касаться в «Сатириконе» и «Новом Сатириконе».

«Читатель! Обнажи благоговейно голову перед этим фактом», — завершал Аверченко.

У меня на полке стоит «Всеобщая история. Обработанная Сатириконом». Писали ее Тэффи, Осип Дымов и Аверченко. И «Русская история» Д'Ора. Издано в Петербурге в 1912-м. Так вот в «Русской истории», например, в главе о Павле I стоят сплошные точки. Цензура не пропустила. И только после Февральской революции книга смогла выйти под названием «История Руси при варягах и ворягах».

Конечно, тогдашние запреты — ничто перед ужасами гражданской войны и террором следующих десятилетий. Если Аверченко мог публично разоблачать цензуру, значит, она не была все-сильна. А Чуковский мог в печати издеваться над Лидией Чарской за ее «пошлость патриотоказарменную», за сюсюканья при упоминаниях дома Романовых, царя, великих князей, за то, что в «Записках институтки» у нее написано: «богатырски сложенная фигура обожаемого Россией монарха».

Дай Чуковскому волю вот так же писать обзоры литературы в советское время, какие убийственные характеристики вышли бы из-под его пера! От хорошей ли жизни пришлось ему огра-

ничить себя книжками для детей? Говорить эзоповым языком:

А кузнечик, а кузнечик,
Ну, совсем как человек,
Скок, скок, скок, скок!
За кусток,
Под мосток
И молчок!

Но все же и те давние времена не были для литераторов сплошной идиллией.

Иоанн Кронштадтский в 1898 году выпустил книгу «Несколько слов в обличение лжеучения графа Л. Н. Толстого». Поползли слухи, что влиятельный митрополит Антоний разослал по всей России секретный наказ духовенству не признавать Толстого православным.

Затем – отлучение от церкви. А в 1908-м, по случаю восьмидесятилетия Льва Великого, один из иерархов церкви – Гермоген произнес речь:

– О окаянный и презренный российский Иуда, удавивший в своем духе все святое, нравственно-чистое и нравственно-благородное, повесивший себя, как лютый самоубийца, на сухой ветке собственного возгордившегося ума и развращенного таланта, нравственно сгнивший теперь до мозга костей и своим возмутительным нравственно-религиозным злосмрадием заражающий всю жизненную атмосферу нашего интеллигентного общества! Анафема тебе, подлый разбесившийся прелестник, ядом страстного и развращенного твоего таланта отравивший и приведший к вечной гибели многие и многие души несчастных и слабоумных соотечественников твоих.

Толстому ставили в вину и то, что он защищал право людей на эмиграцию. Мы ведь охотно вспоминаем, что после революции нашу страну покинули от одного до двух миллионов человек, и называем это первой волной эмиграции. Но забываем, что в последнее десятилетие перед революцией уехало больше — из-за национальных и религиозных преследований, от нужды и лихой доли.

Самой влиятельной газетой было суворинское «Новое время», о котором такие разные люди, как Ленин и Блок, сказали одно и то же: «Помойная яма». И в августе 1917-го, когда Временное правительство ее закрыло, Блок записал в дневнике: «...очень заметное событие сегодняшнего дня... закрытие газеты "Новое время"... Я бы выслав всех Сувориных, разобрал бы типографию, а здание в Эртелевом переулке опечатал и приставил к нему комиссара: это — второй департамент полиции, и я боюсь, что им удастся стибрить бумаги, имеющие большое значение. Во всяком случае уничтожено место, где несколько десятков лет развращалась русская молодежь и русская государственная мысль».

Может быть, Гумилева и аполлоновцев те сложности не касались? Ведь журнал — не политический. И Гумилеву ни тогда, ни позднее не приходилось сталкиваться с грязью политической жизни, как, например, Блоку, который написал статью «Интеллигенция и революция», а при Временном правительстве был секретарем Чрезвычайной следственной комиссии, допрашивавшей царских сановников. Гумилев не готовил, как Андрей Белый, цикл статей: «Кризис жизни», «Кризис мысли» и «Кризис искусства». Не печатал

тал сатиры на Романовых – «Господа Обмановы», как Амфитеатров. Не предрекал, подобно Бальмонту:

Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит, став на эшафот.

Правда, написал стихотворение о Распутине, но политической окраски там нет.

Не вмешиваясь в политику, Гумилев и давление с ее стороны ощущал меньше, чем многие. Но совсем не чувствовать, конечно, не мог.

* * *

Максим Горький подсчитывал по читательским формулярам, кого читают в библиотеках, и пришел к выводу: «Крупные русские писатели не в чести у средних русских читателей».

Разве не горько было Гумилеву, что сборники стихов ему приходилось издавать самому, по двести-триста экземпляров? Тираж его журнала «Гиперборей» – около двухсот экземпляров, да и те расходились с трудом. А сочинения Анастасии Вербицкой вышли полумиллионным тиражом, хотя о самом популярном ее романе – «Ключи счастья» – в респектабельном и сдержанном словаре Брокгауза и Ефрона говорилось: «Они проникнуты тем дешевым романтизмом, который теперь встречается только в бульварных романах, рассчитанных на читателя дешевых листков».

Кто только ни зачитывался «Ключами счастья»! Первый русский двухсерийный фильм был сделан по этому роману самим Протазановым (потом, в 1917-м, – еще одна экранизация!). Даже

число поклонников Ницше, и без того немалое, умножилось с появлением «Ключей счастья», поскольку эпиграфами стали его изречения: «В теле твоём больше разумного, чем в твоей лучшей премудрости» и «В любви – доля безумия, но в безумии – доля разума».

У вымыслов Вербицкой был многотысячный читатель и почитатель, к которому она могла публично обращаться в своей напыщенно-сентиментальной манере: «Тебе, одинокому, непонятому, неудовлетворенному; тебе, черпающему забвение в вымысле...»

А вымыслы Гумилева? Сколько у них было читателей? И тем более почитателей?

«Гнев Диониса» Евдокии Нагродской. «Проблемы пола» она ставила куда острее, чем Вербицкая. Мужское начало в женщинах, женское – в мужчинах... Это дало ей деньги, славу светской львицы, свой литературный салон. Покровительствовала Михаилу Кузмину. «Проблемы пола» ему были не чужды. Да и в покровительстве он нуждался, как и лучшие тогдашние поэты.

Михаил Арцыбашев. Секс (правда, само это слово тогда еще не было в ходу) в его романах сочетался с настроением отчаяния, безнадежности, ожиданием смерти. В романе «У последней черты» (надо же, совсем как у Пикюля!) говорилось: «Жизнь – это огромное кладбище».

Из-за «Санина» Арцыбашева привлекали к суду, а в Германии и Австро-Венгрии судили переводчиков. Но скандалы только укрепляли шумную известность автора. Критики утверждали, что он сказал новое свежее слово. Даже Блок попал под общий гипноз и счел, что в Санине «ощутился настоящий человек, с непреклонной волей, сдержанно улыбающийся, к чему-то готовый, молодой, крепкий, свободный».

Какое отношение все это имело к Гумилеву? Прямое. Он жалуется Брюсову 6 апреля 1908-го: «...мое поползновение напечататься по обыкновению не увенчалось успехом, и Арцыбашев объявил, что стихи мои не подходят "по характеру"».

Да что там говорить! Одновременно со стихами Блока, Бальмонта да и самого Гумилева шли бесконечные переиздания лубочной литературы полуторастолетней давности. Неистребимый «Ванька Каин». «Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе». Этого «милорда» один только Сытин ежегодно продавал по 15 тысяч экземпляров и считал выгодным издать даже в 1916 году. Нет, не пришли еще времена, о которых мечтал Некрасов:

Когда мужик не Блюхера
И не Милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет.

Самой читаемой стала «пинкертоновщина». Этот жанр обогнал и Арцыбашева, и «милорда». Ник Картер, «русский сыщик Кобылкин», и, главное, «Нат Пинкертон — король сыщиков». В одном только Петербурге в мае 1908 года раскупили 622300 экземпляров бульварной (не Конан Дойла — нет!) сыщицкой литературы. Значит, за год — семь с половиной миллионов!

С ужасом приводя эти цифры, Корней Чуковский напоминал, что при жизни Достоевского «Преступление и наказание» вышло в двух тысячах экземпляров, что эти жалкие две тысячи продавались с 1876 по 1880 год и все никак не могли разойтись.

Сколько же поклонников было (и есть?) у

«пинкертоновщины»! Из многих миллионов брошюр-выпусков даже в Российской государственной библиотеке, крупнейшем нашем книгохранилище, почти ничего не осталось. Зачитаны, украдены. Редчайшие издания Блока или Гумилева теперь куда легче найти, чем какую-нибудь «Натурщицу-убийцу» или «Путешествие Пинкертона на тот свет». Так что даже познакомиться с этой литературой сейчас почти уже невозможно.

Кое-что все-таки удалось найти. В Российской государственной библиотеке нашел часть романа «Роза Бургер, бурская героиня, или Золотоискатели в Трансваале» – первые 1032 страницы. Сорок три выпуска. В Санкт-Петербурге, в Публичной библиотеке, – еще несколько. Это те самые цветастые брошюры, выходившие три раза в неделю – прочитал, приходи к ларьку через два дня за продолжением.

Фамилии автора, как правило, на обложке нет. Считалось, что это неудавшиеся или спившиеся литераторы и те, кого называли «вечными студентами». Далеко не все они были бесталанны. Сюжет развивается стремительно, интрига задумана увлекательно.

Я вовсе не хочу клеймить эту литературу – от Чарской – до Ника Картера. Ведь в том, что пришло на смену и называлось соцреализмом, было предостаточно бездарного и вредного. И что лучше: рассуждения о «проблеме пола» у Нагродской и Арцыбашева или полное замалчивание интимных сторон жизни, стремление все завесить ханжескими фиговыми листками? И надо ли было потом повсеместно изымать Вербицкую из библиотек?

А у той «пинкертоновщины» могли бы поучиться не только авторы шпионских повестей

тридцатых годов, которыми кормили нас, тогдашних школьников, но и создатели иных теперешних детективов.

* * *

Я вспоминаю об этой литературе, чтобы понять, на каком фоне выступал Гумилев и как он был далек от основной массы читающей публики.

В 1887 году грамотных в России было меньше десяти процентов населения. Даже в Москве больше половины жителей не умели читать и писать. Затем грамотность стала расти быстро. Но и это имело свои теневые стороны.

«Новая читательская волна хлынула в литературу: полуобеспеченные, полуобразованные, раздраженные верхами городской цивилизации, возвращенные на асфальте, воспитанные газетными фельетонами...»

«...Пишутся для столичных дикарей романы "Таинственный кинжал", "Три любовницы касира", "Мертвец-отравитель" и т. д. Порицать эти романы нельзя: раз существуют дикари, должно же быть у них свое искусство».

«Нет, это даже не дикари. Они даже недостойны носовых колец и раскрашенных перьев. Дикари – визионеры, мечтатели, у них есть шаманы, фетиши и заклятия, а здесь какая-то дыра небытия».

«Этого сплошного каннибала в русской литературе предвидели давно и с ужасом смотрели на его приближение. Но когда читаешь Герцена, Щедрина, Константина Леонтьева, Достоевского, Горького – всех, предающих мещанство анафеме, видишь, что все же оно и в сотой доле не представлялось им таким чудовищно мерзостным, каким оно встало перед нами».

Так в последние годы перед Первой мировой

войной сетовал Чуковский буквально в каждом из своих литературных обзоров.

Чему удивляться? В нашей державе многое, очень многое всегда определяли ее высшие власти. А они, как мы хорошо знаем, далеко не во все времена так уж любили образование и образованных.

Когда отправился на Восток наследник престола, будущий Николай II, программа маршрута продумана, каждый день расписан, но наследник «две недели веселится в Афинах, не осматривая даже самых интересных достопримечательностей Греции. Всегда и прежде всего удовольствия, без каких-либо стеснений, в семейном кругу, по-буржуазному», записал в дневнике товарищ министра иностранных дел.

Мы глубоко сочувствуем трагической судьбе последнего царя. Но был ли он эталоном образованности? Только в екатеринбургской ссылке прочитал и оценил некоторые из лучших творений отечественной литературы. Меньше чем за два месяца до гибели записал в дневнике, что читал четвертую часть «Войны и мира», «которую не знал раньше». На следующий день: «Мария и я зачитывались Войной и миром». Значит, когда Толстого отлучали от церкви, царь даже не дочитал «Войну и мир»? Запись 13 мая: «Начал читать сочинения Салтыкова (Щедрина)». 5 июня продолжал это чтение: «Занимательно и умно». За считанные дни до смерти, 23 июня: «Сегодня начал VII том Салтыкова. Очень нравятся мне его повести, рассказы и статьи». Неужели тоже не читал?

Мнения, однако, высказывались категорические. «Уже давно нет крупных писателей ни в одной стране, нет также знаменитых художников или музыкантов...» — писала императрица

Александра Федоровна своему мужу. И более того: «Нет настоящих "джентльменов", – вот в чем беда – ни у кого нет приличного воспитания, внутреннего развития и принципов, на которых можно было бы положиться. Горько разочаровываться в русском народе – такой он отсталый...»

А сам Николай II незадолго до своего свержения обрезал французского посла Мориса Палеолога:

– Вы мне говорите, господин посол, что я должен заслужить доверие моего народа. Не следует ли скорее народу заслужить мое доверие?...

«Государю также любви в политических вопросах ясность и прямолинейность, истины, чуждые всяких "интеллигентных" выдумок», – констатировал Сергей Юльевич Витте. В своих резолюциях Николай II называл японцев «эти макаки». Тысячи и тысячи солдат и матросов расплатились жизнями за такую ясность и прямолинейность!

Великих князей даже Суворин, хозяин верноподданного «Нового времени», в своем тайном дневнике упрекал: «всегда брали взятки», а Сергей Александрович, московский генерал-губернатор, взял как-то два миллиона.

Церковь? Об отношении многих церковников к началу русско-японской войны язвительный Витте писал: «Ведь Серафим Саровский предсказал, что мир будет заключен в Токио. Значит, только одни жидаы и интеллигенты могут думать противное».

Как воспринимал это Гумилев? Хотя потом, после революции, он любил фрондировать, говоря о своем монархизме, но, по свидетельствам современников, «очень не любил Николая II и все последнее поколение павшей династии». По воспоминаниям Анны Ахматовой, накануне Февраль-

ской революции даже хотел перевестись из лейб-гвардии Уланского Ее Императорского Величества полка: «Скоро начнется революция, и я должен буду защищать Государыню. А я не хочу». Отношение к церкви? Ходасевич: «Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видел людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия».

* * *

Ну, а другие источники, как сказали бы мы теперь, стрессов? Были и они. Даже чисто материальные. Одоевцева вспоминала: «Стихами прокормиться удалось одному Блоку в первые годы женитьбы. Правда, Блок писал невероятно много стихов, и питались они с Любовью Дмитриевной изо дня в день исключительно гречневой кашей и пили шоколад. Но все же другого случая существования на поэтические гонорары я не знала».

В записных книжках самого Блока в октябре 1915-го – крик души: "...честным" трудом литературным прожить среднему и требовательному писателю, как я, почти невозможно. Посоветуйте же мне, милые доброжелатели, как зарабатывать деньги; хотя я ленив, я стремлюсь делать всякое дело как можно лучше. И, уж во всяком случае, я очень честен».

А уж Гумилева стихи никак не могли прокормить. Счастье, что были отцовские накопления. Но дом в Царском Селе приходилось потом дачникам на лето сдавать.

Летом 1914-го Ахматова жаловалась ему: «Думаю, что у нас будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверное, тоже. С "Аполлона" получишь пустяки. А нам уже в

августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с "Четок" что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать».

А обстановка в самой литературной среде?

Александр Блок, такой внешне невозмутимый и так тонко чувствовавший:

Друг другу мы тайно враждебны,
Завистливы, глухи, чужды,
А как бы и жить и работать,
Не зная извечной вражды!

Его стихотворение «Поэты»:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.

. . . .
Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и пряно,
Под утро их рвало.
Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.

Блок проклинал тех окололитературных дамочек, весь талант которых — распространять сплетни, создавать школы злословия, плести интриги. «Они нас похваляют и поругивают, но тем пьют нашу художническую кровь. Они жиреют, мы спиваемся. Всякая шавочка способна превратиться в дракончика... Они спихивают министров... Это

от них так воняет в литературной среде, что надо бежать вон, без оглядки».

Кто же они, эти бестии? «Патронессы, либералки, актриски, прихлебательницы, секретарши, старые девы, мужние жены, хорошенькие кокоточки — им нет числа».

До чего же его довели, если он так изливался в своем дневнике. Он, рыцарь Прекрасной Дамы!

А государственный казенно-бюрократический дух? Ему, конечно, далеко было до нашей «командно-административной». Но Алексей Константинович Толстой иронизировал:

Нам на Руси любить мешает холод
И, сверх того, за службой недосуг:
Немногие из нас родятся наги —
Большая часть в мундире и при шпаге.

Сколько мы перевидали перевертышей! И как хотелось бы думать, что в те времена их не было. Увы!

Александр Александрович Оконев, офицер аристократического Орденского полка, в петербургском ресторане «Медведь» застрелил студента, который в новогоднюю ночь не встал при исполнении гимна «Боже, Царя храни». Оконев отделался тремя месяцами ареста, после чего удостоился высочайшей аудиенции. Николай II, поцеловав его в лоб, сказал: «Не надо горячиться». А через несколько лет Оконев и его жена уже ездили в поезде Троцкого. Выслужились и тут!

Все это — мир, в котором жил Гумилев; мир, в котором, по его словам, только змеи сбрасывают кожи, а мы меняем души, не тела. Не потому ли его так часто тянуло в Африку? Владимир Высоцкий в наши дни рыдал: «Лечь бы на дно, как

подводная лодка, и позывных не передавать». А Гумилев:

Ах, бежать бы, скрыться бы как вору
В Африку, как прежде, как тогда.

* * *

Правда, Гумилев все время заставлял себя быть (или, во всяком случае, казаться) оптимистом. Окрылили его и создание «Аполлона», с которым он связал несколько лет жизни, и другие успехи, выпавшие на его долю в последние предвоенные годы. И вера (может быть, самовнушение), что поэзия спасет мир.

Потому-то он, наверное, в середине 1912-го считал, хотя совсем недавно утверждал прямо противоположное: «...мы действительно переживаем поэтическое возрождение. На стихи обращено особое внимание, интересоваться ими считается элегантным, и неудивительно, что их появляется все больше и больше...».

Чуковский смотрел куда пессимистичнее. «Миновавший год был до странности беден поэзией», — писал он тогда же.

Владислав Ходасевич, ровесник Гумилева, потом вспоминал:

«Мы переживали годы, которые шли за 1905-м: годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе — тщедушные барышни босиком воскрешали эллинизм. Буржуа, вдруг ощутивший волю к "дерза-

ниям", накинута на "вопросы пола"... И незаметно надо всем этим скопилось электричество. Гроза ударила в 1914 году».

Писатель Борис Зайцев: «В предвоенные и предреволюционные годы Блока властвовали смутные миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и "короткое дыханье". Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, но руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее — поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и "нервических" девиц, богемы и полубогемы, всех "Бродячих Собак" и театральных студий был Александр Блок. Он находил отклик. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и размытость, негероичность. Блоку нужно было свежего воздуха, внутреннего укрепления здоровья [духа].

Откуда бы это взялось в то время?»

* * *

«Некоторых, вероятно, удивит и само мое отношение к "серебряному веку"... Я, вообще, не поклонник этой эпохи — яркой, но несколько блудной, особенно на ее периферии». Это мнение Наума Коржавина. «...Мое отрицание "серебряного века" не означает огульного отрицания всего написанного или всех писавших в это время. Оно касается только его атмосферы, влияние которой испытали и настоящие таланты. Влияние это было и для них неблагоприятно, но, к счастью, не тотально и не фатально: сильные индивидуальности не могут уходить от себя слишком далеко. Но в этой атмосфере ведь жили не только они. А была она такова, что в ней отсутствие редкостного ху-

дожественного дара воспринималось как отсутствие права на достоинство (если не на жизнь). Так что в определенных кругах людям ничего больше не оставалось делать, кроме как претендовать на место в царстве богов: не от нескромности, а просто потому, что это было в их представлении единственным мыслимым местом под солнцем. И все пыжились. Тот, кто еще не "творил", говорил, что "ищет себя, но еще не нашел" — такой статус еще тоже признавался достойным человека. Микроочаги такой атмосферы еще застал и я в юности».

Читая это, я вспоминал слышанное от моих друзей, родившихся в конце девятнадцатого века. Бичом среды, считавшей себя интеллигентной, говорили они, было стремление выказывать необыкновенные, неестественно сильные чувства: не говорить, а восклицать, не плакать, а рыдать, не любить, а сгорать от любви. Вычурность в чувствах, в самовыражении.

Было ли это надуманностью, игрой, маской? Но маска, как известно, если долго ее носить, прорастает, становится лицом.

А самоубийства, участившиеся среди молодежи в начале века? Покончить с собой казалось избавлением от личной трагедии, от ощущения, что не выдержишь экзамена на исключительность своего «я».

Мои старшие друзья связывали это с влиянием таких писателей, как Леонид Андреев. Стиль модерн, вошедший в моду не только в архитектуре, но и в быту, отличался прежде всего вычурностью, изломом, отрицанием простоты и естественности.

А нищезанство? Коржавин считает, что это «печать времени, лежащая не только на "талантах и поклонниках" искусства, а на всех, претен-

довавших на какую бы то ни было активность, в том числе и на революционерах. Например, на российских истолкователях марксистской теории и роли личности в истории».

К поэзии это имело самое прямое отношение. «...Как показало время, никто, даже из хороших поэтов не избежал воздействия отравленной атмосферы этой эпохи и ни для кого это не прошло совершенно безнаказанно».

Нападает Коржавин и на романтизм Серебряного века. «...Это "романтизм" особый, ибо он почти начисто лишен романтики в общепринятом смысле этого слова — хоть героической, хоть байронической, хоть идиллической».

Исключение делает лишь для Гумилева: «Героическая романтика Гумилева в счет не идет, ибо, во-первых, она была уже на выходе из "серебряного века", а во-вторых, определялась жизненной, а не литературной склонностью автора, и делалась не для литературы, где только отражалась».

Конечно, атмосфера тех лет не могла не влиять и на Гумилева. Тэффи, вспоминая о нем с большой симпатией («Я очень любила Гумилева»), сказала мягко: «Он, конечно, был тоже косноязычным, но не в чрезмерно сильной степени, а скорее из вежливости, чтобы не очень отличаться от прочих поэтов».

Да, на Гумилева повлияло и ницшеанство. Может быть, даже в большей степени, чем на многих. Почти все отмечали его стремление держаться неестественно, выделяться, не говорить, а изрекать, казаться сильной личностью.

«И ОТ СУДЕБ ЗАЩИТЫ НЕТ»

*Где-нибудь на остановке конечной
Скажем спасибо и этой судьбе.*

Б. Окуджава

*И длиною в жизнь лежит Дальний Путь,
новый во все времена.*

Р. Киплинг



«И СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ТРОНУЛ ДВАЖДЫ»

*Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.*

Н. Гумилев

В июле 1914-го Гумилев пишет Ахматовой: «...У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно... Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно... Я пишу новое письмо о русской поэзии – Кузмин, Бальмонт, Бородаевский... Потом статью об африканском искусстве... Меланхолия моя, кажется, проходит...».

Меланхолия проходит. Но кончается и привычная мирная жизнь. Через несколько дней – мировая война.

Он говорил, что доживет до девяноста лет. Но осталось только семь...

Первое военное стихотворение: «Вот голос, томительно звонок... Зовет меня голос войны».

...Сразу же пошел добровольцем. Получил медицинское свидетельство: «оказался не имеющим физических недостатков, препятствующих ему поступить на действительную военную службу, за исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, по словам г. Гумилева, он прекрасный стрелок». И свидетельство полиции Царского Села «об отсутствии опорачивающих обстоятельств».

5 августа (старого стиля) 1914 года Гумилев уже в военной форме. Его определили в гвардейский запасной кавалерийский полк, где готовили кавалеристов. А с 24 августа – «вольноопределяющийся рядового звания» в лейб-гвардии уланском Ее Величества Государыни Александры Федоровны полку. Этот полк входил в состав второй гвардейской кавалерийской дивизии.

Первый бой – 17 октября, в Литве. Потом наступление в Восточной Пруссии. Затем – Польша. За бой, в котором Гумилев участвовал 20 ноября, и за участие в конной разведке – Георгиевский крест 4 степени. 15 января 1915 года произведен в унтер-офицеры.

После боя 6 июля 1915-го – Георгиевский крест 3 степени. 28 марта 1916-го произведен в прапорщики с переводом в 5-й Гусарский Александрийский полк, который стоял севернее Двинска, на правом берегу Западной Двины. 30 марта 1917-го награжден за боевые отличия орденом Св. Станислава с мечами и бантом.

Военная карьера Гумилева не привлекала. Даже когда его отправили в петроградское Николаевское кавалерийское училище «для держания офицерского экзамена», он не дал себе труда под-

готовиться и, как явствует из послужного списка, «по невыдержании экзамена возвратился в полк».

Но боевыми наградами гордился.

Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.

С фронта посылал в Петербург стихи и рассказы. Не раз приезжал и сам, как говорилось, на побывку и по болезни. Проходил учебу в Петербурге в школе прапорщиков. Лежал в лазаретах в Петербурге. Долечивался в Крыму.

Встречался с друзьями и издателями. Устраивал литературные вечера. Выступал в «Бродячей собаке», а после того, как ее закрыли – в «Привале комедиантов».

С университетской учебой распрощался – уже окончательно. Отчислили «за неуплату». Так что, как и Ахматова, и Мандельштам, не имел высшего образования.

На военные годы приходятся его новые романы. Аня Энгельгардт, Ольга Арбенина, Лариса Рейснер. Татьяне Адамович, с которой он познакомился еще до войны, посвящен сборник стихов «Колчан».

«Колчан» вышел в 1915-м. В него вошли стихи последних четырех лет.

В декабрьском номере «Аполлона» за 1915-й – новые «Письма о русской поэзии». В первом номере за 1916-й – последняя публикация «Писем»: о стихах ближайших соратников по уже почившему «Цеху поэтов» – Мандельштама, Лозинского, Георгия Адамовича, Георгия Иванова.

В августовском номере «Ежемесячника литературных и научно-популярных приложений» к журналу «Нива» за 1916-й вышел очерк «Африканская охота. Из путевого дневника».

Там и образ Африки – той, в которую он стремился. «Европеец, если он счастливо проскользнет сквозь цепь ноющих скептиков (по большей части из мелких торговцев) в приморских городах, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой и громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад: безыменные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только Бог, скрытые в горных ущельях сплошь истлевшие леса, готовые упасть от одного толчка; он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока... и если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев».

Там же – как бы итог размышлений о судьбе Африки и о ее отношении к европейским завоеваниям. «Сколько лет англичане заняты покорением Сомалийского полуострова – и до сих пор не сумели продвинуться даже на сто километров от берега. И в то же время нельзя сказать, что Африка не гостеприимна – ее леса равно открыты для белых, как и для черных, к ее водопоям по молчаливому соглашению человек подходит раньше зверя. Но она ждет именно гостей и никогда не признает их хозяевами».

В приложении к «Ниве» («Для детей») Гумилев пытался опубликовать свою поэму «Мик». Сохранились девять гранок со штемпелями «Нива», «10 февр. 1917». Но в конце февраля петроградским журналам совсем не до Африки. Еще раньше рухнули надежды издать поэму «Мик, абиссинский раб, и Луи, обезьяний царь» в журнале «Современник». В 1915-м журнал прекратил существование. Удалось опубликовать лишь отрывки из ранней редакции «Мика» в сборнике «Колчан».

Лариса Рейснер. 1916 г.



Аня Энгельгардт – вторая
жена Гумилева.



Гумилев (в центре) в окружении молодых поэтов студии «Звучащая раковина». 1921 год.



Посмертное издание «Шатра». Ревель, 1922 год.

ПЕТРОГРАДСКАЯ

ПРАВДА

Орган Петрогр. Губери. Высшего Гос. Совет. Народа. 18-й год изд.

№ 181. Четверг.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

28) Перинкова, Ал-дра, modestовна, 24 л., дочь жандарма, учительница, беспартийная, участница П. Б. О., переписывала на машинке сведения и прокламации организации и разносила письма по поручению членов организации; сознательно предоставляла свою квартиру для членов организации.

29) Гимельфабр, Семен Григорьевич, 47 л., б. владелец Павильон-де-пари, беспартийный, зав. хоз. цементного завода; участник П. Б. О., дал согласие на снабжение оружием курьеру финской разведки и члену организации Толь; вербовал членов организации; изыскивал денежные средства для организации.

30) Гумилев, Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллогин "Из-во Всемирной Литературы", беспартийный, б. офицер. Участник П. Б. О., активно содействовал составлению прокламаций к.-револ. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности.

31) Ястребов, Николай Иванович, 32 г., кр-н Воронежской губ., член коллегии Мурманского Железкома, член правления Петрогр., центр. раб. кооператива, член С. Д. Р. П. с 1905 г. до начала 18 г. Имел сношения с главой П. Б. О. Таганцевым на предмет знакомства его, как подоста-

«Петроградская Правда» с объявлением о приговоре.

«Дело» Гумилева.

В. Ч. К.	
ДЕЛО №214224	
„Л Б О“	
Соучастники.	
(Гумилев З. С. - 104 мес.)	
ТОМ №	177
Арх. №	в 382 томах

Последняя фотография
Гумилева. Сделана в ЧК.



В начале февраля 1915-го имя Гумилева появилось в списке военных корреспондентов газеты «Биржевые ведомости», а 3 февраля был опубликован первый из очерков, которые он посылал с фронта.

Очерки «Записки кавалериста» публиковались до 11 января 1916 года в семнадцати утренних выпусках «Биржевых ведомостей» (в просторечии — «Биржевка»). Печатались они в отделе «Летопись войны», иногда с подзаголовком «От нашего военного корреспондента». Первая корреспонденция из Восточной Пруссии: «Эти шоссе-ные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жаждой стремленья вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами?»

Сама война выглядит в «Записках» чуть ли не идиллически. «Настроение у всех было самое идиллическое». Подготовка к наступлению — это «время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок». А отдых после боя? «...Среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками».

Корреспонденции написаны прекрасным языком. И чувства там переданы верно, но односторонне. Война выглядит празднично.

«Всегда приятно переезжать на новый фронт. На больших станциях пополняешь свои запасы шоколада, папирос, книг, гадаешь, куда приедешь – тайна следования сохраняется строго, – мечтаешь об особых преимуществах новой местности, о фруктах, о паненках, о просторных домах, отдыхаешь, валяясь на соломе просторных теплушек. Высадившись, удивляешься пейзажам, знакомишься с характером жителей, – главное, что надо узнать: есть ли у них сало и продают ли они молоко, – жадно запоминаешь слова еще неслышанного языка. Это целый спорт, скорее других научиться болтать по-польски, малороссийски или литовски.

Но возвращаться на старый фронт еще приятнее. Потому что неверно представляют себе солдат бездомными, они привыкают к сараю, где несколько раз переночевали, и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями».

Впечатления о войне все время перекликаются с привычной для Гумилева романтикой дальних земель. Муза Дальних Странствий не отходит и тут ни на шаг. Он признается: «...я никак не мог представить себе германцев в их естественном виде». Они казались ему то злыми карликами, то полинезийскими богами.

Рассказ о схватке с двумя немецкими солдатами: «Только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами я испытал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменяется боязнью упустить великолепную добычу».

Тот же настрой в письме к Ахматовой: «Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная: не-

достаток экзотичности покрывается более сильными ощущениями».

Для сравнения – оценка обстановки на фронте, что звучала на закрытых заседаниях Совета министров Российской империи. Протокол заседания от 4 августа 1915 года. Военный министр А. А. Поливанов: «По-прежнему ничего отрадного, бодрящего. Сплошная картина разгрома и растерянности... Уповаю на пространства непроходимые, на грязь непролазную, и на милость Николая Мирликийского, покровителя Святой Руси».

В корреспонденции Гумилева говорится об июльском отступлении 1915-го:

«...Мы перед самым их носом беспрепятственно сожгли деревню, домов в восемьдесят по крайней мере. А потом весело отступали, поджигая деревни, стога сена и мосты, изредка перестреливаясь с наседавшими на нас врагами и гоня перед собой отбившийся от гуртов скот. В благословенной кавалерийской службе даже отступление может быть веселым».

В чем дело? Не очень ясное понимание Гумилевым общей обстановки? Наверно, обычное его стремление видеть радостное: «...потом весело отступали». До веселья ли?

В опубликованных очерках Гумилева то и дело идут пустоты. Точки, точки. Это места, вычеркнутые цензурой. Что там было?

* * *

Есть разные предположения, почему с таким увлечением отправился воевать. «Пошел он на войну не из любви к ней, а в силу внутренней опустошенности. Путешествуя по разным Левантам, прожег и проиграл лучшее в жизни и воз-

жаждал боевых тревог как средства заполнить образовавшуюся пустоту». Так утверждал в статье о Гумилеве историк Н. И. Ульянов.

Значит, опустошил и прожег все лучшее в жизни своими странствиями. Подразумевается — ничемными!

Отношение к войне ему ставили в вину многие. Ульянов просто сделал это резче других. «Когда вспыхнула мировая война, и все крупные наши поэты откликнулись на нее стихами, полными тревоги за судьбы России и человечества, когда даже Маяковский написал гуманистическую поэму "Война и мир", — один Гумилев восторженно приветствовал пожар Европы».

Упрек Ульянова несправедлив. Может быть, он не знал или не разобрался, в какой водоворот шовинизма вовлекло начало той войны многих русских поэтов, даже лучших. Сами они не любили потом об этом вспоминать.

Аркадий Бухов вскоре после Февральской революции страстно их клеймил в своей статье «К псалмопевцам штыка». «Почувствовал ли кто-нибудь из них весь ужас проливаемой крови? Задумался ли кто-нибудь из них, что если войну и можно признавать, то только как кровавую необходимость, а не лезть к чужой мучительной ране со своим слюнявым поцелуем?..»

Кровавые блудословы, они упились казацкими подвигами и сладко нырнули в кровавую нирвану... Помолчите, оскверненные барабанными лозунгами...»

Как же наболело у него, если обычно такой тактичный и деликатный человек даже не пытался сдерживать своей ярости! «Что они увидели в мировом побоище?» — спрашивал он. И отвечал: «На отдых от педерастических тихих маль-

чиков "Навьиx чар" Ф. Сологубу захотелось чужой землицы:

И наши станут шире дали.
И средиземный гул войны,
О чем так долго мы мечтали,
О чем нам снились только сны.

Бальмонт вдруг, сбросив груз своего пронизательного таланта куда-то на сторону, подбоченясь, запел:

"Кто мешает биться честно?" —
Крякнуло ружье...
Мертвый книжник, трус известный,
"Баба, — прочь ее!"

Кузмин прямо скачет от радости и гаерски пришепетывает:

Мой знакомый — веселый малый,
Он даже играет в винт,
А теперь струею алой
Струится кровь через бинт.

Весело-то как... Вселенская радость! Кровь через бинт струится...

А вот Игорь Северянин — галантерейная кликуша, тот просто прослезился от умиления. Какое это было благостное желание распарывать штыками животы:

Когда отечество в огне
И нет воды, лей кровь, как воду...

Благословение народу!
Благословение войне!»

Что ж, война обычно сопровождается шовинизмом. А почва для этого была вполне подготовлена у всех держав-участниц, в том числе и в нашей стране. Великий князь Александр Михайлович, муж любимой сестры Николая II, в мемуарах, которые он издал в эмиграции, признавался, как трудно было ему преодолеть в своем характере ксенофобию. На склоне лет он возмущался идеями, которые внушались в детстве ему и другим детям в самых высокопоставленных семьях.

«Французы порицались за многочисленные вероломства Наполеона, шведы должны были расплачиваться за вред, причиненный России Карлом XII в царствование Петра Великого. Полякам нельзя было простить их смешного тщеславия. Англичане были всегда "коварным Альбионом". Немцы были виноваты тем, что имели Бисмарка. Австрийцы несли ответственность за политику Франца Иосифа, монарха, не сдержавшего ни одного из своих многочисленных обещаний, данных им России. Мои "враги" были повсюду. Официальное понимание патриотизма требовало, чтобы я поддерживал в своем сердце огонь "священной ненависти" против всех и вся».

Такое отношение к другим народам внушалось не только Александру Михайловичу и Николаю II, когда он был цесаревичем. Оно давало о себе знать в самых разных слоях общества.

В экстремальной обстановке — на фронте — предрассудки могли проявиться особенно бурно.

Бухов бросил обвинение и Гумилеву. «Гумилеву, например, резня у проволочных загородей и кровавая каша в волчьих ямах показались святым делом.

Умиляюще радостное:

И поистине светло и свято
Дело величавое войны;
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Ну, не умилительная ли картина: майор Прейскер по приказу своего начальства вешал лодзинцев, а за плечами у него серафим!»

Что ж, у Гумилева действительно были стихи, в которых он опозитизировал войну как «священный долгожданный бой». В 1915-м писал:

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед.

То же отношение к войне и в оставшемся незаконченным известном стихотворении.

Барабаны, гремите, а трубы, ревите, —
а знамена везде взнесены.
Со времен Македонца такой не бывало
грозовой и чудесной войны.

...

Кровь лиловая немцев, голубая —
французов, и славянская красная кровь.

Как отнестись ко взглядам Гумилева на войну? Можно, конечно, категорически осудить их, как это было сделано, например, в 1938-м в изданной в Москве книге «Литература и мировая война 1914–1918». «Эти факты империалисти-

ческого авантюризма и жестокости творили из крупных поэтов этой эпохи апологетов убийства как самоцели. Характерно, что в этом отношении к войне как к "охоте" Гумилев имел много единомышленников. Он здесь лишь практически осуществлял те взгляды на войну, которые были загодя выработаны идеологами русского империализма...»

Но такая оценка очень уж категорична, беспелляционна и, главное, упрощенная. Одно дело Аркадий Бухов – он писал в самый разгар событий и бросал свои гневные обвинения в лицо людям, которые были живы, пользовались влиянием и могли ответить, постоять за себя. Совсем другое – 1938 год.

Впрочем, не будем судить авторов, выпускавших книги в эти годы. Нелегкое было для них время...

Конечно, в годы Первой мировой войны и даже в ее начале, в месяцы массового военного угара, были люди, видевшие события более трезво и мудро, чем Гумилев. Но Гумилев... Напомню слова, сказанные мне о нем Анной Андреевной Ахматовой:

– Какой он политик? Наивный был человек.

К тому же – а может быть, это и есть главное объяснение – он с детства и юности привык видеть в себе воина.

Вряд ли справедливо ставить Гумилева в один ряд с поэтами, которые били в ура-патриотические барабаны, сидя в глубоком тылу. Или с Игорем Северяниным – для него армейская служба ограничилась несколькими неделями в казармах Малого Петергофа. По воспоминаниям писателя Леонида Борисова, который спал на нарах рядом с ним, Северянина почти сразу же «увулили вовсе

от военной службы (имелась у него могучая протекция, рука — то, что в наше время называют блатом)». Борисов тогда напомнил Северянину его высокопарное обещание читателям: «тогда, ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин». Северянин, нисколько не смутясь, ответил якобы:

— Дайте срок. Поведу! Еще время не настало. Я знаю когда...

* * *

Отношение Гумилева к войне не было однозначным даже в первые месяцы, когда еще не прошел общий милитаристический угар. Он писал Лозинскому 2 января 1915-го: «...Мне досадно за Африку... А ведь, правда, все то, что я выдумал один и для себя одного, ржанье зебр ночью, переправа через крокодильи реки, ссоры и примиренья с медведеобразными вождями посреди пустыни, величавый святой, никогда не выдавший белых в своем африканском Ватикане, — все это гораздо значительнее тех работ по ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых обывателей и я в том числе».

Так что его Муза Странствий, его путешествия, его Африка ему гораздо важней «работ по ассенизации Европы».

Это написано сразу после того, как Гумилева наградили первым Георгием. Где тут, в этом личном письме, упоение войной?

Ахматова считала, что уже в 1916-м он полностью разочаровался в войне. Так оно и было. Стихотворение «И год второй к концу склоняется» звучит уже не бравурно.

И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,
Забывших на полях потоптанных,
Но громких в летописи слав?

Перестал посылать в газету военные корреспонденции. Да и о собственной судьбе весной 1916-го опубликовал в газете «Одесский листок» совсем не идиллическое стихотворение «Рабочий».

Впоследствии появилось предположение, будто в этом стихотворении Гумилев предсказал свою гибель. На самом же деле он писал о Германской войне, о тех местах, где сражался, о немецких пулях и о немецком рабочем.

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седую, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.

Во время войны, как и до нее, Гумилев не проявлял враждебного отношения к немцам, к германской нации. Наоборот, с уважением относился к немецкой культуре и литературе. Достаточно вспомнить его интерес к Гофману, любовь к Гейне, увлечение Фридрихом Ницше.

Письмо Ахматовой с фронта: «Ни в Литве, ни в Польше я не слышал о немецких зверствах, ни об одном убитом жителе, изнасилованной женщине. Скотину и хлеб они действительно забирают, но, во-первых, им же нужен провиант, а во-вторых, им надо лишить провианта нас; то же делаем и мы, и поэтому упреки им косвенно падают и на нас – а это несправедливо. Мы, входя в немецкий дом, говорим "gut" и даем сахар детям, они делают то же, приговаривая "карошь". Войс-

ко уважает врага, мне кажется, и газетчики могли бы поступать так же. А рождается рознь между армией и страной. И это не мое личное мнение, так думают офицеры и солдаты, исключения редки и труднообъяснимы или, вернее, объясняются тем, что "немцеед" находился все время в глубоком тылу и начитался журналов и газет».

На фронте Гумилев грезил новыми путешествиями в Африку. Сохранились воспоминания ротмистра Ю. В. Янишевского о том, как в начале войны они с Гумилевым в качестве вольноопределяющихся проходили подготовку в Лейб-гвардии уланском полку. Узнав о любви Янишевского к природе и скитаниям, о его бродяжничестве на лодке, пешком и на велосипеде, Гумилев сказал:

— Такой человек мне нужен; когда кончится война, едем на два года на Мадагаскар.

«Сам понимаешь, как по душе мне было его предложение. Увы! Все это оказалось лишь мечтами», — сокрушался впоследствии Янишевский в одном из своих писем. А о Гумилеве вспоминал: «По вечерам он постоянно рассказывал мне о двух своих африканских экспедициях. При этом наш взводный унтер-офицер постоянно вертелся около нас, видимо, заинтересованный рассказами Гумилева об охоте на львов и прочих африканских зверюшек... Был он очень хороший рассказчик, и слушать его, много повидавшего в своих путешествиях, было очень интересно».

Когда Гумилев отличился своей стрельбой в мишень, командир эскадрона спросил:

— Где это вы научились стрелять?

Унтер-офицер сразу же выкрикнул:

— Так что, ваше высокоблагородие, разрешите доложить: вольноопределяющийся — они охотник на львов.

По воспоминаниям офицера С. А. Топоркова,

на товарищеских обедах и пирушках Гумилев читал стихи об Абиссинии, его рассказы производили сильное впечатление, обрастали легендами. «Среди же молодых корнетов были разговоры о том, что в Абиссинии он женился на чернокожей туземке и был с нею счастлив».

Путешествия занимали все больше места в его разговорах. Мечтами о поездке на Мадагаскар делился с Ларисой Рейснер. Африка постоянно присутствовала в письмах Леры и Гафиза, как называли друг друга Гумилев и Лариса Рейснер по именам героев гумилевской драматической поэмы «Гондла» и пьесы «Дитя Аллаха». Обещая взять Ларису на Мадагаскар и шуточно сетуя на ее гордый нрав, Гумилев писал: «Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится».

Понять Гумилева тех лет помогут воспоминания его младшего современника, Михаила Зощенко. Он писал о себе: «В 13-м году я поступил в Университет. В 14-м – поехал на Кавказ. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведом К. После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист, поехал добровольцем на войну».

«ЛЕРА, ЛЕРА, НАДМЕННАЯ ДЕВА»

*А небо над тобой сияло,
Твоей залито красотой.*

Н. Гумилев – Ларисе Рейснер

Историк Владимир Михайлович Турок в шестидесятых годах изучал в Ленинской библиотеке архив семьи Рейснеров. От него я впервые

узнал, что Гумилев был близок с Ларисой Рейснер. Мне это показалось тогда странным, просто невероятным. В. М. Турок видел в архиве пакет с надписью «Переписка Гумилева с Ларисой Рейснер». Судя по очертаниям пакета, в нем когда-то хранилось немало писем. Но Турок увидел его пустым. Кто-то их изъяс. Через много лет, когда Турока уже не было в живых, эти письма были изданы в Париже. Знать бы, каким путем они (или их копии) там оказались!

Рассказывал Турок много. Не могу воспроизвести все в точности и не помню, на какие источники он ссылался (а собирал он сведения и изустно). Говорил, что у Ларисы Рейснер запрашивали (то ли партийные органы, то ли ЧК) мнение о политических взглядах Гумилева, интересовались, не мог ли он во время пребывания в Англии в 1918 году установить «нежелательные связи». Она ответила, что этого нельзя исключить. Впрочем, все было очевидно и без ее свидетельств.

Уже после гибели Гумилева какая-то заезжая дама спрашивала Ларису Рейснер, кого из русских поэтов двадцатого века стоит переводить на английский язык. И Лариса назвала Гумилева чуть ли не первым.

Но Турока интересовали больше ее политические взгляды, отношения с мужем Раскольниковым, связь с Карлом Радеком, ради которого она ушла от мужа. Писать тогда об этом было невозможно. Имя Радека считалось запретным, да и Раскольников, реабилитированный после XX съезда, вскоре опять оказался в опале. Турок не мог опубликовать то, что ему удалось собрать с таким трудом, по крупицам.

Слышал я и другие рассказы. С братом Ларисы, востоковедом Игорем Михайловичем Рейснером, работал в одном институте. Литературо-

вед Виктор Мануйлов знал ее в гражданскую войну, когда был матросом на флагманском корабле Волжско-Каспийской флотилии, которой командовал Федор Раскольников. Мануйлов красочно рассказывал, как среди матросов корабля, миноносца «Лев Троцкий», началось брожение. Повод для недовольства – они лишены общения с женщинами, а у командующего Раскольникова на корабле жена. Тогда Лариса Рейснер вышла к недовольным, уверенная, с поднятой головой, в красивом (Мануйлов даже сказал «парижском») платье. Глядя в упор на стоявшего перед ней совсем еще зеленого паренька, спросила:

– Так это ты меня хочешь?

И задала такой тон, что напряжение разрядилось.

По словам Мануйлова, этот случай Всеволод Вишневский и взял за основу для своей «Оптимистической трагедии».

Этот рассказ, как и многое, что я слышал в давние годы, свидетельствовали о героизме Ларисы Рейснер, мужестве, решительности, находчивости. До издания ее переписки с Гумилевым она воспринималась лишь в одной ипостаси – как пламенная революционерка. Но эти письма позволяют увидеть ее совсем с другой стороны. В них она – не воительница, не трубадур революции, не русская Жанна д'Арк, а нежная женщина, преклоняющаяся перед любимым.

Пишет Гумилеву на фронт: «Ах, привезите с собой в следующий раз поэму, сонет, что хотите, о янычарах, о семиголовом черbere, о чем угодно, милый друг, но пусть опять ложь и фантазия украсится всеми оттенками павлиньего пера, и станут моим Мадагаскаром, экватором, эвкалиптовыми и бамбуковыми чащами, в которых чело-

веки якобы обретают простоту души и счастье бытия».

А он? «Лера, Лера, надменная дева, ты, как прежде, бежишь от меня...» «Снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность». «И в моей голове уже складывается план книги, которую я мысленно напишу для себя одного (подобно моей лучшей трагедии, которую напишу только для Вас). Ее заглавие будет огромными красными как зимнее солнце буквами: "Лера и Любовь". А главы будут такие: "Лера и снег", "Лера и Персидская лирика", "Лера и мой детский сон об орле". Но все, что я знаю и что люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу, потому что она, действительно, имеет свой особый цвет, еще не воспринимаемый людьми... Я помню все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мне хочется еще. Я не очень верю в переселение душ, но мне кажется, что в прежних своих воплощениях Вы всегда были похищаемой Еленой Спартанской... так мне хочется Вас увезти». «Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя».

В своей драме «Гондла» главную героиню он назвал «Лера» (а себя — «Гафизом»).

Но как недолго это длилось! Первое из сохранившихся писем Гумилева к Рейснер датировано 23 сентября 1916 года. Через четыре месяца, 22 января, он еще пишет ей: «Леричка моя, какая Вы золотая прелесть... во всем, что Вы делаете, что пишете, так чувствуется особое Ваше очарование». А через две недели, в письме от 6 февраля, уже не «Лери», не «Леричка», а сухое — «Лариса Михайловна».

Она, даже поняв, что он охладел, пишет без тени упрёка:

«В случае моей смерти все письма вернутся к Вам. И с ними – то странное, что нас связывало, и такое похожее на любовь.

И моя нежность – к людям, уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей – стала творчеством... Будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог».

Что произошло? Из-за разницы взглядов на происходившие бурные события в России? В декабре Гумилев писал Ларисе Рейснер: «...это непростительное мальчишество с моей стороны разбирать с Вами проклятые вопросы. Я даже не хочу обращаться к Вам. Вы годитесь на бесконечно лучшее». Обещал поехать с нею на Мадагаскар. «На Мадагаскаре все изменится». Что это означало? Уйти от «проклятых вопросов»?

Политика никогда не играла в жизни Гумилева сколько-либо заметной роли. Конечно, совсем уйти от «проклятых вопросов» не мог даже он. На 1916 год пришлось его разочарование в войне. Затем – всеобщее брожение и в низах, и в верхах. Убийство Распутина. Февральская революция. Отречение императора.

Когда я расспрашивал Одоевцеву, ее ответ меня поразил. Гумилев объяснял ей свой разрыв с Ларисой Рейснер. Разногласия по общественным вопросам он не упоминал – во всяком случае она об этом не помнила. А говорил с оттенком пренебрежения – Лариса, мол, сразу же согласилась идти с ним в «меблирашки». Лариса призналась потом Ахматовой, что он повел ее в дом

свиданий на Гороховой: «Я его так любила, что пошла бы куда угодно».

Еще Гумилев сказал, что Лариса его спросила:

– Когда же мы обвенчаемся?

А он будто бы ответил:

– На профурсетках не женятся.

Это слово «профурсетка» было живо в тридцатых годах. Я слышал его. Так говорили о женщинах, не заслуживающих уважения.

Почему Гумилев назвал ее так? Ведь после Ахматовой, Лариса Рейснер была, вероятно, самой образованной и многосторонне одаренной женщиной в его жизни. Из его писем видно, что он советовался с ней, считался с ее мнением. Даже перед разрывом признавался: «И все-таки я счастлив, потому что к радости творчества у меня примешивается сознание, что без моей любви к Вам я и отдаленно не мог бы надеяться написать такую вещь».

Можно ли верить рассказу Одоевцевой? Гумилев, увы, умел обижать женщин. Пример тому – история с Елизаветой Дмитриевой. Но на Дмитриеву он был обижен, оскорблен, как мужчина, как любовник. А тут? По всему видно, что Лариса его бесконечно любила.

* * *

После разрыва Рейснер еще много лет возвращалась к памяти о нем. И горькая обида сочетается с восхищением и любовью. «Каждая новая книга Гафиза – пещера пирата, где видно много похищенных драгоценностей, старого вина, пряностей, испытанного оружия и цветов, заглохших без воздуха, в густой темноте. И незаконная в каком-то великолепном ослеплении муза его идет высоко, и все выше, не веря, что гнев,

медленно зреющий, может упасть на нее, на ее певучую голову, лишенную стыда и жалости».

И все же: «Если бы перед смертью я его видела – все ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, Гафиза, уroda и мерзавца».

Однако распространено мнение, что Гумилев оставил ее из-за политических разногласий. Ссылаются на его фразу: «Развлекайтесь, но не занимайтесь политикой». Но этот совет он дал «Ларисе Михайловне» в открытке от 30 мая 1917 года, когда между ними уже несколько месяцев не было близких отношений. А это были месяцы – с января до конца мая 1917 года, когда так менялась судьба России и так менялись люди! Лариса Рейснер в мае была, конечно, не той, что в январе.

С 1918-го она – член партии большевиков. Ее носило по фронтам гражданской войны. Где Рейснер только ни была! В горячих боях Восточного фронта. В «Известиях» идут ее «Письма с фронта». Потом – комиссар Балтфлота. Волжско-Каспийская флотилия. Афганистан, где Раскольников был послом.

Незадолго до смерти – поездка в Германию и книга «Гамбург на баррикадах».

В последние месяцы жизни, в конце 1924-го и в 1925-м, – в комиссии Троцкого по улучшению качества продукции.

Прожила Лариса Рейснер всего три десятилетия. Меньше, чем Гумилев. Вошла в историю как герой и певец революции.

Ей было двадцать, когда она встретила Гумилева. Ему – тридцать. Кто знает, кем бы Лариса Рейснер стала, если бы он ее не оставил.

Ведь она писала ему: «Потому что действительно есть Бог». И отреклась от Бога, вступив в большевистскую партию после их разрыва.

В марте 1920-го Лариса Рейснер написала длинное письмо-исповедь Михаилу Лозинскому, другу Гумилева: «Вся моя двадцатилетняя жизнь рушилась...», «...совсем сломанной и ничего не стоящей я упала в самую стремнину революции».

Да и в конце жизни – была ли она такой твердокаменно убежденной, какой ее изображали? Карл Радек, с которым Рейснер находилась в Гамбурге во время восстания немецких рабочих, заметил: «...я чувствовал, что ее поездка в Германию – бегство от неразрешенных сомнений». Радек писал это уже после ее смерти. Кому, как не ему, знать Ларису тогда? Он был, наверно, ее последней любовью.

Чему посвятила бы такая одаренная женщина свой талант и труд, если бы не оказалась тогда, в начале 1917-го, «совсем сломленной». Но Гумилеву, по-видимому, ее талант не был нужен. Скорее всего, его не очень интересовало, как сложится ее жизнь и кем она станет.

В 1920-м Мандельштам как-то сказал Арбениной, что Лариса жалуется – Гумилев с ней не кланяется. Арбенина вспоминала: «Растроганная, я стала бранить Гумилева за то, что он "не джентльмен" в отношении женщины, с которой у него был роман. Он ответил, что романа не было (он всегда так говорил), а не кланяется с ней потому, что она виновата в убийстве Шингарева и Кокошкина». Лидеры кадетской партии Андрей Шингарев и Федор Кокошкин были зверски убиты матросами в Мариинской больнице в 1918-м. Но какое отношение к этому имела Лариса Рейснер?

Она приходила к Ахматовой, помогала ей продуктами и одеждой, прислала посылку даже из Афганистана.

* * *

Как же глубок был след, оставленный Гумилевым в ее сердце! Раскольников страдал от этого в течение всех лет супружеской жизни. В 1923-м, осознав, что обожаемая им «Ларисочка», «Ларусенька», «Ларисеночек», «Лебединочка» все-таки ушла от него, он увидел в этом «рецидив гумилевщины, который, как мне теперь ясно, и создал весь наш мучительный и острый кризис».

Как свойственно было тогда большевистским деятелям, он на примере личной жизни перешел к широкому социальным обобщениям, усмотрел в частном случае пагубное влияние на советское общество: «К сожалению, гумилевщина – это яд, которым заражены даже некоторые ответственные коммунисты». «Гумилевщина – это погоня за сильными чувственными ощущениями вне семьи». И с возмущением писал «о той эпидемической вакханалии нескончаемых и новых браков, что творится сейчас в Москве в советских, и, в частности, в коммунистических семьях».

А идеал семьи видел «на примере Надежды Константиновны и Владимира Ильича».

Письма Раскольникова Ларисе Рейснер трудно читать без сочувствия к нему. Гумилев тоже одно время писал ей нежные послания, но за ними не скрывалось и малой доли такой любви, такого обожания. Раскольникова не останавливало, что его исполненные нежности письма перлюстрируются, их читают чужие люди. Он знал это: «Находятся такие негодяи, которые вопреки

закону проявляют любопытство насчет содержания полпредских писем». А письма эти – крик души.

Писем Радека я не видел, а его статья «Лариса Рейснер» написана сдержанно. Но и он упомянул о влиянии Гумилева.

...Мы все знаем, что о Гумилеве десятилетиями не писали. Но только ли о нем?

Вот книга «Лариса Рейснер в воспоминаниях современников». Сборник, изданный в Москве в 1969-м. Имя Раскольниково не упомянуто вообще. Говорится, что Лариса Рейснер отличилась героизмом в Волжско-Каспийской флотилии, что она совершила в седле тридцатидневный переход из Кушки в Кабул и несколько лет жила в Афганистане. Но читатель так и не поймет, почему она оказалась в той флотилии и в Афганистане. О том, что ее муж был командующим флотилией, а затем полпредом в Афганистане – ни слова. Нет как нет и Карла Радека.

А вот «Избранное» Ларисы Рейснер. Издано в Москве в 1980-м. Открывается большой статьей «Лариса Рейснер». Ни Гумилева, ни Раскольникова, ни Радека – не было их в ее жизни.

Какое представление тогда дают эти книги о Ларисе Рейснер?

Так что сведения не только о жизненном пути самого Гумилева, но даже о близких ему людях – тропинках, которые к нему ведут, – еще искать и искать.

ВО ФРАНЦИИ И В АНГЛИИ

*Куда мне плыть – не все ль равно,
И под какими парусами?*

Н. Гумилев

Новый 1917 год он встретил в окопах, в снегу, у Северной Двины, близ деревни Грютерсгоф.

10 января на общем собрании офицеров было объявлено о частичном расформировании полка (сокращении числа эскадронов с шести до двух) и о переводе многих гусар в Стрелковый полк.

Должно быть, душа Гумилева бунтовала. Хотелось новых впечатлений. 22 января пишет Ларисе Рейснер: «Я начал сильно подумывать о Персии. Почему бы мне на самом деле не заняться усмирением бахтиаров?»

На следующий день приказом по полку прапорщик Гумилев прикомандирован к корпусному интенданту для закупки сена и отправлен в Новгородскую губернию. Остановился в деревне Окуловке. Оттуда наезжал в Петроград и однажды даже в Москву.

Близилась Февральская революция. 9 (22) февраля Гумилев написал Ларисе Рейснер из Окуловки, что полковник, в распоряжение которого он был направлен, застрелился.

26 (11 марта) февраля заезжал в Петроград, звонил Ахматовой. «Здесь цепи, пройти нельзя, а потому я сейчас поеду в Окуловку». Ее впечатление: «Он очень об этом спокойно сказал – безразлично...»

В тот день войска в Петрограде уже стреляли по демонстрантам. Полтораста убитых. На следующий день Петроград охвачен восстанием. Рабочие братаются с солдатами, овладевают арсеналами.

лом, общественными зданиями и даже Зимним дворцом. Еще через день, 2 (15) марта создано Временное правительство. Император отрекся от престола. Затем отказался принять корону великий князь Михаил.

Что чувствовал Гумилев в эти дни? Если он был таким убежденным монархистом, как его часто изображают, он должен был страшно переживать и более того – действовать. Но подобных сведений нет.

В свой полк он уже не вернулся. 8 (21) марта был по болезни помещен в 208-й петроградский городской лазарет, что на Английской набережной. В этот день арестованы Николай II и его семья. В ближайшие недели в Петроград вернутся Каменев и Сталин, затем Ленин и Троцкий. Идут массовые демонстрации под антивоенными лозунгами. Временное правительство признает право на независимость Польши – тех земель, где сражался Гумилев.

Как он ко всему этому отнесся – свидетельств нет. Участвовал в организационном собрании «Союза писателей», нового литературного общества. В лазарете продолжал работать над повестью «Веселые братья», читал ее Ахматовой и Лозинскому. У Лозинского же, вероятно, часть времени и жил.

Желания вернуться в полк не проявил. Как сказано в биографической справке, составленной Павлом Лукницким, «искренне и наивно возмущался несобранностью, анархией в войсках, тупым мышлением. Постоянно повторял, что без дисциплины воевать нельзя».

Отказался окунуться в революционные события. Стал хлопотать о переводе в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт, где

воевали войска союзников по Антанте. На хлопоты ушел весь апрель. В начале мая – добился назначения. Приказ датирован 8 мая.

В хранящихся в Военно-историческом архиве документах есть удостоверение о материальном и денежном содержании в 5-м гусарском Александрийском полку, выданное Гумилеву накануне, 7 (19) мая. Там сказано, что кроме жалованья и ряда других сумм ему вручены деньги:

на обмундирование	300 руб.
на обзаведение предметами домашнего обихода	300 руб.
на теплые вещи	150 руб.
на выюк	75 руб.
на покупку седла	75 руб.
на покупку лошади	299 руб.
на покупку револьвера, шашки и других принадлежностей.....	100 руб.

Были даны деньги также «на дрова для варки пищи, отопление и освещение по 8 марта 1917 года», но сумма не проставлена. Почему по 8 марта? Указано, что «прапорщик Гумилев 8 марта сего года эвакуирован по болезни и в полк не прибывал».

Был этот документ дан Гумилеву в связи с его отъездом за границу? И успел ли он получить это денежное довольствие, как и орден Станислава, которым был награжден по приказу от 30 марта?

Во всяком случае при отъезде получил к заграничному паспорту 1500 рублей. Был также зачислен корреспондентом в газету «Русская воля» с окладом 6800 франков в месяц. Правда, скоро этой газеты не стало.

Ехать надо через Европу. Новые странствия. На первый взгляд, не такие уж далекие – Лондон, Париж. Но ведь идет война. Туда не доберешься, как прежде – садись в поезд и за какие-то три дня спокойно пересечешь всю Европу. Теперь надо морем. Долго и опасно – германские подлодки, мины...

Гумилев торопился. 15 (28) мая выехал из Петрограда. Через два дня – в Швеции. Стокгольм, Христиания (Осло), Берген. Последняя открытка Ларисе Рейснер: «...развлекайтесь, но не занимайтесь политикой».

Из Бергена приплыл в Лондон к концу мая по старому стилю, к середине июня по новому. Жизнь по старому календарю для него кончилась.

Затем – в Париж, для последующей отправки в Салоники. Но уже на следующий день оказался прикомандирован в распоряжение представителя Временного правительства во Франции генерала М. И. Занкевича. Назначен офицером для поручений при военном комиссаре Временного правительства Е. И. Раппе.

Из Петрограда требовали срочно отправить в Салоники Гумилева и других «недоехавших» туда офицеров. Но Гумилева, да и не только его, Париж привлекал больше. А пока шла переписка, произошла Октябрьская революция, и вопрос о Салониках отпал.

В Париже Гумилев оказался под началом человека, каких ему до тех пор приходилось встречать не часто. Рапп, адвокат по профессии и эсер по взглядам, был старым политэмигрантом. После Февральской революции его назначили уполномоченным Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных действий

министров и прочих высших должностных лиц. Секретарем этой комиссии, как известно, был Александр Блок.

Раппу поручалась разборка архива бывшей «охранки», заграничного охранного отделения в Париже. В его руках могли оказаться материалы подготовленной там одной из самых нашумевших подделок двадцатого века — «Протоколов сионских мудрецов». Но вряд ли у Раппа и Гумилева было время скрупулезно заниматься всем этим. Срок им был отпущен короткий. Всего несколько месяцев. За Февралем уже маячил Октябрь.

И заниматься надо было не столько архивом «охранки», сколько волнениями в русских бригадах, отправленных во Францию на помощь союзникам.

Вскоре после прибытия Гумилева солдаты Первой русской особой бригады, размещенной в лагере ля Куртин на юго-западе Франции, требовали возвращения на родину. Сказалась тоска по дому и тревога за происходившее там. Большую роль играла и агитация большевиков. Неприязнь солдат к офицерам усилилась так, что командованию пришлось вывести офицеров из лагеря. Гумилев, как и Рапп, выступал против этих настроений и за продолжение военного сотрудничества с союзниками.

Конфликт разросся настолько, что в начале сентября пришлось подавлять мятеж. Были вызваны русские артиллеристы. Лагерь обстреляли. Зачинщиков арестовали.

Сохранились отрывки из составленного Гумилевым описания тех событий. Как и некоторые другие материалы, связанные с деятельностью Гумилева во Франции, они находятся в Центральном государственном военно-историческом архиве.

ком архиве в Москве. В черновиках отчетов, написанных Гумилевым, говорилось:

«С получением известий о произошедшей революции в Париже возник ряд русских газет самого крайнего направления. Газеты, а также отдельные лица из эмиграции, получив свободный доступ в солдатскую массу, повели в ней большевистскую ленинско-махаевскую пропаганду, давая даже зачастую неверные информации, почерпнутые из отрывочных телеграмм французских газет. При отсутствии официальных известий и указаний все это вызвало брожение среди солдат. Последнее выразилось в желании немедленного возвращения в Россию и огульной враждебности к офицерам».

И дальше – подробное описание событий. Не припомнили ли Гумилеву в августе 1921-го эту его деятельность и борьбу с большевистской пропагандой? Ну еще простили бы отношение к махаевщине (так называли, по имени В. К. Махайского, движение, считавшее люмпенство опорой революции, а интеллигенцию – врагом). Но прямое осуждение большевистской ленинской пропаганды! Такого не прощали.

Не это ли он предвидел в сентябре 1917-го, когда писал:

За службу верную мою
Пред Родиной и комиссаром
Судьба грозит мне, не таю,
Совсем неслыханным ударом.

Обязанности Гумилева во Франции были разнообразны. Он готовил проекты приказов комиссариата, записывал телефонограммы, делал копии нужных документов. Занимался и деятельностью, как сказали бы сейчас, гуманитарной. От

имени комиссариата переправлял продуктовые посылки русским солдатам, оказавшимся во французских госпиталях.

По поручению военного комиссара Временного правительства Гумилев распространял среди солдат и офицеров книги и брошюры, «Социалистическая партия и цели войны», «Французская революция и русская революция».

Социалистическая литература и Гумилев! Правда, это была не большевистская литература. Но все же. Еще один штрих к портрету Гумилева.

После Октября работа комиссариата Временного правительства во Франции сворачивалась, вскоре он был расформирован. Гумилев просил об отправке в Персию, на Месопотамский фронт. Подал два рапорта, один – стихами: «...Наш комиссариат закрылся, я таю, сохну день ото дня, взгляните, как я истомился – пустите в Персию меня!»

Русский военный агент (военными агентами в России называли военных атташе) в Англии генерал Ермолов в начале января 1918-го сообщил о согласии английского командования на отправку в Персию группы русских офицеров, в их числе Гумилева.

Так Гумилев оказался в Лондоне. Но события в России развивались бурно. Большевики выводили страну из войны. Власти союзников уже не знали, как им относиться к тем русским офицерам, которые оказались вне пределов России: будут ли они участвовать в войне, несмотря на позицию нового российского правительства? Поэтому англичане не дали денег на отправку русских офицеров в Персию. Генерал Ермолов решил вернуть Гумилева из Лондона обратно в Париж, но и это оказалось невозможно: француз-

ское правительство запретило русским въезд во Францию.

Ермолов дал Гумилеву на возвращение в Россию 54 фунта стерлингов и послал 9 января генералу Занкевичу в Париж телеграмму: «За невозможностью откомандирования его обратно во Францию отправляю его первым пароходом в Россию».

Гумилев все-таки задержался в Лондоне еще на три месяца. С помощью Бориса Анрепа, старого друга Ахматовой, устроился на работу в шифровальный отдел русского правительственного комитета. Один из его знакомых написал ему из Парижа: «Мы обрадовались, узнав, что Вам удалось пристроиться в Лондоне». Но комитет, как и все представительства добольшевистской России, доживал свои последние дни. Надо было принимать окончательное решение.

Документы о пребывании Гумилева во Франции и в Англии тщательно изучал И. А. Курляндский. Он пришел к выводу: «Таким образом, возвращение Гумилева в Россию не было вызвано патриотическими соображениями, как это объяснялось сыном поэта О. Н. Высотским, а было абсолютно вынужденным, так как являлось исполнением приказа военного начальства, нарушить который Гумилев не мог. К тому же он находился в тисках материальной необеспеченности. Возможно, высылка Гумилева была инспирирована английским правительством по какой-то тайной договоренности с новой властью в России, но это — гипотеза, требующая дальнейшей проверки».

Выводы эти не бесспорны. Насколько был обязателен для Гумилева приказ военных представителей Временного правительства, отданный после свержения этого правительства? А с 3 мар-

та Россия вышла из войны уже официально – подписан Брестский мир.

Гумилев и не подчинился. Приказ «первым пароходом в Россию» был дан в начале января, а уехал он в апреле.

Каков весь комплекс причин, по которым Гумилев сперва хотел задержаться во Франции, затем – в Англии, а в конечном счете вернулся? На этот вопрос трудно было бы ответить и самому Гумилеву. Две революции, одна за другой – полное смятение в душе!

* * *

Чем занимался Гумилев в Париже и Лондоне помимо служебных обязанностей?

«Мы с Николаем Степановичем виделись каждый день почти до его отъезда в Лондон... Мы с Николаем Степановичем прогуливались почти каждый вечер в Jardin des Tuileries», – писал Ларионов. Он и его жена Наталья Гончарова «брали Ник. Степ. каждый вечер с собой в театр Шатлэ, где давались балетные русские спектакли», – все полтора месяца, пока балет Дягилева выступал в Париже. Кому же было лучше знать тогдашнего Гумилева?

Что же вспоминает Ларионов?

«Самой большой его страстью была восточная поэзия, и он собирал все, что этого касается». Хотел переделать свои пьесы «Гондла» и «Феодора» в либретто для дягилевского балета, правда безуспешно. Встречался со многими интересными людьми. Ларионов и Гончарова рисовали его – и отдельно, и с Дягилевым, и с Аполлинером. На одной из акварелей Гончаровой изображен Гумилев в Африке.

Влюбился в Елену Дюбуше, дочь известного хирурга, невесту американца Ловела. Посвятил ей немало стихов.

Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?!

Подарил ей альбом стихов, в котором написал:

Будет в библиотеке стоять
Вашего расчетливого внука
В год две тысячи и двадцать пять.

Другой почти такой же альбом оставил в Лондоне Борису Анрепу. Эти стихи были изданы вскоре после смерти Гумилева. Сборнику дали название: «К синей звезде».

О пребывании Гумилева в Париже Ларионов писал: «...Гумилев, которому очень хотелось задержаться в Париже, желал так или иначе соединиться с русским балетом (его командировка была на Балканы). Чтобы его оставить в Париже, я и Нат. Серг. познакомили его с полковником Соколовым, который был для русских войск комендантом в Париже». Они познакомили Гумилева и с Раппом, и тот «предложил ему место адъютанта при нем самом».

Либретто не получилось – у Гумилева не было опыта. Дягилев со своей труппой уехал в Испанию. У Ларионова и Гончаровой было плохо с деньгами. «У Ник. Степ. также прекратилось жалование, так как прекратилась и должность. Он выхлопотал себе командировку в Лондон, где еще оставались временно некоторые учреждения, пред-

назначенные для ликвидации русских военных заказов, сделанных в Англии».

Следы парижской деятельности Гумилева сохранились и благодаря газете «Русский солдат-гражданин во Франции». Выходила она в Париже после Февральской революции. Издавали ее офицеры и солдаты русских частей, отправленных воевать на Западный фронт. Во время пребывания Гумилева в этих частях редакция поместила два материала, связанные с его именем.

Первый, совсем маленький, в номере за 18 августа 1917 года, в информации под заголовком «Литературное утро в "Доме Русского солдата"». К Гумилеву относятся две фразы: «В программе стояли имена еще двух известных русских поэтов: Н. Минского и Н. Гумилева, находящихся в настоящее время в Париже. Но, к сожалению, г. Минский в этот день был на фронте, а г. Гумилев присутствовал, но неожиданно был вызван по спешному делу, о чем публика сожалела».

Второй материал, опубликованный 4 ноября, – рецензия Гумилева на изданный во Франции сборник стихов поэта Никандра Алексеева «Венок павшим».

С материалами этой газеты меня познакомил известный историк В. Л. Янин. Он получил их от Жана Бланкоффа, профессора славистики Свободного университета в Брюсселе. Его отец, Борис Бланкофф, по происхождению наполовину русский, наполовину бельгиец, работал в этой газете.

Газета печаталась на очень плохой бумаге. Только четыре экземпляра – на хорошей, для потомства. Вот один такой комплект и сохранился в их семье. По просьбе Янина Бланкофф просмотрел все газеты – упоминаний о Гумилеве там больше нет.

А о лондонской жизни Гумилева какое-то представление дают письма, которые Борис Анреп послал Глебу Струве в 1968 году, за несколько месяцев до своей кончины. Анреп пишет, что виделся с Гумилевым каждый день в 1917 году, когда тот работал в шифровальном отделе Русского правительственного комитета в Лондоне. (Память изменила восьмидесятишестилетнему Анрепу – речь идет не о 1917-м, а о 1918 году.)

В Лондоне Анреп ввел Гумилева в салон леди Оттолайн Моррел, где бывали знаменитые литераторы, художники, артисты. Среди ее гостей можно было встретить Олдоса Хаксли, Генри Джеймса, Томаса Элиота, Дэвида Лоуренса, Льва Бакста, Сергея Дягилева, Вацлава Нижинского.

Из письма Олдоса Хаксли (июнь 1917-го): «Я встречаюсь с известным русским поэтом Гумилевым (о котором до сих пор никогда не слышал), он также редактирует их газету "Аполлон". Мы с большим трудом объяснялись друг с другом по-французски – языке, на котором он говорит, заметно запинаясь, а я спотыкаюсь и ошибаюсь хуже некуда. Тем не менее он, кажется, довольно интересен и приятен».

Еще интереснее воспоминания Честертона. Он рассказал о приеме в доме леди Джуллиет Дафф и особенно отметил «русского в военной форме». Этот русский – Гумилев – говорил так любопытно, что гости не прервали беседу, хотя началась бомбежка. «Он произносил непрерывный монолог по-французски, который нас всех захватил».

Правда, сами гумилевские идеи не увлекли Честертона, наоборот – вызвали у него протест и даже насмешку.

«В том, что он говорил, присутствовала известная черта, характерная для его нации, черта, которую многие пытались определить и которую,

упрощая, наилучшим образом можно выразить так: нация эта обладает всеми человеческими талантами, за исключением здравого смысла. Он был аристократ, землевладелец, офицер одного из прославленных царских полков, человек всецело старого режима. Но было в нем и нечто такое, из чего сделан всякий большевик, нечто, что я чувствовал в каждом русском, с которым мне приходилось общаться. Могу лишь сказать, что, когда он выходит в дверь, чувствуешь, что с таким же успехом он мог бы вылезти в окно. Он не коммунист – он утопист, а его утопия куда безумнее какого бы то ни было коммунизма. Его практическое предложение сводилось к тому, что только поэтам должно быть позволено управлять миром. Он вежливо объяснил, что он поэт. Однако он был столь учтив и любезен, что выбрал меня, поскольку и я поэт, на роль абсолютного и самодержавного правителя Англии. Тем же манером Д'Аннунцио был возведен на итальянский престол, а Анатолий Франс – на французский».

Честертон пытался возражать, но безуспешно. «От всех этих сомнений он, однако, отмахнулся. Он верил, что пока политики будут поэтами или, во всяком случае, творцами, они не смогут ошибаться или не понимать друг друга».

В Англии Гумилев познакомился и с ирландским поэтом Уильмом Йейтсом. По пути в Париж дал интервью еженедельнику «Нью эйдж».

Бумаги, которые Гумилев оставил в Лондоне Борису Анрепу перед возвращением на родину, оказались потом у Глеба Струве. На основе этого архива и свидетельств художников Ларионова и Гончаровой Струве писал: «Гумилев в Париже бредил Востоком и Африкой». Наталья Гончарова тогда и нарисовала его верхом на жирафе.

Среди оставленных Гумилевым бумаг есть и

«Записка относительно могущей представиться возможности набора отрядов добровольцев для французской армии в Абиссинии».

Это рукопись на французском языке. Подготовлена, очевидно (хотя дата на ней и не поставлена), во второй половине 1917-го. Зачем? Достаточно вспомнить громадные потери французской армии в битвах у Вердена и на Марне, чтобы представить, насколько нуждались тогда страны Антанты в солдатах. Конец войны не видно. А велась она не только в Европе, но и в Германской Восточной Африке, совсем неподалеку от Абиссинии.

В «Записке» сказано, что набирать воинов в Абиссинии целесообразнее, чем в других странах Африки, из-за высоких боевых качеств абиссинцев. О народе амхара, крупнейшем в Абиссинии, замечено: «В Гондаре и Шоа живет население от шести до семи миллионов чистокровных абиссинцев, почти сплошь православных и обладающих следующими качествами: храбростью и стойкостью в бою (это победители итальянцев); выносливостью и привычкой к лишению — до такой степени, что человек опережает лошадь на пробеге в 30 километров и что при переходах, длящихся несколько недель, каждый человек несет на себе запас провианта, необходимый для его прокормления. Будучи горцами, они способны выносить самый суровый климат».

О других народах: «Племена Уиламо и Уоло... — хорошие воины... В эту же категорию можно отнести племя Галла Коту...»

Племя Галла Арусси обладает теми же качествами, что и абиссинцы, и вдобавок гигантским ростом и атлетическим сложением...

Данакильцы, сомалийцы и часть харраритов храбры, ловки и воинственны».

Все характеристики составлены под одним углом зрения: возможность участия в мировой войне. Об одних народах и племенах сказано, что «из них выходят хорошие воины, но они скорее годятся для обозных и санитарных частей»; о других, что они — «храбры, ловки и воинственны, но с трудом подчиняются дисциплине. Их можно было бы использовать для образования отряда разведчиков...».

На эти оценки повлияли колониальные стереотипы. И все же знание страны отличное. Продумал, как проводить набор воинов, какие потребуются расходы, во сколько обойдется закупка лошадей и мулов для армии.

Что собой представляет текст, сохранившийся у Глеба Струве? Копия документа, которому был дан ход, или оригинал, так никуда и не представленный?

В «Записке», при всей ее лаконичности, есть такие фразы: «Я прожил три месяца в Хараре, где бывал у раса (деджача) Тафари, некогда губернатора этого города». И еще: «Политическая обстановка в Абиссинии следующая: страна управляется императором (в данный момент императрицей, которой помогает знакомый мне князь, рас Тафари, сын раса Маконена)». Речь опять идет о Хайле Селассие, который в 1916 году стал регентом Эфиопии. Значит, Гумилев продолжал следить за событиями в Эфиопии.

* * *

Эту книгу я нашел у букинистов в Кейптауне. Искать в Африке русские мемуары! Не странно ли? Но ведь до последних лет в российских библиотеках подобная литература хранилась за

семью печатями, в спецхранах. А многого вообще нет, даже в Москве.

«Автобиография» Николая Губского. Издана в Лондоне в 1937-м году. Дважды десятилетиями раньше автор работал в Русском правительственном комитете в Лондоне. Он подробно описал работу комитета, доживавшего весной 1918 года свои последние дни. Рассказал о сотрудниках – Иване Курченинове, до того руководившем петербургской полицией, полковнике Нежине, Раеве, Лейкине. Гумилева по имени не назвал. Но написал о нем.

После установления власти большевиков сотрудники комитета не захотели возвращаться в Россию. Шли жаркие споры, куда эмигрировать. Среди прочих стран всплыла Эфиопия.

«Мысль об Абиссинии подал Ивану (Курченинову – А. Д.) русский эмигрант – поэт со странным лошадиным лицом, принадлежавший к агиотистской школе (что бы это ни означало). Перед войной он побывал там с этнографической экспедицией и вернулся со сборником надуманной экзотической поэзии и непоколебимой самоуверенностью. Абиссиния, провозгласил он, – это прекрасное место для русских: теплый климат, полно солнца, прекрасная охота. И главное, та же религия: греческая православная церковь. По вечерам бывшие сотрудники бывшего комитета собирались у Курчениновых, и поэт, высокомерно глядя поверх голов, декламировал неестественным голосом свои баллады о Неуязвимых носорогах и стройных Красавицах-эфиопках, о свисте охотничьих Ассегаев и Голубых Очах Джунглей (наверно, он подразумевал горные озера). Остальные восторженно слушали, и начиналась оргия воображаемых приключений. Они разбивали па-

латки в джунглях, нанимали сотню эфиопов и устраивали плантации ценных тропических фруктов; одни говорили о сахарном тростнике, другие – о манго. Или они поднимались в горы (на мулах и, разумеется, хорошо вооруженные) и вели там торговлю. Она оказывалась очень выгодной: за два фунта соли, говорил поэт, вы получите слоновый бивень; за два коробка спичек – шкуру леопарда; так что стоило лишь взять с собой центнер соли и побольше спичек... На кухне Надя (жена автора воспоминаний – А. Д.) и мадам Курченинова расправлялись с грудой грязной посуды и тряслись от смеха, представляя, как наши шестеро детей перебираются через горные стремнины или как капитан Перовский появляется в эфиопском нарядном одеянии: в набедренной повязке и с зонтиком. После одного или двух таких сборищ я смотрел на это уже не с весельем, а с грустью... Ведь и в самом деле двое из них в конце концов отправились в Абиссинию. Один умер от лихорадки, другой стал инструктором пехоты в армии негуса и наверно – если еще жив – страстно хочет теперь эмигрировать в... Лондон».

Здесь довольно верно отмечено в поведении Гумилева то, что отталкивало от него многих: несколько надменную манерность. Но Губскому Гумилев был так несимпатичен, что он вообще не нашел у него ничего положительного. Стихов его он не читал, имени прежде не слышал. Да и потом не запомнил или счел недостойным упоминания. Об акмеизме не имел представления и слово это искажил до неузнаваемости.

Всеми этому можно бы и не удивляться, хотя Губский был почти ровесником Гумилева, жил в том же Петербурге и в том же Царском Селе и

учился в прославившемся страстью к литературе Лицее, где когда-то блистали Пушкин и Дельвиг. В конце концов не так уж знаменит был Гумилев, чтобы каждый знал его имя.

Но Губский встал на ту же стезю, что и Гумилев — литературную. Как раз в те месяцы писал свой первый роман. Так что должен бы слышать и о Гумилеве, и об акмеизме. Но он ничего не знал и через два десятилетия, когда писал мемуары. И даже весть о трагическом конце Гумилева, обошедшая, казалось бы, всю Европу, не дошла до него.

А его свидетельство интересно. Значит, Гумилев своими рассказами об Эфиопии соблазнил эмигрировать туда работавших в Лондоне русских офицеров.

В двадцатых годах Хайле Селассие охотно принимал эмигрантов из России. Несколько русских офицеров стали военными консультантами в эфиопской армии. Граф Фермор, капитан кирасиров российской императорской гвардии («желтые кирасиры»), получил в Эфиопии чин полковника, возглавил императорскую гвардию и командовал парадом на церемонии коронации Хайле Селассие. В Эфиопии оказались и офицеры из семей Крузенштернов, Сенявиных, Дитриксов, Бенклевских. Генерал-майор Дроздовский ведал в Аддис-Абебе топографическими работами. Князь Татищев пытался организовать Банк Эфиопии. Доктор Гаврилов стал личным врачом императрицы Заудиту. Практиковали в Эфиопии и еще несколько русских врачей.

В 1922-м в Эфиопии поселился офицер врангелевской армии Георгий Турчанинов. Став военным советником, он не уехал даже после поражения армии Хайле Селассие в итало-эфиопской

войне 1935–1936 годов, а сражался в рядах партизан. В той войне важную роль в качестве военного советника сыграл и полковник Федор Коновалов. А полковник Петр Федосеев руководил фабрикой по производству пороха и порохowymi складами эфиопской армии.

Подобные отрывочные сведения рассыпаны по различным воспоминаниям англичан, французов и американцев, в разное время бывавших в Эфиопии. Кое-что можно найти и в русских эмигрантских изданиях.

В парижском журнале «Иллюстрированная Россия» в 1930 году появилась статья «Русские в Абиссинии». Там говорилось: «Во время последних скачек, устроенных в Аддис-Абебе русским офицером штаб-ротмистром Д. Л. Сенявиным, была организована кавалерийская кадрили. Кавалеры и дамы в костюмах эпохи Фридриха Великого проделывали различные фигуры и перестроения, вызвавшие восхищение абиссинцев. В этой стране искусство верховой езды находится в зачаточном состоянии, и высшая школа, показанная русскими, явилась для туземцев приятной новинкой.

Ныне покойная императрица Заудиту чрезвычайно заинтересовалась зрелищем скачек и пожелала лично беседовать с наездницами. Она долго рассматривала их амазонки и пудренные парики и выразила сожаление по поводу того, что столь красивая мода оставлена европейцами для безобразных коротких платьев».

Поселился в Эфиопии поэт Павел Булыгин. В гражданскую войну он находился в Добровольческой армии, участвовал в корниловском походе, был ранен, контужен. Стал начальником личной охраны императрицы Марии Федоровны. Был

отправлен Колчаком в распоряжение Н. А. Соколова, проводившего расследование убийства царской семьи. А потом – эмиграция, чужбина, разочарование, отчаяние...

Шутов продажных гнусное кривлянье,
Надежд опавших блеклые листы,
Бойцов последних скорбное молчанье...
Растут, растут могильные кресты...

Хайле Селассие рассказывал Булыгину о том, как он в молодости, в 1913-м, встречался с Гумилевым.

Кто из русских людей приехал в Эфиопию, наслушавшись рассказов Гумилева? А кто – увлекшись его африканскими стихами? Сборник «Шатер» вышел в 1921-м в Эстонии и попал оттуда в Константинополь, Белград, Берлин, Прагу – во все центры русской диаспоры. Им зачитывались многие, кто решал тогда свою судьбу, куда податься, где начинать новую жизнь.

В книге «Муза странствий Николая Гумилева», изданной в 1992-м, я написал, что некоторые из них, возможно, сделали свой выбор под влиянием стихов и рассказов Гумилева. Но это было лишь предположение. В воспоминаниях Губского – прямое свидетельство.

Когда Губский добивался британского гражданства (очевидно, в середине тридцатых годов), чиновник Скотланд Ярда задал ему кучу вопросов. Губский писал потом: «Я упомянул, что подумывал о переселении в Абиссинию».

Стало быть, и на него рассказы Гумилева действовали. Но Губский писал мемуары уже после разгрома Эфиопии войсками Муссолини. Из-за войны русским пришлось уехать из страны, гос-

теприимно принявшей их. Зная этот конец, Губскому легко было высмеивать и выбор, сделанный когда-то его коллегами, и Гумилева, чьему совету они тогда последовали.

* * *

Пока Гумилев был во Франции и в Англии, на родине – Октябрь, начало Гражданской войны. Рушится мир, в котором он рос.

И там, в эпицентре страшных событий, – его жена, мать, сын, друзья, возлюбленные – все самые близкие ему люди.

Представить бы его тогдашнее настроение!

По кратким воспоминаниям Ларионова и Анрепа этого не узнаешь. Они писали об интересных знакомствах, о светской жизни. Оба подчеркивали его женолюбие. Ларионов упоминал, кроме Елены Дюбуше, и «другой предмет увлечения».

«Елена Карловна, чужая невеста, это осложняло его чувства... Это ему давало новые ощущения, переживания, положения для его творчества, открывало для его поэзии новые психологические моменты». Ларионов настаивал, что перед возвращением в Россию Гумилев заезжал из Лондона в Париж. Зачем? «...Чтобы увидеться с кем-то – с Еленой Карловной? Может быть, и с нею; но еще с кем-то – это наверное». Последнее слово Ларионов подчеркнул. Анреп писал, что Гумилев просил познакомить его «с какой-нибудь девицей легкого поведения».

Но этим его жизнь не исчерпывалась. Что ему думалось в бессонные ночи? Анреп пишет, что в Лондоне они с Гумилевым встречались каждый день. Ларионов – что встречались каж-

дый день в Париже. О чем они говорили? Только о Дягилеве, Олдосе Хаксли, Честертоне, о женщинах?

Из прошлого наша память выхватывает необычное, именно оно больше всего запоминается. А повседневные, будничные переживания, тревоги, разговоры? Они-то ведь – главное. Но как раз это и не сохранилось.

Гумилев оказался, как былинный витязь, на перепутье. Пойдешь направо... пойдешь налево... Вернуться в Россию?

Его будущая жена, Аня Энгельгардт, писала ему из Петрограда еще в декабре 1917-го: «Звать тебя сюда, Коля, настаивать, чтобы ты приехал, я не могу и не хочу. Это было бы слишком эгоистично. Ты знаешь, здесь в Петербурге сейчас гадко, скучно, все куда-то убегают... Здесь, действительно, тяжело жить». Этого письма он не получил. Оно пришло в Лондон через полгода, в июне 1918-го.

Но Николай Степанович знал, что из Петрограда бежали многие из тех, кого он относил к своей социальной среде, даже к своему кругу. Как не знать. Английские и французские газеты. Да и вокруг-то – русские. Они только об этом и говорят.

Вполне ли он понимал, что происходит в России? Конечно, нет. Да и кто тогда толком мог понять, тем более с Британских островов или из Франции. И все же, покидая Францию, обращался к ней:

Ты прости нам, смрадным и незрячим,
До конца униженным, прости!
Мы лежим на гноище и плачем,
Не желая божьего пути.

Глеб Струве писал: «Он отказался от почетного обеспеченного назначения в Африку, которое ему устроили его влиятельные английские друзья. Подоспел пароход, шедший в Россию. Сборы были недолги. Провожающие поднесли Гумилеву серую кепку из блестящего шляпочного магазина на Пикадилли...» Но была ли действительно возможность получить «почетное обеспеченное назначение в Африку»? Глеб Струве ссылался лишь на рассказы Георгия Иванова. Как известно, малодостоверные.

В начале апреля 1918-го Гумилев отправился из Лондона в Петроград. Трудным путем, через Мурманск, двенадцать суток на английском транспортном корабле, который все время остерегался немецких субмарин.

Английских знакомцев Гумилева могло порядком удивить его возвращение в страну, где уже занялся пожар гражданской войны. Многие, наверно, сочли его безумцем. Но, может быть,

Нисколько прочих не глупее
все те, кто в будничном безумии,
прекрасно помня о Помпее,
опять селились на Везувии.

За границей прошла тогда заметная часть жизни Гумилева – почти десять месяцев. Сперва в Лондоне – чуть больше двух недель, с середины до конца июня. В Париже – всю вторую половину 1917 года, потом в Лондоне – с января по апрель 1918-го. По дороге домой, пока пароход заходил в Гавр, снова день-два провел в Париже.

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

Не сочувствуя революции, он черпал в ее стихии бодрость, как если бы страшная буря застала его на корабле, опьяняя опасностью и свежими солеными брызгами волн.

Н. Оцуп

*Я не вставал в ряды борцов,
Но жил я — поперек;
Мой вклад в историю — лицо,
Которое сберег.*

И. Губерман

В конце апреля 1918-го Гумилев уже в Петрограде, где его не ждали даже жена и мать: никто тогда не возвращался, только уезжали.

Опять на распутье. Что делать? Жить и работать при новом режиме? Сражаться против? Эмигрировать?

В феврале — «ледяной поход». Добровольческая армия после неудач на Дону отступает на Кубань. 13 апреля под Екатеринодаром убит ее командующий, генерал Корнилов. Его заменяет Деникин.

Генерал Краснов, книгу которого «Казачи в Абиссинии» Гумилев наверняка штудировал, 11 мая избран атаманом Войска Донского.

По Брестскому миру Россия теряет Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину, часть Белоруссии, уступает Турции Карс, Ардаган и Батум. 5 апреля японские войска высаживаются во Владивостоке. Английские еще раньше — в Мурманске.

Гумилев знал, что офицеры, с которыми он сражался бок о бок, теперь воюют против большевиков. И ждут того же от него. «Мы, его бывшие сослуживцы, оставшиеся в живых после мас-

совых расстрелов офицеров большевиками в 1918 году, удивлялись, что он не принял участия в гражданской войне», — вспоминал через много лет его однополчанин.

Младший сын Гумилева Орест Высотский не удивлялся, а утверждал: «Отец — человек действия... Если бы он был врагом Советской власти, то, вероятно, сражался бы в рядах армии Деникина. А он, напротив, начал добросовестно сотрудничать с Советской властью еще тогда, когда положение ее было непрочным...»

Советская власть никакого восторга у Гумилева вызывать не могла. Но факт остается фактом: вернувшись на родину, он решил остаться в стороне от схватки.

Эмигрировать? В эмиграции оказался Сергей Маковский, с ним у Гумилева связано столько лет работы в «Аполлоне». Да только ли он? Эмигрировали или собирались эмигрировать очень многие из тех, с кем Гумилева сводила судьба и в личной жизни, и в творчестве.

«Гумилев возвращается в Россию, уже советскую... Отчего он не остался выжидать в Лондоне? Он, открыто говоривший, что предан идее монархии, он, любивший мир, экзотику, свободу, мореплавателя, охотник, почему он вернулся в "край глухой и грешный", как назвала Россию Ахматова?»

Задавая эти вопросы, Николай Оцуп сам отвечает: «Поэзия Гумилева, этого русского европейца, крепкими корнями уходит в русскую землю».

Но достаточен ли такой ответ? Что же, те однополчане Гумилева, которые пошли к Деникину, Юденичу, Колчаку, меньше любили Россию? Но они воевали против России советской, а Гумилев в нее вернулся, жил и работал именно в этой России, когда вокруг полыхала гражданская война.

В голодном и холодном Красном Питере, в разрушенной России Николай Степанович жил напряженной жизнью. И именно в те годы достиг наибольшего за всю свою жизнь признания. Положения мэтра. Писал, переводил, редактировал, учил молодежь, создавал свою поэтическую школу.

Почему офицер, дворянин, не склонный любить большевиков, вел себя так? Он ответил:

Вы знаете, что я не красный,
Но и не белый — я поэт!

Уже 13 мая, через считанные дни после возвращения, Гумилев читал стихи в зале Тенишевского училища, а с декабря преподавал курс поэзии в Институте живого слова, в здании этого училища. В конце года стал членом редколлегии основанного Горьким издательства «Всемирная литература» и вплоть до последних дней работал для этого издательства.

Маршрут на Невский, 64, возле Аничкова моста, где поначалу разместилось издательство, а затем на Моховую, 36, куда оно переехало в начале 1919-го, стал для Гумилева привычным. Участие в работе издательства дало ему возможность регулярно встречаться и сотрудничать с Блоком, Горьким, Лозинским, Чуковским, Ольденбургом, Марром, Владимирцовым, с крупнейшими петроградскими писателями, историками, литераторами, литературоведами, которые участвовали в работе издательства; обсуждать проект издания полутора тысяч книг.

О том времени Замятин вспоминал: «Петербург — выметенный, опустелый; забитые досками магазины; разобранные на дрова дома; кирпичные скелеты печей. Обтрепанные обшлага; под-

нятые воротники; фуфайки; вязаные свитера, и в свитере – Блок. Лихорадочные попытки перегнать нужду и какие-то новые, минутные, непрочные затеи, какие-то новые заседания – из заседания в заседания...

И вот – поздно вечером, после трех или, может быть, четырех заседаний – в одной из маленьких задних комнат «Всемирной литературы». Столовая, под зеленым колпаком лампа; лица в тени. Налево от дверей – теплая изразцовая лежанка, и на лежанке, возле лежанки – Блок, Гумилев, Чуковский, Лернер и я – и кругленьким кубарем из угла в угол Гржебин.

Трудно починить водопровод, трудно построить дом – но очень легко Вавилонскую башню. И мы строили Вавилонскую башню: издадим Пантеон Литературы Российской – от Фонвизина и до наших дней. Сто томов!»

Надо снова входить в питерскую жизнь. А она стала совсем иной. Для Гумилева войти в нее сложнее, чем для многих. Он ведь Петрограда толком не знал с 1914-го года. Фронт, лишь с короткими наездами домой, потом Франция, Англия. Для него после возвращения весной 1918-го перемены оказались разительны. Приноравливаться к ним было трудно. Из воспоминаний о нем: «Он голодал и мерз от холода... Ходил на Мальцевский рынок и продавал последний галстук, занимал у знакомых по полону, проводил целые дни в "Доме Литераторов", потому, что там было тепло и светло».

А в то же время в творческой деятельности открылись иные, и очень богатые, возможности: вести кружки начинающих поэтов, читать лекции. Преподавал в литературных студиях Пролеткульта, Балтфлота, Института живого слова, Института истории искусств, студии переводов при «Всемирной литературе».

Почувствовал себя мэтром. К нему тянулись Николай Оцуп, Георгий Адамович, Георгий Иванов, Всеволод Рождественский, Ирина Одоевцева и многие молодые писатели и поэты. Он воссоздал свое детище — «Цех поэтов».

А любимый кружок молодых поэтов назвал «Звучащая раковина». На занятиях старался формализовать поэтическое творчество, сделать его как бы точной наукой. Говорил, что оно должно быть своеобразной математикой. Мечтал даже о создании словаря рифм. За этот подход его критиковали многие и, прежде всего, Александр Блок.

Насколько серьезно и долговечно было его тогдашнее стремление к формализации и не отказался бы он от него, если бы жизнь не оборвалась так резко? Но как бы то ни было, к этому его методы обучения не сводились.

Гумилев учил молодых поэтов видеть предметы по-новому, отрывать их от шаблона.

Учебу разнообразил. После его лекций участники должны были — по кругу — читать свои стихи, и затем обсуждалась каждая строчка. Завершалась литературными играми. Буриме, шарады, шутки. Перебрасывались поэтическими строчками. Занятия нередко проходили на Невском, в большой квартире мастера фотоискусства Моисея Наппельбаума, которая стала местом встреч питерской интеллигенции. Две дочери Наппельбаума — Ида и Фредерика — были участницами «Звучащей раковины».

Гумилев стал членом совета Союза деятелей художественной литературы. Членом совета Дома искусств по литературному отделу. Вышел его перевод древнего эпоса «Гильгамеш». Под его редакцией издали «Баллады о Робин Гуде».

В январе 1920-го читал свои стихи на первом вечере современной поэзии в Доме искусств.

В марте там же состоялся его вечер, в августе — лекция, в сентябре — выступление. В ноябре читал стихи на вечере современной поэзии в Политехническом в Москве... В октябре, после вечера в клубе поэтов на Литейном, Блок запишет в дневнике: «Верховодит Гумилев», «Все под Гумилевым», «...невыносимо слушать общегумилевское распевание».

В феврале 1921-го Гумилев избран вместо Блока председателем Петроградского Союза поэтов. И весной он провозгласил:

— Мы скоро организуем всероссийский союз поэтов!.. Сначала организуем всероссийский союз поэтов, а потом всемирный союз поэтов.

Гумилев собирался работать и в Петроградском отделении Литературного отдела Наркомпроса.

В 1918-м вышли его сборники «Костер», «Фарфоровый павильон», второе издание «Жемчугов», третье издание «Романтических цветов». Отдельными книжками опубликованы «Мик» и «Дитя Аллаха».

Попытался продолжить и серию «Писем о русской поэзии». Но время было неподходящее, печатать литературоведческие статьи оказалось почти невозможно. И все-таки одна статья появилась вскоре после его возвращения — в петроградской газете «Жизнь искусства» за 1 ноября 1918 года. Это рецензия на сборник молодых поэтов «Арион». Больше всего похвалил Георгия Маслова. И Анну Регатт (псевдоним Елены Тагер). Отметив влияние Ахматовой на ее стихи, написал: «Но разве это умаляет их достоинство? Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой современной поэтессе, чтобы найти себя, надо пройти через ее

творчество». Так он сказал о стихах женщины, которая только что бросила его...

Уже это краткое перечисление говорит, какой интенсивной была его жизнь и какого признания в кругу литераторов он добился.

Гумилев был на творческом подъеме. Стихотворения, которые Ахматова считала лучшими: «Заблудившийся трамвай», «Память»...

* * *

И это — на фоне разрухи в Петрограде и во всей стране. И на перипетии личной жизни. Ахматова сказала ему сразу после его возвращения, что уходит к Шилейко. Женившись вскоре на молоденькой и хорошенькой Ане Энгельгардт, он и с нею не был счастлив.

И материально жилось не сладко. Надо не только выжить самому, а и думать о жене, о маленькой дочке Елене, о сыне Льве, о матери, которая жила в Бежецке.

В анкете Союза поэтов и Литературного отдела Наркомпроса на вопрос «Какие обстоятельства мешают заниматься литературным трудом», он ответил: «Низкая оплата труда, закрытие рынков в связи с отсутствием пайка, большая семья». А на вопрос «Чем занимаетесь в настоящее время?» — «Розничной продажей домашних вещей».

Гумилев был обеспечен лучше, чем многие. Работая во «Всемирной литературе», получал пайки, которые выхлопотал Горький, — по тем временам неплохие. А будучи энергичным и находчивым, выступал с лекциями, руководил студиями и кружками, то есть зарабатывал не только во «Всемирной литературе».

Чувствовал себя Гумилев в большевистском Петрограде довольно уверенно. У него добрые отношения с председателем Петроградского совета Борисом Каплуном, который с симпатией относился к питерской творческой интеллигенции.

Художник Юрий Анненков вспоминал: «Мы сидели в обширном кабинете Каплуна, в доме бывшего Главного Штаба, на площади Зимнего дворца». «За бутылкой вина, извлеченной из погребка какого-то исчезнувшего крупного буржуя, Гумилев, Каплун и я мирно беседовали об Уитмане, о Киплинге, об Эдгаре По...» «...Мы порой засиживались вместе с Евгением Замятиным, Всеволодом Мейерхольдом и с молчаливо-мечтательной красавицей, балериной Ольгой Спесивцевой, которой Каплун оказал большую услугу, выдав ей бумаги на выезд за границу, где она вскоре стала первой балериной, "звездой" в театре Парижской Оперы».

Анненков рассказал, как он вместе с Гумилевым и Каплуном нюхали эфир:

«— У нашего Бориса (Б. Каплун — А. Д.), — сказал Гумилев, — имеется банка с эфиром, конфискованная у какого-то чернобиржевика. Пойдем подышать с нами?»

Я был удивлен, но не отказался. От Мойки до площади Зимнего дворца было пять минут ходьбы. Мы поднялись в квартиру Каплуна, где встретили также очень миловидную девушку, имя которой я запомнил. Гумилев рассказал Каплуну о цели нашего позднего прихода. Каплун улыбнулся.

— А почему бы и нет? Понюхаем!

Девушка тоже согласилась.

Каплун принес из другой комнаты четыре маленьких флакончика, наполненных эфиром. Де-

вешка села в вольтеровское кресло; Гумилев прилег на турецкую оттоманку; Каплун – в кресло около письменного стола; я сел на диван чиппендалевского стиля: мебель в кабинете председателя Петросовета была довольно сборная. Все поднесли флакончик к носу. Я – тоже, но "уход в сновидения" меня не привлекал: мне хотелось только увидеть, как это произойдет с другими, и я держал флакончик так же, как другие, но твердо заткнув горлышко пальцем.

Раньше всех и не сказав ни слова, уснула девушка, уронив флакон на пол. Каплун, еще почти вполне трезвый, и я уложили девушку на диван.

Гумилев не двигался. Каплун закрыл свой флакончик, сказал, что хочет "заснуть нормальным образом", и, пристально взглянув на Гумилева, пожал мне руку и вышел из кабинета, сказав, что мы можем остаться в нем до утра.

Гумилев лежал с закрытыми глазами, но через несколько минут прошептал, иронически улыбаясь:

– Начинаю грезить... вдыхаю эфир...

Вскоре он, действительно, стал впадать в бред и произносить какие-то непонятные слова, или, вернее, сочетания букв. Мне стало не по себе, и, не тревожа Гумилева, я спустился по лестнице и вышел на площадь, тем более, что кабинет Каплуна начал уже заполняться эфирным запахом».

По-видимому, эту встречу Гумилев и описал в рассказе «Путешествие в страну эфира».

...Он позволял себе даже немного фрондировать. Истово, на виду у прохожих, крестился на церкви. На вечере у балтийских матросов его спросили:

– Что же, гражданин лектор, помогает писать хорошие стихи?

– По-моему, вино и женщины, – спокойно ответил гражданин лектор.

О его уверенности можно судить по воспоминаниям Николая Тихонова.

В 1921 году Тихонов узнал из газет, что в Петрограде существует Союз поэтов. И отправил свои стихи в приемную комиссию, куда входили тогда, по его словам, Блок, Гумилев, Лозинский, Кузмин и как секретарь Всеволод Рождественский.

Когда, придя в Дом искусств на Мойку, он спросил Рождественского о результатах, тот ответил:

– О, так мы вас давно разыскиваем. Идемте, вас хочет видеть наш синдик.

«А я, по правде говоря, даже не знал, что такое синдик. Я не знал, что в "Цехе поэтов", как и в средневековом цехе, имеется старшина, которого зовут синдиком. Этим синдиком был Гумилев.

Рождественский провел меня за кулисы, и в комнате за сценой я увидел весь "Цех" во главе с Гумилевым. Здесь были и Георгий Адамович, и Георгий Иванов, и Николай Оцуп, и Ирина Одоевцева, и Сергей Нельдихен. Я знал их стихи, но знаком ни с кем из них не был. Гумилев показался мне высоким суховатым человеком немного спортивного вида. Я читал его книги, иные стихи мне нравились, но в общем поэты из группы "Цеха" были мне чужды. В то время я уже понимал, что у меня другой путь, свой.

И вот меня приветствовал неожиданно Гумилев и сказал:

– У нас было подано больше ста заявлений, но мы приняли вас без всякого кандидатства, прямо в действительные члены Союза. Мы приняли трех из ста: Марию Шкапскую за книгу "Матерь Долороза", Оношкович-Яцыну за переводы Киплинга и Вас.

Он стал хвалить мои стихи, потом поинтересовался, как я отношусь к литературной среде. Я ответил, что никакого отношения к ней не имею. А обступившие меня члены "Цеха поэтов" смотрели на меня довольно подозрительно и без всякой симпатии, потому что я был в старой красноармейской шинели, так как находился в это время по болезни в отпуску из армии.

Гумилев спросил:

– Вы петроградец?

– Да, я петроградец.

– Вы никуда не должны уезжать из Петрограда, – сказал он.

– Почему?

– Потому что скоро литературный Петроград будет непредставим без вас, как вы без него.

Эти слова показались мне несерьезными, и я рассмеялся и сказал, что меня могут послать куда угодно.

Он спросил:

– Вы знаете дом Мурузи?

– Да.

– Приходите туда, там собираются поэты».

Так говорил бывший офицер с красноармейцем в апреле 1921 года. За три месяца до своего ареста. Буквально накануне ареста.

– Я чувствую, что вступил в самую удачную полосу моей жизни.

Откуда такая уверенность? Только ли от политической наивности? Или из-за беспечности и самоуверенности считал,

...что страшного нет

И печального тоже нет.

Как объяснить?

Воспоминания Одоевцевой: «Только тогда и

там в Петербурге чувствовалась эта горячая, живая связь слушателей с поэтами, эта любовь. Овации, бесконечные вызовы. Поэтов охватывало ощущение счастья от благодарного восхищения слушателей. Казалось, что все друзья поэтов. Готовые для поэтов на любые жертвы. Если надо — отдать последнее».

Одоевцева сравнивала свои тогдашние впечатления с тем, что увидела потом, уехав из России. «Здесь, в эмиграции, просто невозможно себе представить, как слушали, как любили поэтов в те баснословные годы в Петербурге, да и во всей России. Марина Цветаева была права, когда писала: «Из страны, где мои стихи были нужны, как хлеб, я в 22-м году попала в страну, где ни мои стихи, ни вообще стихи никому не нужны».

Одоевцева уверяет: «Стихи тогда были нужны не меньше хлеба. Иначе, как могли бы все эти усталые, голодные люди после изнурительного трудового дня найти в себе силу пройти пешком, иногда через весь Петербург, лишь для того, чтобы услышать и увидеть поэтов?»

Конечно, к этому надо делать поправку — на восторги молодости, усиленные в воспоминаниях уже немолодых лет. Ведь в том же Петрограде Блок чувствовал себя не так. Да и самой Одоевцевой вскоре после смерти Гумилева пришлось уехать из страны.

Но в чем-то она права. Гумилев, «дядя изысканный жираф», как называли его дети в Доме литераторов, сумел найти себя в тогдашнем литературном Петрограде. Поэтому и главой Союза поэтов выбрали его. А это, конечно, отражалось на его мироощущении — ему отнюдь не чужды были честолюбие и даже тщеславие. Импонировала известность — до революции он еще не су-

мел ее добиться. А теперь склонен был преувеличивать свою популярность.

— Меня вряд ли посмеют тронуть. Я слишком известен.

«Непоседа, любивший сам себя называть бродягой, роптавший даже на любимую женщину за то, что она приковывает его к месту, когда его тянет в открытое море, в незнакомые или уже знакомые, но далекие страны, поэт оказался вдруг пленником голодающей северной столицы, из которой нечего было и думать куда-нибудь двинуться без особых на то разрешений».

Но написав это, Николай Оцуп решил, что Гумилев получил достойную замену своим путешествиям: «Зато в издательстве "Всемирная литература", где Горький, по совету знатоков, поручил Гумилеву редактирование стихотворных переводов с французского и английского языков, поэт наконец работает бок об бок с учеными, над которыми подтрунивал в стихах, но которых втайне всегда уважал... В 1918–1921 гг. не было, вероятно, среди русских поэтов никого равного Гумилеву в динамизме непрерывной и разнообразной литературной работы... Роль Гумилева, как вдохновенного организатора, утвердилась окончательно».

В те годы Оцуп близко знал Гумилева, сотрудничал с ним. И вспоминал потом, какое удовлетворение получал Гумилев от своей преподавательской работы в Институте живого слова, в студии Дома искусств, от лекций в самых разных аудиториях, от непрерывной работы с книгами.

«Ему было суждено утолить эту страсть к чтению и научной работе в советском Петербурге... Не сочувствуя революции, он черпал в ее стихии бодрость, как если бы страшная буря

застала его на корабле, опьяняя опасностью и свежими солеными брызгами волн».

Вокруг разруха, разброд, страх перед завтрашним днем... Все привычное рухнуло. Возврат к прежнему невозможен. Как жить дальше? Что делать?

О первых трех послереволюционных годах и о Гумилеве Евгений Замятин писал: «...мы все вместе были заперты в стальном снаряде – и во тьме, в тесноте, со свистом неслись неизвестно куда. В эти предсмертные секунды-годы надо было что-то делать, устраиваться и жить в несущемся снаряде». «Гумилев, как всегда, жизнерадостен, какие-то многообещающие проекты и схемы».

Свое общественное кредо он провозгласил сразу по возвращении на родину, в самый разгар революционной бури. Казалось, сам воздух напоен политической борьбой, а Гумилев и тут, наперекор всему, категорически отделил поэзию от политики.

«Как ни старались историки литературы вывести различные ее школы из событий общественной жизни, их попытки неминуемо терпели неудачу, особенно в отношении к поэзии... И чем яснее поэт осознает себя как политический деятель, тем темнее для него законы его «святого ремесла». В подтверждение этой идеи Гумилев сослался на слова Гете: «Политическая песня – скверная песня».

Что он предлагал? «...В наше трудное и страшное время спасение духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал прежде».

Это и считал для себя единственным выходом.

Он сумел не потерять себя. Последние три года жизни оказались самыми творческими. Чуковский назвал их болдинской осенью Гумилева.

«Я ПРИВЫК К ХОЛОСТОЙ ЖИЗНИ»

Для посредственности нет тех извинений, какие возможны для гения: если она лишена доброты и честности, то что же у нее остается?

Р. Роллан

*Грехи прощают за стихи.
Грехи большие –
За стихи большие.*

Б. Слуцкий

Слова Гумилева «Я привык к холостой жизни» относятся и к его первому браку, и еще больше ко второму. Какой бы длинной ни была череда его романов за те восемь лет, что он состоял в браке с Ахматовой, она стала еще длиннее за три года совместной жизни со «второй Аней».

Как бы оправдываясь, Гумилев молил Всевышнего простить, «что так больно сердце томил красота твоих дочерей».

И если говорил Одоевцевой: «Я чувствую, что вступил в самую удачную полосу моей жизни», то отношения с женщинами играли тут не меньшую роль, чем творческие успехи, чем путешествия. Вернее, одно с другим связано неразрывно.

Ты знаешь, что женское тело могуче,
В нем радости всех неизведанных стран...

Через холостую квартиру на Преображенской проходят чередой все новые и новые женские лица. Каких имен тут только нет! Об одних можно сказать с уверенностью, о других – предположительно.

Но все – молоденькие: начинающие поэтессы, слушательницы его лекций в поэтических кружках.

Чем Гумилев околдовывал их? Какими чарами? Для многих он – мэтр. Но не только. Может быть, своей влюбленностью в жизнь? Вспомните дневник девятнадцатилетней Арбениной: «Охотник. Мореплаватель Синдбад... Мир открылся для него как новобрачная, как влюбленная женщина – весь».

Такой образ Гумилев себе создавал очень умело.

На сильную натуру Ахматовой этот гипноз не действовал. Но разве все такие, как Ахматова? Как раз она – исключение.

Гумилев производил впечатление, заставляя забывать, что он некрасив, косоглаз, что у него землистый цвет лица, нелепая форма головы, что он шепелявит. Да и многое другое.

Воспоминания поэтессы и переводчицы Ольги Мочаловой: «Было в нем забиячество, задирчивость, самолюбивая горделивость, вкус к ловкачеству – то мало интересно. Может быть, переизбыток этих свойств относится к более раннему возрасту. Не могу себе представить Н. С. в беге, в спешке, драчливых движениях. Все это нарушает эпичность его строки.

Слова

...Не нужны ли твердые руки
И красная кровь не нужна ли
Республике иль королю...

звучат переизбытком физической силы, бравурны. Он, увидавший "во всем ее убранстве Музу дальних странствий", автор "Капитанов", охотник на леопардов, путешественник по дебрям и

пустыням, по волнам, по жаре, он – осваивающий земные пространства с предельным напряжением сил – вот более высокий план его мужества. Истинный, действенный завоеватель земли заслуживает почета».

Мочалова знала, что он учил молодых поэтов – преувеличьте свои чувства в 10 раз.

Ее это не смущало, как и то, что Гумилев мог пренебрежительно говорить о женщинах, с которыми был близок. С Татьяной Адамович у него был один из самых длительных романов. Ей он посвятил сборник «Колчан». И все же сказал:

– Книги она не читает, но бежит убрать в свой шкаф. Инстинкт зверька.

А о книге Одоевцевой, любимой ученицы и «невенчанной жены», заметил:

– Приятно и развлекательно, как щелканье орехов.

Признавался:

– Дразнил женщин, говоря, что стихи посвящены вам, и об одном стихотворении несколькими так...

Все это для нее ничего не значило.

«Десятилетия он снился мне ежегодно. Проходил мимо, смотрел, и в глазах была сияющая нежность. Слов не было. Потом пропало и это.

Разумеется, я любила других. Но среди других, неизбежно развенчанных, уцелел он один».

Он смел. Воин, путешественник – не только в стихах, как многие поэты, – а и в жизни. Опоэтизировал отношения с каждой женщиной! Непрестанно говорил, что она – таинственная, неповторимая, что он ее обожествляет, восторгается ее лицом, телом, улыбкой, голосом. «И ты, о нежная, чье имя – пенье, Чье тело – музыка» и

т. д. и т. п. Убеждал, что надо пользоваться временем, когда ты прекрасна, что оно, увы, быстро течет, что впереди — «беспощадное исчезновение».

Умел восхищаться женщинами. Или делать вид, что восхищается. Не тут ли секрет многих его побед?

Но и это — еще не все.

Петроград гражданской войны и разрухи. Вся страна — фронт. Мужчины — где они? У красных. У белых — у Юденича, Колчака, Деникина. С войсками Антанты — на севере, на юге.

А среда, к которой принадлежал Гумилев? Одни эмигрируют, другие готовятся к эмиграции. В основном — мужчины. Женщин, как это ни грустно признать, нередко оставляли. Гражданская война разбросала семьи.

Но и мужчины «любовного возраста», оставшиеся в Питере, до романов ли им? Одна забота — как выжить, найти «паек», ускользнуть от репрессий. Душил ужас происходившего. Угасали. И не только пожилые. Александру Блоку всего сорок...

А молодые девушки? Они вошли в возраст, когда, несмотря на голод и холод, хотелось ухаживаний, обожания, поклонников, любви. И поэзии. Именно поэзии.

Гумилев мог дать все это.

Он не клял судьбу, не тосковал об ушедшем. Из воспоминаний Арбениной: «Он был наедине скорее веселый. Он никогда на жизнь не жаловался... Да, мне казалось, никакой злости за отнятое имение и дачу у него не было. Он симпатично говорил о царской семье, величавой и милостивой царице, но никогда не бранил существующую обстановку».

Была ли это маска или на него снизошла стародавняя житейская мудрость:

Не живи уныло,
Не жале́й, что было,
Не гадай, что будет,
Береги, что есть.

Уныние он гнал. Как Пушкин: «Мне доктором запрещена унылость».

Верил в романтику. Это заражало других. Скептиков и циников – вряд ли. А на девушек действовало. Особенно по контрасту с тем, что они видели и слышали вокруг.

Они верили ему. Прощали измены, других женщин.

Почему Гумилев не был долго ни с одной женщиной?

– Я привык к холостой жизни.

Ахматова говорила то же самое:

– Он всегда был холостым. Я не представляю себе его женатым... Разве можно считать, что он был в браке с Анной Николаевной? Или со мной? Разве это был брак?

Но полная ли это правда? У таких «холостых» нередко бывали и долгие привязанности. А его непрерывно бросало от одной к другой. И одновременно. И еще к третьей. Многие мужчины, правда, скажут, что это и есть настоящая мужская жизнь.

Реально представить эти романы в голодном Петрограде довольно трудно. Истощенные люди ходили-то с трудом, голодные обмороки. Террор. Расстрелы. Страх за себя, за близких, за сегодняшний и завтрашний день.

Для большой любви, как говорится, нет преград. Но вот короткие романы, влюбленности?

И все-таки это было.

Ахматова считала себя причиной его донжуанства. Видела тут попытку самоутвердиться. Ведь он так долго ее добивался, а она пренебрегала им,

увлекаясь другим или другими. И уже в начале семейной жизни изменила ему.

Может быть, фрейдисты найдут объяснение? Или просто: если нет одной-единственной, приходится довольствоваться многими? И убеждать себя, как Гумилев, что «женщине с мужчиной никогда друг друга не понять».

Николай Оцуп:

«Чем больше мы вникаем в его поэзию, тем яснее, что он любил любовь, а не одну женщину. Ни одной своеобразной индивидуальности у воспеваемых в его лирике героинь! Все на один манер, все с стандартными прелестями, воспеваемыми в условной форме под трубадуров и Петрарку или под самых патетических поэтов Востока. Из всех женских типов выделяется один: Ахматова, быть может, именно потому, что она, единственная, Гумилева таким, каким он решил быть с женщинами, — не приняла».

«ТВОЙ БЕЗЖАЛОСТНЫЙ ГОЛОС...»

*Но клянусь, ты будешь моею,
Даже если ты любишь другого...*

Н. Гумилев

— Я чувствую, что вступил в самую удачную полосу моей жизни. Обыкновенно я, когда влюблен, схожу с ума, мучаюсь, терзаюсь, не сплю по ночам, а сейчас я весел и спокоен. И даже терпеливо ожидаю «заветный час свиданья». Свидание состоится в пятницу, 5 августа, на Преображенской, 5, и, надеюсь, пройдет «на пять».

Так он говорил Одоевцевой 2 августа 1921-го года, накануне ареста. Но в мемуарах Одоевцевой не сказано, кого он так страстно ждал.

В одну из последних встреч с ней, когда мне было уже позволено задавать «деликатные вопросы», я спросил:

– О ком говорил Гумилев? Вы же не назвали имени.

Она лукаво улыбнулась.

– Ну, как же, это Ниночка Берберова. Мой Жорж даже ходил на Преображенскую помочь прибрать, подготовить квартиру к ее приходу. (Ирина Владимировна привела интимные подробности подготовки, которые мне не хотелось бы пересказывать.)

Был Георгий Иванов для нее уже тогда «мой Жорж» или она его назвала так по привычке? Ну да это не важно.

Удивило меня другое. Я тогда уже прочитал «Курсив мой» Берберовой. О Гумилеве там – как-то отчужденно.

Видел я ее в Америке, в 1988-м, но мельком. А за несколько лет до кончины она, приехав в Москву, выступала в Доме ученых. Удалось перемолвиться с ней несколькими словами. Сказала, среди прочего, что в Петербурге прошла по улице Жуковского, где жила когда-то. Посмотрела на тот дом, но заходить не стала – очень уж неприглядным показалось ей все. Прошла мимо.

Говорила об этом сухо. Никаких воспоминаний.

Так что расспрашивать о Гумилеве не стал.

Берберова была одной из последних, кто видел Гумилева перед арестом. Первый раз она пришла к нему 27 июля – чтобы вступить в Союз поэтов. Затем виделась с ним каждый день вплоть до 2 августа.

С ее слов дается датировка одного из самых последних стихотворений Гумилева. Она сказала, что оно написано 1 августа. И – само собой подразумевается – посвящено ей. Даже на фоне других его стихов о женщинах это – одно из самых восторженных.

Я сам над собой насмеялся
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть что-нибудь кроме тебя.

И все же Берберова впоследствии обрисовала его неприязненно: «Он взглянул на меня светлыми косыми глазами с высоты своего роста. Череп его, уходящий куполом вверх, делал его лицо еще длиннее. Он был некрасив, выразительно некрасив, я бы даже сказала, немного страшен своей непривлекательностью: длинные руки, дефект речи, надменный взгляд, причем один глаз все время отсутствовал, оставаясь в стороне». А все, что он говорил, ей «совершенно неинтересно». «Речь, похожая на лай».

«Я увидела, что моя дорога внезапно скрестилась с человеком далекого прошлого, который не только не понимал свое время, но и не пытался его понять, а заодно не понял и меня».

«...В Гумилеве не было юмора, он всех вообще и себя самого принимал всерьез, и мне он мгновениями казался консервативным пожилым господином, который, вероятно, до сих пор иногда надевает фрак и цилиндр».

«...Мне показалось невероятным, когда я узнала, что Гумилеву было только 35 лет, – в своем недомыслии я представляла его себе пятидесятилетним».

«Даже в его многопудовой, неповоротливой мужской самоуверенности сквозила эта старомодность – завоевателя, покорителя. Не истинная старомодность отцов и дедов, а какая-то стилизованная, утрированная, деформированная копия ее».

«Здесь была глухая стена: самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости».

Досталось и его стихам: «Я вдруг увидела всю их детскость, в то же время как и старомодность, их несовременность, их искусственность для нашего времени. Ведь он повернул обратно, от символизма к парнасу, думалось мне, а вовсе не устроил революции против символистов».

Берберова не скрывает, что он с первой встречи стал ее добиваться. Но как же по-разному виделись им их отношения! Он настолько уверен, что даже «весел и спокоен». А она? «...Решив больше с ним не встречаться». И снова, 2 августа: «...приняла решение больше с ним не встречаться».

Гумилев поразительно самоуверен? Или Берберова лукавит? Уж очень она от него задним числом отгораживается.

Вряд ли теперь так уж важно искать истину.

Интересно другое. Берберовой смолоду была присуща наблюдательность. Не отказала она и тут. Но почему ни одной хорошей черты, ни одного доброго слова?

Правда, призналась: «Теперь я знаю, что он большой поэт, но тогда – как сухо и с каким предубеждением я думала о нем!». Но признание сделано вскользь и звучит искусственно. Доброго слова она так и не нашла даже через много лет.

Может быть, дело не только в Гумилеве, а в тогдашнем общем настрое юной Берберовой?

. Падение монархии она горячо приветствовала. «С первого дня я смотрела на революцию не как на перемену, а как на данность, с которой мне предстоит жить мою жизнь. Переменой она могла быть для буржуев, для царей, для врангелей, для контрреволюционеров (и поделом!), но не для меня. Мне – восемнадцать лет, я – никто. Я беру революцию, как ту почву, на которой я буду вырастать. Другой не знаю. Запад? Где он? Прошлое? Не нужно оно мне. Ломка? Чего? Не хочу и помнить, что именно сломалось, дайте мне со всеми строить новое, а с черепками я не знакома».

Николая II проклинала. Считала главным виновником отсталости России. «...Никакой так называемой мученической смертью не заплатил за свои ошибки: они остались при нем». Такое отношение к нему сохранила и в старости: «Девяносто пять процентов населения держал в темноте, не прощаю ему, до чего довел страну...»

При таких бурных политических эмоциях аполитичный Гумилев должен был казаться ужасно старомодным.

К тому же у Берберовой не было сентиментальности. Она сама это признавала и даже отчасти гордилась:

– Я принадлежу к тем людям, для которых дом, в котором они родились и выросли, не только не стал символом защиты, прелести и прочности жизни, но разрушение которого принесло огромную радость. Ни «отеческих гробов», ни «родного пепелища» у меня нет, чтобы опереться на них в трудные минуты.

При таком душевном настрое – мог ей нравиться Гумилев?

А может быть, дело вовсе не в общественных взглядах, а в сугубо личном? Вскоре после гибели Гумилева Берберова, уже женой Владислава Ходасевича, уехала за границу.

Ходасевич считал, что он был последним, кто видел Гумилева до ареста. Засиделся у него до двух часов ночи. А утром за ним пришли.

Потом Ходасевич вспомнит: «Я не знал, чему приписать необычную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще несвойственную. Каждый раз, как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: "Посидите еще..." Он был на редкость весел».

Не надежда ли на свидание с двадцатилетней Берберовой вызвала эту веселость?

Не пыталась ли Берберова отвести от себя подозрения, так сухо-недоброжелательно вспоминая о Гумилеве?

Или это просто та гордость, которую она и потом столько раз проявляла. Должно быть, всю жизнь. И даже бравировала:

Эта гордость моя не от легких удач,
Я за счастье покоя платила немало:
Ведь никто никогда не сказал мне «не плачь»,
И «прости» никому я еще не сказала.

Да, цену за свою гордыню она платила немалую. Большую часть пути шла одна.

Одиночество, царственна поступь твоя,
Непокорность, высок твой безжалостный голос!

Если бы состоялось то свидание, могло бы что-то измениться? «Разве можно что-нибудь понять в любви?» – пел кумир моего поколения.

Петербургская ЧК помешала свиданию, и Берберова осталась при своих холодных, рассудочных оценках.

Но разве не важно нам знать и такой образ Гумилева? Не интересно разве сравнить его с тем, какой возник у Арбениной? Тем более, что и Берберова, и Арбенина остались при своих мнениях на всю жизнь.

ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

*Только вспомнишь – и нет вокруг
Тонких пальм, и фонтан не бьет;
Чтобы ехать дальше на юг,
Нас не ждет большой пароход.
Петербургская злая ночь;
Я один, и перо в руке,
И никто не может помочь
Безысходной моей тоске.*

Н. Гумилев

С детства, с переездов из Царского в Тифлис и обратно, его жизнь связана с путешествиями и дальними поездками. Если не Египет, то Париж, если не Абиссиния, то хотя бы Крым.

А тут, с весны 1918-го, три года в Петрограде, в сущности, безвыездно. Побывал только в Москве и в Бежецке, у матери.

Казалось бы, в голодном Петрограде нет места для романтических мечтаний о далеких стра-

нах. Надежд на новое путешествие не было. Но дальние края оставались – в его устных рассказах, лекциях, в стихах.

С этими воспоминаниями и стихами выступал не только в студии Дома искусств, Институте живого слова, в Пролеткульте, но и перед красноармейцами, матросами Балтфлота. На лекции приходил, как вспоминали слушатели, с пестрым портфелем. Гумилев называл его «африканским». В 1920-м в «Вестнике литературы» было напечатано сообщение: «Живущий в первом "Доме Отдыха" на Неве Н. С. Гумилев, отдыхая, время от времени выступал по вечерам со своими стихами и воспоминаниями о своих африканских скитаниях».

На смену реальным путешествиям снова пришли воображаемые. Одно из лучших стихотворений 1920 года – «Сентиментальное путешествие». Пройденный не раз путь – через Черное и Средиземное моря – к Красному.

Чайки манят нас в Порт-Саид,
Ветер зной из пустыни донес.
Остается направо Крит,
А налево милый Родос.
Вот широкий Лессепсов мол,
Ослепительные дома
Гул, как будто от роя пчел,
И на пристани кутерьма.

В издательстве «Гиперборей» вышла отдельной книжкой «Мик. Африканская поэма». Критика приняла поэму не очень благосклонно. «Пусть мировые катастрофы потрясают человечество, пусть земля рухнет от подземных ударов – по садам

российской словесности разгуливают павлины, рогатые кошки и, вытянув длинную шею, размеренным шагом "изысканный бродит жираф"». Иванов-Разумник назвал свою рецензию: «Изысканный жираф».

Другая – еще беспощадней. «...Самая странная из книг Гумилева. Что-то среднее между Кипплингом и... Чарской. Для детей – мудрено и скучно, для взрослых – неловко и... тоже скучно». Этот отклик Вадима Шершеневича назывался «Панихида по Гумилеву».

Но Гумилеву важнее, наверно, была реакция его сына. А ему эта поэма нравилась, не казалась «мудреной». Играл с отцом в ее героев.

Ну, и главное, многострадальная поэма наконец-то увидела свет, хотя и не в самый подходящий момент.

Летом 1920-го редактирует роман Райдера Хаггарда «Алан Кватерман» и пишет к нему предисловие. Это издание, кажется, так и не увидело свет, но, надеюсь, еще найдется рукопись предисловия. По нему лучше всего можно понять, как уже в зрелые годы Гумилев относился к романтике дальних странствий и к той приключенческой литературе, которую так любил смолоду.

До последних дней он больше всего любил рисовать африканский пейзаж с высокими разлапистыми пальмами, львами, верблюдами и... «я сам с ружьем в руках». Такой рисунок был и в альбоме стихов, который он подарил Одоевцевой. После его ареста ее близкие сожгли альбом.

Все эти три года мечты оставались мечтами. Тогда еще не появилось слово «невъездной», но для таких, как Гумилев, никакой речи о легаль-

ных поездках за границу речи, конечно, не могло быть. А нелегально — значило эмигрировать.

Под настроение, сгоряча он мог сказать, что так и сделает. Весной 1921-го: «Вот наступит лето, возьму в руки палку, мешок за плечи и уйду за границу: как-нибудь проберусь». Во всяком случае, так передает его слова Соломон Познер, автор самых ранних воспоминаний о Гумилеве. Правда, непохоже, что он тогда, в 1921-м, думал об этом всерьез. Пришло признание. Казалось, открылся путь к славе. Успехи у женщин.

Но мечты о путешествиях не покидали.

* * *

И вдруг, совершенно неожиданно — предложение поехать в Крым. И не в толпе мешочников, не в теплушке, не на крыше, а в вагоне командующего морскими силами (коморси) Российской республики Александра Немитца.

Приглашение Гумилев получил в конце мая 1921-го от Владимира Павлова, флаг-секретаря Немитца.

По мнению Надежды Мандельштам, Немитц (или, как она его называет, Немец) позвал Гумилева «отдохнуть и подкормиться». И послал Павлова за ним в Петроград.

Должно быть, Надежда Яковлевна была в курсе. Осип Мандельштам имел к той поездке прямое отношение, воспользовался ею, чтобы приехать из Москвы в Петроград: «...он узнал, что в Ленинград едет от Немеца человек приглашать Гумилева в Крым, и попросил раздобыть и для него билет в штабной вагон. Павлов исполнил просьбу, и Мандельштам съездил в Петербург

проститься с отцом перед "экспедицией" на Кавказ».

Самому ли Немитцу пришла в голову мысль пригласить Гумилева? Во всяком случае, без его разрешения сделать этого никто бы не посмел.

Немитца называли «Первый Красный адмирал». На сторону революции он перешел в 1917-м, с 1919-го командовал силами Черноморского флота. Участвовал и в действиях сухопутных войск: в августе 1919-го вместе с Якиром и Гамарником руководил прорывом южной группы Двенадцатой армии из района Одессы в Житомир. С марта 1920-го командовал морскими силами республики, руководил боевыми операциями на Каспийском море против англичан и на Черном — против Врангеля. Вышел в отставку лишь в 1947-м в чине вице-адмирала.

С Павловым в 1923-м беседовал Лев Горнунг, поэт и замечательный фотограф. И передал его рассказ:

«В это время Гумилев уже окончательно расстался со своей военной формой, которую еще носил после войны, и одевался в простой костюм, косоворотку и кепку, заломленную назад.

В. А. Павлов служил в то время флаг-секретарем коморси Немитца. В июне Гумилев и Павлов приехали в Москву и уже отсюда, в салон-вагоне коморси Немитца, отправились в Севастополь».

Почти весь июнь Гумилев провел в Севастополе. Жил в вагоне. Повидал мать и сестру Ахматовой, узнал от них о смерти Андрея Горенко, старшего брата Анны Андреевны. Побывал в Феодосии и там случайно встретился с Максимилианом Волошиным.

На обратном пути сделал короткую остановку в Ростове. Актеры ростовского Театра-студии

специально для него (театральный сезон уже закрылся) сыграли его пьесу «Гондла».

Первые дни июля провел в Москве. В «Кафе поэтов» читал стихи: «Душа и тело», «Молитва мастеров», «Либерия», «Персидская миниатюра». После выступления познакомился с Яковом Блюмкиным.

По возвращении в Петроград побывал (в последний раз?) у Ахматовой. Рассказал ей о встрече с ее родными.

Поездка вдохнула в него новые силы. Вернувшись, сразу написал «Мои читатели», «На далекой звезде Венере...», «После стольких лет...».

Добился решения о переводе ростовского Театра-студии в Петроград и создания на его основе театра для постановки современных отечественных пьес.

* * *

Но больше всего его радовал главный итог путешествия: удалось издать сборник «Шатер».

Мало сохранилось экземпляров того первого издания, да и тираж-то был крохотулечный. Я с детства помню ту маленькую книжечку – на плохой бумаге, в обложке странного синего цвета. Она отличалась от других его сборников – была хуже издана.

Рукопись Гумилев брал с собой в Севастополь. А там ему помог, как считается, Сергей Адамович Колбасьев.

Николай Тихонов вспоминал: «...Вдруг Гумилев куда-то исчез. Говорили, что он уехал отдыхать в Крым. И когда он появился оттуда, он появился не один. С ним приехал человек, который впоследствии стал моим очень большим

другом. Это был Сергей Колбасьев, морской командир, молодой, высокообразованный. Он говорил на четырех языках. Он был заслуженный герой гражданской войны. Он сражался на Волге, он сражался на Азовском море, он командовал эсминцем на Черном море. Он сам писал стихи и прекрасно знал английскую и французскую поэзию...

Так вот, Колбасьев совершенно кустарным образом издал эту книжку. Я не знаю, где он достал грубую бумагу, на которой ее напечатали, а переплет он сделал из синей бумаги, которая шла на упаковку сахарных голов, их выдавали на матросский паек. Конечно, опечаток в этой книге было до черта».

«Шатер» – стихи об Африке. О том, как Гумилев работал над «Шатром», есть свидетельство писателя Василия Немировича-Данченко. После возвращения в Россию Гумилев однажды зашел к нему и попросил дать какие-нибудь рисунки, сделанные африканцами. Немирович подолгу бывал в Африке, и Гумилев надеялся найти что-то в его коллекциях.

– Зачем вам?

– Пишу географию в стихах... Самая поэтическая наука, а из нее делают какой-то сухой гербарий. Сейчас у меня Африка – черные племена. Надо изобразить, как они представляют себе мир.

Стихи получились не о представлениях африканцев, а о представлениях самого Гумилева. Прежде всего – его общая романтическая настроенность. Так он видел или хотел так видеть.

Как и все мы, он знал и отчаяние, и чувство безысходности. Но подавлял их и старался, чтобы в стихах их было поменьше. Должно быть,

потому, что пессимизм был очень уж типичен для поэтов – его современников. Трудно представить, чтобы он обращал к Богу упреки за дурно созданный мир, как это делала будущая Мать Мария:

Убери меня с Твоей земли:
с этой пьяной, нищей и бездарной...

Работа над «Шатром» вызывала у него особенно светлые ассоциации. Даже карта Африки, даже простое перечисление африканских рек и городов – «Царственный Нигер», «город сияющих крыш, Тимбукту»... Африка для него – «отражение рая», стихи окрашены в праздничные, радостные тона.

Но в этих стихах не только романтика, но и широта знаний. Постоянно встречаешь названия городов, племен, имена, обычаи. Они не просто упомянуты – имеют свои колорит, аромат. Об Абиссинии, Сомали, Египте нечего и говорить. Эти страны Гумилев повидал своими глазами. Но даже когда он упоминает Дарфур, Кордофан, Борну, где не бывал, и тут пишет точно о чем-то знакомом.

Николай Тихонов вспоминал: «Когда Гумилев привез "Шатер" и появился с ним в доме Мурузи, его сразу же обступили поклонники, особенно члены "Звучащей раковины", и стали просить у него книгу. И он ее раздавал. Я держался в стороне. Гумилев подошел ко мне, надписал одну из книг и сказал:

– Я хочу вам подарить свою книгу.

Я поблагодарил и с удивлением прочел сделанную им краткую надпись: "Отличному поэту, Николаю Семеновичу Тихонову. Гумилев"».

Легко представить, что значило для Гумилева появление этой книги. С 1918 года у него не выходило ни одного сборника. И он вправе был считать «Шатер» первой ласточкой. Уже брезжила надежда, что вскоре выйдет «Огненный столп», будут переизданы «Жемчуга», «Костер», «Фарфоровый павильон».

И действительно, совсем вскоре, осенью 1921-го, появились «Огненный столп» и «Жемчуга». В 1922-м снова изданы «Костер», «Огненный столп», «Шатер», «Фарфоровый павильон».

Но из всего этого Гумилев успел увидеть только севастопольское издание «Шатра».

«И УМРУ Я НЕ НА ПОСТЕЛИ»

Мы – дети страшных лет России...

А. Блок

Мы тоже дети страшных лет России...

В. Высоцкий

и родины больной родимое лицо

Б. Окуджава

«Только что вышла новая книжка Гумилева "Шатер", он с гордостью всем подписывал ее, а я забыла принести книжку на занятие. «Ну, что вы! – сказал Николай Степанович. – Ведь я приду к вам послезавтра на день рождения и там напишу. Это будет вам подарок». Но 3 августа 1921 года Гумилев на мой день рождения не пришел. Мы долго ждали его за огромным овальным столом в нашей квартире на Невском.

К такому дню было добыто угощение – чай с сахаром, бутерброды и вино. Увы, с нашим мэтром нам встретиться уже было не суждено!» Так вспоминала Ида Наппельбаум.

Анненков тоже ждал его в тот день, в «Клубе поэтов». «...Гумилев, однако, не пришел, что меня крайне удивило, так как он был чрезвычайно точен и всегда сдерживал свои обещания».

Его взяли утром 3-го августа. Накануне вечером он гулял с Берберовой. Потом до двух ночи сидел с Ходасевичем.

В ордере № 1071, выписанном в ЧК, говорилось: «Произвести обыск и арест Гумилева Николая Степановича, проживающего по Преображенской ул., д. 5/7, кв. 2, по делу 2534 3 авг. 1921». Но арестовали его в «Доме искусств». Отвезли в тюрьму на Шпалерную, 25. Шестое отделение, камера 77.

9 августа – первый допрос. В тот же день Гумилев попросил передать записку в «Дом литераторов»:

«Я арестован и нахожусь на Шпалерной. Прошу вас послать мне следующее: 1) постельное и носильное белье 2) миску, кружку, ложку 3) папирос и спичек, чаю 4) мыло, зубную щетку и порошок 5) Еду. Я здоров. Прошу сообщить об этом жене».

Он проходил по «делу Петроградской боевой организации». В просторечии – «таганцевскому делу», поскольку главой «боевой организации» объявили Владимира Таганцева, сына известного юриста, сенатора и почетного академика Н. С. Таганцева. По этому делу были привлечены к уголовной ответственности 833 человека. Среди них основоположник отечественной урологии профессор С. П. Федоров, бывший

министр юстиции, сенатор и член Государственного Совета С. С. Манухин, известный агроном Т. Т. Вырво, сестра милосердия О. В. Голенищева-Кутузова, профессор-юрист, проректор Петроградского университета Н. И. Лазаревский.

В большинстве своем – интеллигенция, но люди разных профессий, разного социального положения, разных политических взглядов. Видный химик-технолог Михаил Тихвинский когда-то входил вместе с Лениным в группу «Освобождение труда».

Об одном из давних знакомых Гумилева, арестованных вместе с ним, Нина Бальмонт вспоминала: «Гумилев вернулся из Африки и читал барышням стихи о том, как стреляют в львов, "целясь между глаз". Барышни млели. Гумилев целовал всех трех за дверкой буфета. Человек, женившийся на одной из барышень, долго на Гумилева сердился. Арестовали и его, и Гумилева. Гумилева выводили от следователя, его – вводили. Показали друг другу молча в знак примирения: Гумилев – "Илиаду", тот – историю литературы».

Дочь Бальмонта не назвала имени. Но в 2000 году опубликованы дневники искусствоведа Николая Николаевича Пунина, третьего мужа Ахматовой, погибшего в ГУЛАГе в 1953-м. Из дневников ясно, что Нина Бальмонт имела в виду именно его.

Его арестовали в один день с Гумилевым, 3 августа, и по тому же «делу». 7 августа из тюрьмы он попросил передать Вере Аренс, зная, что она была близка с Гумилевым: «Встретясь здесь с Николаем Степановичем, мы стояли друг перед другом как шальные, в руках у него была "Илиада", которую от бедняги тут же отобрали». (Пунин освободили через месяц, благодаря ходатайству Луначарского.)

Объявленный главой «заговора» Таганцев помогал тем, кто хотел бежать от большевиков за границу. Это было опасно, да и дорого – проводники требовали все большей платы. Но число желавших эмигрировать росло, особенно с марта 1921-го, после кровавого подавления «антисоветского мятежа» кронштадтских моряков. Многие из восставших ушли в соседнюю Финляндию. Той же кратчайшей дорогой бежали и некоторые «из бывших», предчувствуя усиление террора.

В конце мая на финской границе убили Ю. Германа, бывшего офицера, товарища Владимира Таганцева. При нем нашли антибольшевистские листовки. Таганцева арестовали. В его квартире устроили засаду и арестовывали всех подряд, даже курьера, который принес от академика Ольденбурга рукопись отца Таганцева.

На допросах Таганцев получил заверения Дзержинского, Менжинского и других руководителей ЧК, что к обвиняемым не будет применена высшая мера наказания, и рассказал о своих связях.

Назвал и имя Гумилева. Сказал, что дал ему 200 тысяч рублей для подготовки листовок (это крохотная сумма, равная дореволюционным пяти рублям с полтиной).

Все или почти все арестованные были убеждены, что их арест – случайность, что их вот-вот выпустят. Гумилев передал «на волю», что играет в шахматы и читает взятую с собой «Илиаду».

В ЧК шли ходатайства об их освобождении.

«Председатель Петербургского Отделения Всероссийского Союза Поэтов, член редакционной коллегии Государственного Издательства "Всемирная Литература", член Высшего Совета Дома Ис-

кусств, член Комитета Дома Литераторов, преподаватель Пролеткульта, профессор Российского Института Истории Искусств Николай Степанович Гумилев арестован по ордеру Губ. Ч. К. в начале текущего месяца. Ввиду деятельного участия Н. С. Гумилева во всех указанных учреждениях и высокого его значения для русской литературы, нижеименованные учреждения ходатайствуют об освобождении Н. С. Гумилева под их поручительство».

Подписи: известный литературный критик и искусствовед Аким Волынский (Аким Львович Флексер), Михаил Лозинский, журналист Б. Харитон (в 1922-м его выслали из страны) и даже А. Маширов (Самобытник), один из руководителей Петроградского Пролеткульта. Поставил свою подпись И. П. Ладыжников, издательский работник, друг Максима Горького. Присоединился к подписавшим и сам Горький.

* * *

Журналист и критик Николай Волковыский был одним из тех, кто обращался с просьбами к председателю Петроградской «чрезвычайки» Семенову и другим руководителям ЧК. Рассказ Волковыского об этой встрече писатель Александр Амфитеатров опубликовал 3 февраля 1923 года в рижской газете «Сегодня». Поведение Семенова поразительно типично не только для тех, но и для намного более поздних времен.

«Семенов принял нас холодно-вежливо. Руки не подал, стоял все время сам и не предложил нам сесть.

Вершитель судьбы В. Н. Таганцева, Н. И. Ла-

заревского, Н. С. Гумилева, проф. Тихвинского, скульптора Ухтомского и др. — производил скорее впечатление не рабочего, а мелкого приказчика из мануфактурного магазина. Среднего роста, с мелкими чертами лица, с коротко по-английски подстриженными рыжеватыми усиками и бегающими, хитрыми глазками, он, разговаривая, делал руками характерные округлые движения, точно доставал с полка и разворачивал перед покупательницами кипы сатина или шевиота.

— Что вам угодно?

— Мы пришли хлопотать за нашего друга и товарища, недавно арестованного — Гумилева.

— Кого-с?

— Гумилева.

— Гумилевича?

— Нет, Гумилева, поэта, Николая Степановича Гумилева, известного русского поэта.

— Гумилева? Не слыхал о таком. Он арестован? Не слышал. Ничего не знаю-с. Так в чем же дело?

— Мы крайне поражены его арестом и просим о его освобождении. Это безусловное недоразумение: Гумилев никакой политикой не занимался, и никакой вины за ним быть не может.

— Напрасно-с думаете. Я его дела не знаю, но, поверьте, что здесь может быть и не политика-с. Должностное преступление или растрата денег-с...

— Позвольте. Какое должностное преступление? Какие деньги? Гумилев никаких должностей не занимает: он пишет стихи, и никаких денег, кроме гонорара за эти стихи, не имеет.

— Не скажите-с, не скажите-с... бывает... бывает — и профессора попадают, и писатели... бывает-с... преступление по должности, казенные деньги... случается.

От этой бессвязной болтовни становилось и скучно, и жутко. Надо было положить ей конец.

— Не могли бы вы распорядиться, чтобы вам дали справку по делу Гумилева? Его готовы взять на поруки любые организации.

— Справку? С удовольствием. — Берет телефонную трубку.

— Барышня, номер такой-то... Это Семенов говорит. Тут вот делегаты пришли, так узнайте-ка там, арестован у нас Гумилевич?

Мы перебиваем.

— Гумилев, Николай Степанович, писатель, поэт...

— Не Гумилевич, а Гумилев, Николай Степанович. Он кто? (Обращается к нам.)

— Писатель, поэт.

— Писатель, говорят. Ты слушаешь, да? Так наведи справку и позвони мне... тут ждут.

Кладет трубку и продолжает нас занимать:

— Бывает-с, и профессора, и писатели попадают. Что прикажете делать? Время такое-с...

Мы молчим. Он все оживленно говорит.

Звонок.

— Да? Ага... гм... гм... гм... Ну, хорошо.

Кладет трубку. Быстро оборачивается к нам.

— Ваши документы, граждане.

Точно ломом по голове ударило.

— Какие документы? Вы же знаете, кто мы: представители таких-то организаций...

— Ваши документы, пожалуйста.

Начинаем рыться в карманах. На душу сразу упала тоскливая жуть. Один вынимает из бумажника первую попавшуюся записку. Оказывается — разрешение работать в каком-то секретном архиве, подписано "самим" Зиновьевым.

Семенов берет бумажку, не успеваает ее про-

честь, видит подпись Зиновьева и быстро возвращается.

— Благодарю вас, больше не надо. Так вот-с... (начинает говорить медленнее), так вот-с... действительно арестован. Дело в следствии. Следствие производится.

— Нельзя ли до окончания следствия освободить на поруки?

— Никак нельзя. Да и к чему? Через несколько дней, через недельку-с следствие закончится. Да вы не беспокойтесь за него: у нас сидится не плохо, и кормим прилично.

— Об этом мы не беспокоимся: ему присылают передачи.

— Тем более-с: раз передачи посылаете, так и совсем хорошо.

— Нельзя ли узнать, по какому делу он арестован?

— Никак нельзя. Что вы? Разве можно выдавать тайну следствия? Никогда не говорят, за что человек арестован... Ведь это мешает работе следствия, мешает. И прежде так было, при старом режиме тоже никогда не говорили.

— Положим...

— Уверяю вас. Всегда так было-с. У нас скоро закончится следствие. И вообще, у нас теперь скоро все идет. В месячный срок следователь обязан предъявить обвинение. В месячный срок-с. У нас это строго теперь. В месяц не предъявил (ударяет по столу) — сам в тюрьму. Все равно кто — следователь или комиссар — сам садись. У нас теперь приняты самые строгие меры к охране гарантий прав личности... да-с, к охране гарантий прав личности. Строго-с!

Губы едва дрогнули почти неуловимой иронией:

— Да и чего вам беспокоиться? Если вы так

уверены в его невинности – так и ждите его через неделю у себя. И беспокоиться нечего, раз так уверены.

Сердце сжималось от нечеловеческого ужаса. За внешним отсутствием смысла этой болтовни чувствовалось дыхание надвигавшейся смерти.

Едва могли спросить:

– А как же получить справку?

– Через неделю... вы не ходите ко мне, я очень занят, а позвоните ко мне по телефону. Знаете, как? Спросите просто на станции: Губчека, а потом у нас на коммутаторе попросите председателя Семенова – вам сразу дадут мой телефон. У нас это просто. Так через неделю позвоните. Прощайте...

Продолжение – через неделю. Но уже не лично, а по телефону.

– Барышня, Губчека, пожалуйста... Губчека? Председателя Семенова.

– Семенов у телефона. Кто? А, по делу Гумилева? Послезавтра прочтете в газете».

* * *

24 августа Петроградская ЧК приговорила к расстрелу шестьдесят одного из арестованных, а 3 октября – еще тридцать шесть. О первом приговоре оповестила страну через газету «Петроградская Правда». 1 сентября 1921-го там появилось обширное, на полторы газетных страницы сообщение «О раскрытом в Петрограде заговоре против Советской власти».

Список приговоренных к расстрелу возглавлял В. Н. Таганцев. Он был назван «главой и руководителем Петроградской боевой организации». Он якобы «состоял в деловом отношении с разведками финского генерального штаба, аме-

риканской, английской», а «главная квартира организации находилась в Париже».

Связь с иностранными разведками. Мы знаем, чего стоило это обвинение – его предъявили даже Лаврентию Берия, который до того сам всех объявлял шпионами.

В сообщении ЧК говорилось, что конечной целью заговорщиков была «реставрация буржуазно-помещичьей власти, с генералом-диктатором во главе».

Для убедительности приводились состав и структура организации. Она была, оказывается, не только сугубо секретной, но и тщательно продуманной. Состояла «из нескольких групп: а) офицерской организации, б) группы профессоров, в) объединенной организации кронморяков». Эта последняя, состоявшая из кронштадтцев, бежавших в Финляндию после подавления их восстания, но тайно вернувшихся в Петроград, «была разбита по районам, во главе которых стояли начальники». У этих кронштадтцев свой штаб и своя штаб-квартира в Петрограде. В Финляндии они «снабжались оружием и подложными документами».

Была еще якобы и группа, именовавшая себя «уполномоченными собрания представителей фабрик и заводов». В сообщении ЧК о ней сказано: «меньшевистско-эсеровский блок, включавший в себя также и анархистов».

Сообщалось, что заговор не ограничивался Петроградом: «Одновременно с активным выступлением в Петрограде должны были произойти восстания в Рыбинске, Бологое, Ст. Руссе и на ст. Дно с целью отрезать Петроград от Москвы». И так далее, и так далее. На полутора газетных страницах места много...

Среди осужденных на казнь – шестнадцать женщин, от шестнадцати до шестидесяти лет...

Тридцатый в списке «активных участников заговора», приговоренных к расстрелу: «Гумилев Николай Степанович, 33 лет, бывший дворянин, филолог, поэт, член коллегии "Издательства Всемирной литературы", беспартийный, бывший офицер. Участник Петроградской боевой организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности».

Что уж говорить о том, как велось следствие, если в приговоре перепутан даже возраст Гумилева. Ему было 35, а не 33.

Не знал поэт, что смерть уже грозит
Не где-нибудь в лесу Мадагаскарском,
Не в удушающем песке Сахарском,
А в Петербурге, где он был убит.

Ни тогда, ни впоследствии не появилось официальных сообщений о том, когда и где приговор будет – или уже был – приведен в исполнение.

Теперь можно считать установленным, что казнили сразу после вынесения приговора: 24 или 25 августа.

Где? Ахматова считала, что под Петербургом, возле станции Бернгардовка.

Над черным бернгардовским небом
Стрельнула, как птица, беда.

Приговоренных заставили самих рыть яму. Через нее перебросили помост – доску. На нее и приказывали встать, чтобы после выстрела человек падал в яму – так легче палачам.

Ему скучно, чай, и несподручно, чай,
Нас в обед вести на расстрел.

Сам Гумилев предвидел:

В какой болотине проклятой
Моя окончится дорога.

Не о такой ли судьбе думал и Высоцкий:

К каким порогам приведет дорога?
В какую пропасть напоследок прокричу?

«Коллегия Верховного суда РСФСР рассмотрела протест Генерального прокурора СССР на постановление Президиума Петроградской губернской чрезвычайной комиссии от 24 августа 1921 года, которым Гумилев Николай Степанович, 1886 года рождения, русский, член коллегии издательства "Всемирная литература", председатель Петроградского Всероссийского союза поэтов без указания Закона подвергнут высшей мере наказания – расстрелу».

Это рассмотрение было проведено 30 сентября 1991 года. Решение: «Постановление Президиума Петроградской губернской чрезвычайной комиссии от 24 августа 1921 года в отношении Гумилева Николая Степановича отменить и дело производством прекратить за отсутствием состава преступления».

Через семьдесят лет!

А еще через год, в 1992-м, Прокуратура Российской Федерации признала, что сфальсифицировано было все «дело Петроградской боевой организации».

* * *

Одна из опубликованных в последние годы статей о «таганцевском деле» завершается словами: «И сейчас немало желающих поиграть человеческими жизнями. Посмотрите, как жадно они рвутся к власти. Не стоит забывать уроков истории».

Пьем за то, чтоб не осталось по России
больше тюрем,
Чтоб не стало по России лагерей.

Но сможем ли мы вполне понять, как фабриковалось «дело Петроградской боевой организации». Даже если станут известны все 382 тома этого «дела»?

Ведь главное во всех таких «делах» зачастую не то, что зафиксировано письменно, а то, что делалось устно. От кого «сверху» шли указания, каков был их характер, как и какими методами добывались признаний? В какой мере то, что записано в протоколах, соответствовало тому, что говорилось на самом деле? В обвинительном заключении следователя сказано, что на первых допросах Гумилев ни в чем не признавался, а потом согласился со всеми обвинениями.

Да, нам не докопаться до многого в этом «деле», как и в других подобных. Но ключ к пониманию — в тайных, а иногда и явных заяв-

лениях руководства тогдашнего режима. Вот хотя бы строго секретная записка Ленина членам Политбюро. Она приведена и полковником Э. Хлысталовым, следователем МВД, в книге «Тайны гостиницы «Англетер»:

«...Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать...»

* * *

Тогдашняя интеллигенция должна была глубоко сочувствовать Гумилеву. Однако не все так однозначно. Нам сейчас может казаться, что общество четко делилось на две противостоящие стороны. Те, кто с властью, и те, кто против, хотя зачастую и боятся проявить это.

— Как и в сталинское, и послесталинское время? — скажете вы. — Не совсем. В защиту Гумилева и тех, кого взяли вместе с ним, шли ходатайства, просьбы. В годы сталинского Большого террора на это уже редко кто решался. И страх держался потом еще долго. Как сказал мой друг Алеша Симонов, «мы протестовали громко, но про себя».

Во времена Гумилева массовые репрессии еще не достигли сталинского размаха. К тому же до-революционные порядки были не по душе очень многим, и революция дала надежды немалой части интеллигенции (не знали же, что Ленин называл ее — «говно»).

Иначе как объяснить, например, заметку «Попытка реставрации», которая появилась в пер-

вом номере газеты «Искусство коммуны» через год после Октября?

«...С каким усилием, и только благодаря могучему коммунистическому движению мы вышли год тому назад из-под многолетнего гнета тусклой, изнеженно-развратной буржуазной эстетики. Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые "критики" и читаться некоторые поэты (Гумилев, например). И вдруг я встречаюсь с ними снова в "советских кругах"... Этому воскрешению я в конечном итоге не удивлен. Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь нет-нет да и подымет свою битую голову».

Написал это Николай Пунин, будущий муж Ахматовой. В Гумилеве увидел своего классового врага. Через два года его арестуют по тому же «таганцевскому делу».

А как отнеслась русская эмиграция к гибели Гумилева? Многим, если не большинству, хотелось верить, что Гумилев активно включился в борьбу против Советской власти. Те же, кто не верил, ссылались на его политическую наивность и старомодные представления о благородстве.

Среди уникальных материалов, собранных Романом Тименчиком, есть некролог, опубликованный в берлинской эмигрантской газете «Голос России» 14 сентября 1921 года:

«Он не понимал, что такое историческое развитие. Он мог быть серьезно убежден, что средневековые рыцари погибли только потому, что их перебили, и что в один прекрасный день они могут вновь возродиться. Его бы нисколько не удивило, если бы вслед за большевиками в России воцарился римский папа. Он не любил со-

ветского строя, но совершенно конкретно, потому что негде было печатать стихов, приходилось самому готовить обед и очень трудно было достать бутылку красного вина. Не любил он большевиков еще потому, что они неблагородны. А в нем были, быть может, несколько отсталые понятия о благородстве, в нем была прямота, смелость и решительность. Гумилев, вероятно, очень удивился бы, если бы ему предложили принять участие в "конспиративном" предприятии. С его точки зрения, это было бы нечестно и неблагородно, хотя бы это предприятие было направлено против его злейших врагов. Я ясно представляю себе, что он молчал как вода, когда его в чека допрашивали о фамилиях, знакомствах, адресах. Быть может, это его погубило.

Гумилев – и участие в заговоре, – это все равно, что Зиновьев – и вызов на дуэль. Гумилев мог ехать в Африку охотиться на львов; мог поступить добровольцем в окопы, мог бы, если бы до этого дошло, предупредить Зиновьева по телефону, что через час придет и убьет его, но Гумилев-заговорщик, Гумилев-конспиратор – неужели мы все сошли с ума?»

С 1986 года, когда с имени Гумилева был снят запрет, вопрос о его участии в «таганцевском заговоре» обсуждался на страницах отечественных газет и журналов. Почти всегда утверждалось, что он не был и никак не мог быть врагом новой власти. Все время старались сказать: он наш, он хороший, он советский, хотя может быть, и не очень сознательный.

Петербургский филолог Валерий Сажин в 1990-м одним из первых сказал другое:

«Участившиеся в последнее время споры о степени серьезности или выдуманности "дела" Таганцева производят грустное впечатление. Люди,

казалось бы, не консервативных взглядов с прежним маниакальным упрямством исходят из догмы, что "хороший человек" Гумилев не мог ни в какой форме бороться с "хорошей" революцией, и поэтому надо во что бы то ни стало добиваться его реабилитации — доказать, что он чист и не виновен перед властью большевиков. Еще куда ни шло, если бы толковали об оправдании в постыдных обвинениях — убийстве, поджоге, но здесь... Гордиться следует, что Гумилев одним из первых среди писателей попытался бороться с властью большевиков, пусть в наивной форме, неумело, но — бороться! И еще: а захотел бы такой реабилитации от этой власти сам Гумилев?»

* * *

Пытался ли Гумилев как-то бороться с властью большевиков? Дело в том, какой смысл вкладывать в слово «борьба».

Одоевцева упоминала о листовке, которую он подготовил для восставших кронштадтцев. И еще более определенно: «Он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре».

В одной из статей, опубликованных уже после ее смерти, я прочитал, что, вернувшись на родину, она отказалась от этой части своих мемуаров, «призналась в своих фантазиях» после того, как заместитель Генерального прокурора СССР И. Абрамов всерьез сослался на ее опубликованные воспоминания как на лист протокола.

Не могу не верить. Но в разговорах со мной Одоевцева настаивала, что Гумилев писал листовку. Больше того, повторила это в интервью по телевидению.

Конечно, она могла в какой-то ситуации отказаться от своих слов, побоявшись, что они помешают реабилитации Гумилева.

Так писал он листовку или нет?

С уверенностью можно лишь сказать, что новая власть ему, конечно, была не по душе. Что Гумилев встречался с людьми, которые хотели ее падения. Обещал присоединиться к народным выступлениям против нее, если они возникнут. И даже, как он сказал на одном из допросов, готов был агитировать «прохожих».

Перед молоденькой девушкой мог щегольнуть словом «заговор».

Но активно, продуманно, систематически участвовать в какой-либо политической деятельности? Это вряд ли. Не в его характере.

И все-таки сбылось его предвидение:

И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще...

Миг последний печален и прост... Перед гибелью, там, под Бернгардовкой, встал ли в его воспаленном мозгу образ бесконечно дорогой женщины? И обращался ли к ней, как Байрон:

Когда время мое миновало
И звезда закатилась моя,
Недочетов лишь ты не искала
И ошибкам моим не судья.

Ему, так часто увлекавшемуся одновременно несколькими женщинами, может быть, приви-

делся тогда лик всепрощающей матери... Говорил же:

– Возлюбленная будет и другая, но мать – одна.

Анну Ивановну кто-то потом сумел убедить, что ее младший сын жив. Она поверила, будто ему удалось бежать, и он, с помощью друзей и почитателей, конечно, проберется в свою любимую Африку. «Эта надежда не покидала ее до смерти», – вспоминала старшая сестра Гумилева.

В его стихах часто встречается слово «веселый». Так и кажется, что это нарочито, что этим словом он гнал от себя мрачные мысли. Не по его ли примеру драматург Николай Эрдман вставил это слово в свои, скажем, не такие уж радостные стихи:

Земля, земля, веселая гостиница
Для проезжающих в далекие края!

ЕГО ЧИТАТЕЛИ

*Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.*

...

*И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во Вселенной,
Скажет: я не люблю вас, –
Я учу их, как улыбнуться
И уйти, и не возвращаться больше.*

Н. Гумилев



«СТАРЫЙ БРОДЯГА В АДДИС-АБЕБЕ»

*Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне...
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.*

Н. Гумилев



Летом 1921 года, незадолго до гибели, Гумилев написал стихотворение «Мои читатели». Оно – из последних. И строки его принадлежат к самым известным из всего его наследия.

Стихотворение, как вы, очевидно, помните, начинается с трех совершенно конкретных образов.

Конечно, не всегда надо за поэтическим образом искать конкретное лицо, событие, факт. Но когда Гумилев писал о себе, своей жизни, он старался не особенно изменять факты, лишь облакал их в романтические одежды.

Второй и третий из этих читателей вполне узнаваемы. Поэтому о них – потом.

Но вот первый? Тот, с которого Гумилев начинает перечисление своих «сильных, злых и веселых» читателей:

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена
Прислал ко мне черного копыеносца
С приветом, составленным из моих стихов.

Никто даже не пытался искать прообраз «старого бродяги». Но ведь если есть прототипы двух других, то он должен быть и здесь.

Мне удалось найти лишь один намек. Николай Оцуп, назвав стихотворение «Мои читатели» духовным завещанием Гумилева, походя бросил: «Мы узнаем и старого бродягу в Аддис-Абебе, знакомого петербургским друзьям поэта по его устным рассказам».

Значит, Гумилев об этом человеке любил рассказывать. Но кто он? Оцуп не назвал.

* * *

Где же его искать?

Среди абиссинцев? Что ж, среди них были такие, кто отлично знал русский язык, годами жил в нашей стране. В одном из писем Чемериной сказано вскользь, как о чем-то естественном и не вызывающим удивления: «...оркестр трубный абиссинцев, учившихся в России». Абиссинцы учились в русских военных училищах, духовных семинариях и фельдшерских школах. Да и переводчиками при российской миссии служили не русские, а эфиопы.

Несколько абиссинцев приехали в Россию с Ашиновым еще в конце восьмидесятых годов девятнадцатого века. Но имена их забыты, и не-

известно, вернулись ли они на родину. О тех, кто побывал позже, известно больше. Хайле Мариам Ванде из Харэра приехал в Россию с поручиком Машковым в начале девяностых. Выучил русский язык. В 1897 году вернулся в Эфиопию вместе с первой русской дипломатической миссией.

Краснов, тогда подъесаул лейб-гвардии Атаманского полка, посланный во главе конвоя сопровождать русскую дипломатическую миссию, написал в своей книге «Казачи в Абиссинии»: «В Москве к отряду присоединился мальчик-кадет 1-го Московского корпуса Хайле Мариам Уонди, сын Ато Уонди, харарского землевладельца, абиссинец родом. Восьми лет от роду он приехал в Петербург совершенным абиссинцем, теперь ему 14 лет, он отлично говорит по-русски, но забыл свой родной язык. Доктор Бровцын, кандидат Кузнецов и класный фельдшер Сасон пытаются воскресить в его памяти абиссинский язык, но это им не всегда удается. На вопросы по-абиссински мальчик сконфуженно улыбается и отрицательно качает головой».

Я не уверен, что мальчик действительно мог забыть родной язык и что русскому фельдшеру приходилось его учить, но все же свидетельство Краснова любопытно.

Потом Хайле Мариам снова поехал в Россию, учился в Павловском военном училище, стал поручиком русской армии. Но вскоре после окончательного возвращения на родину умер от какой-то болезни — как считали, заразился ею в России. Ко времени гумилевских путешествий его уже не было в живых.

Высокого положения в эфиопском обществе добились несколько знатных молодых людей, приехавших в Россию в 1895 и 1896–1897 годах

учиться военному делу и медицине. Самую большую известность среди них получил Таккеле Уольде Хавариат. Он провел в России двенадцать лет. Живя в русской семье, настолько освоился, что его называли Петром Сергеевичем. Окончил в Петербурге кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище, считался способным офицером. У него, по словам крупнейшего эфиопского историка, «сложились дружеские отношения с несколькими наиболее знатными русскими либералами того времени». Подружился он и со старшим сыном Пушкина.

Вернувшись на родину с либеральными и демократическими идеями, Таккеле Уольде Хавариат стал выступать с проектами реформ. Это не раз мешало его карьере, тем не менее он занимал высокие посты. В начале тридцатых годов двадцатого века – министр финансов. Потом – министр иностранных дел Эфиопии и ее представитель в Лиге Наций. После захвата Эфиопии войсками Муссолини в 1936-м – один из руководителей партизанской войны.

Встречал ли его Гумилев? Трудно сказать. В 1908–1911 годах Таккеле долго жил во Франции и в Англии. Гумилев мог встретиться с ним лишь во время своего последнего путешествия, в 1913-м. Но слова «старый бродяга» подходят ли государственному деятелю, дипломату?

А вот имя другого знатного абиссинца, хотя и чуть измененное, вошло в гумилевские стихи. Один из героев поэмы «Мик» – Ато-Гано, хозяин Мика. Гумилев так представил его читателям:

Смутились абиссинцы – но
Вдруг выступил Ато-Гано,
Начальник их. Он был старик,

В собраниях вежлив, в битве дик,
На все опасные дела
Глядевший взорами орла.

Очень похожее имя – Ато Гено – у человека из знатного рода, который приехал на учебу в Россию еще в 1895-м. Он тоже проникся идеями тогдашних русских демократов и вернулся на родину реформатором. И тоже добился высокого положения в эфиопской иерархии.

Скорее всего Гумилев встречался с Ато Гено. Но как бы хорошо ни знал Ато Гено русский язык, мог ли он стать почитателем гумилевских стихов, не так уж понятных и близких иностранцу?

* * *

Все-таки «старого бродягу в Аддис-Абебе» надо искать среди наших соотечественников.

Анна Васильевна Чемерзина писала, как о чем-то вполне обыденном: «Завтра к нам с утра приедут трое русских Абиссинии, и мне придется занимать их разговорами».

Сколько же их было тогда, этих «русских Абиссинии»? Не только русских по национальности, а вообще выходцев из России?

Статистики в Эфиопии не велось, так что ни о каких точных цифрах не может быть и речи. Выходцев из России было, наверно, меньше, чем греков, державших мясные и винные магазины. Или индийцев, которым, как сказано в письме Чемерзиной начала 1911-го, принадлежали «универсальные склады всего, от ваксы до ламп, материй, ковров и кроватей включительно».

Но все же выходцы из России были, причем люди очень разные и по профессии, и по социаль-

ному положению. В провинции Марако жил бывший казачий офицер Трофимов с женой, тоже русской, они имели кофейную плантацию.

В письмах Чемерзиной в начале 1911 года есть и такие фразы: «Для всяких починок обращаемся к русскому кавказцу Ганефи». Долгие годы в Абиссинии жил грузин Петр Мерабишвили. Менелик назначил его придворным врачом. В 1910-м «доктор Мераб» открыл в Аддис-Абебе амбулаторию и первую в Абиссинии аптеку, назвав ее «Грузия».

Может быть, «старый бродяга» – это Бабичев? Во время пребывания Гумилева в Аддис-Абебе он находился там или в ее окрестностях. Как удалось выяснить, звали его Иваном Филаретовичем. Он был офицером 25-го Казанского драгунского полка. В 1897 или 1898 годах, когда ему было восемнадцать или девятнадцать, оказался в Эфиопии в составе военного сопровождения русской дипломатической миссии. В 1899-м участвовал в экспедиции на юго-запад Абиссинии, к озеру Рудольф. Вскоре женился на знатной абиссинской девушке и остался в стране. Получил один из высоких титулов – европейцы приравнивали его к званию полковника в военной иерархии.

Одно время находился в опале у царского правительства, должно быть, за самовольное решение остаться в Абиссинии. Но ко времени приезда Гумилева опала была уже давно снята. В мае 1904-го глава российской миссии в Абиссинии доносил министру иностранных дел графу Ламздорфу: «Вследствие секретной телеграммы Вашего Сиятельства от 18-го сего мая относительно Высочайшего соизволения на снятие с поручика запаса Бабичева запрещения пребывать в Абиссинии, означенный поручик был

извещен мною, что впредь он будет считаться полноправным членом русской колонии в Аддис-Абебе.

Вчера поручик запаса Бабичев явился ко мне и горячо благодарил за оказанную ему Высочайшую милость».

Так что его простил сам Николай II. Потом, в 1912 году, Бабичев подписывал царю рождественскую поздравительную телеграмму от имени всей русской колонии.

Иван Филаретович прожил в Эфиопии всю дальнейшую жизнь. Умер весной 1955-го в возрасте 84 лет. Седой старик-европеец с густой окладистой бородой, он привлекал к себе взгляды любопытных на улицах Аддис-Абебы.

Из пяти его детей наибольшую известность получил сын «Мишка» (его так и звали всю жизнь). Император Хайле Селассие назначил его своим личным пилотом. Во время итало-эфиопской войны 1935–1936 годов он остался верен Эфиопии и по существу командовал ее авиацией – двенадцатью старенькими самолетами. Они не могли противостоять четыремстам итальянским бомбардировщикам и истребителям и использовались главным образом как средства связи, поскольку телефонами и радиосвязью страна была обеспечена плохо. Однако за всю войну ни один из самолетов Бабичева не был сбит.

В 1941-м, после освобождения Эфиопии, Бабичев вновь стал одним из руководителей ее маленькой авиации. Потом был переведен на дипломатическое поприще и в конце 1944-го послан в Москву в составе первого эфиопского дипломатического представительства в СССР. Проработал он в Москве до 1948-го. Женился на русской. Потом вернулся в Эфиопию. Семья осталась в

Москве (причин я не смог узнать). Умер в 1964-м, похоронен в центре Аддис-Абебы у собора Святой Троицы, на кладбище Героев. На могиле надпись на амхарском языке: «Здесь покоится первый эфиопский летчик».

Ивана Филаретовича, отца Мишки, наверное, можно было бы назвать «старым бродягой». Но можно ли причислить его к читателям? Боюсь, что нет.

* * *

Но вот первое письмо Чемерзиной после прибытия в Аддис-Абебу. Она подробно рассказывает о торжественной встрече мужа, нового русского посланника. Было это 30 октября 1910-го. «Народу набирается масса... Затем все прощаются, и мы остаемся среди русских. Их немного: наш доктор да какой-то бывший офицер, носящий абиссинскую одежду С.»

Не давал мне покоя этот «бывший офицер, носящий абиссинскую одежду». Почему в письме «С.», а не полная фамилия? Не знать ее Анна Васильевна не могла. Ведь сама пишет, что после ухода эфиопов посидеть и поболтать остались только двое.

Почему же не захотела в письме назвать фамилию? Лишь потому, что этот человек поселился в чужой стране и не хотел возвращаться на родину? Но в те годы это само по себе не считалось тяжким преступлением. Так, может быть, в судьбе «С.» была какая-то тайна?

Этот человек был в Аддис-Абебе в одно время с Гумилевым. Не так уж много соотечественников мог встретить там Николай Степанович. Уже по этой причине хотелось установить, кто же такой «С.».

Среди русских фамилий, упоминаемых в донесениях Чемерзина, только одна начиналась с буквы «С» – Сенигов. И в письме Анны Васильевны, конечно же, речь шла о нем. Не без труда узнал я его имя и отчество: Евгений Всеволодович. Человек необычайной судьбы. В те годы он жил неподалеку от Аддис-Абебы. Его называли «белым эфиопом». Сведений о нем сохранилось мало. Говорили, что его семья была близка ко двору Николая II и сестра была фрейлиной императрицы. Сенигов служил в Туркестане, в последние годы перед приездом в Эфиопию жил в Самарканде.

В Эфиопии оказался на рубеже веков, по одной версии, в составе военной миссии, по другой – вместе с несколькими друзьями, которые охотились, собирали этнографические редкости, жили в палатках. Потом все вернулись на родину, а Сенигов остался. Император Менелик даровал ему небольшое имение и нередко прибегал к его услугам, когда нуждался в переводчике.

Немецкий путешественник Фридрих Бибер, готовясь в Аддис-Абебе в 1905 году к экспедиции в Каффу, записал в своем дневнике: «Сопровождать нас император прислал одного из своих надежнейших людей. Это бывший русский офицер, превратившийся в настоящего эфиопа – Е. Сенигов. Негус подарил ему участок земли в Даура, неподалеку от Аддис-Абебы, и часто приглашал в свой дворец. Там он познакомился с красавицей-амхаркой, которая вскоре стала его женой».

Но более известен Сенигов как художник. Благодаря мастерству живописца – природному дару (он, кажется, нигде не учился) – его приглашали рисовать портреты знатных людей Эфиопии, даже самого Менелика и императрицы Таи-

ту. Большинство картин Сенигов создавал не ради денег. Чешский ученый Чеслав Есьман называл его русским Гогеном и писал со слов очевидцев: «Сенигов рисовал большие композиции на листах грубой бумаги, предвосхищая того Гогена, которого выдумал Сомерсет Моэм». Эти картины Сенигов почему-то уничтожал. Может быть, в периоды обострения нашей национальной болезни, пристрастия к спиртному...

Сенигов знал языки нескольких местных народов, жил по местным обычаям, одевался как эфиоп. Ходил босым, от чего знатные эфиопы уже отказывались. Доктор Мераб писал: «Я не знаю, было ли тут дело в характере его искусства или в его любви к старине, или же его демократические, социалистические идеи свободы, братства и равенства побуждали его вести себя таким образом».

Насколько можно судить по отрывочным данным, Сенигов проникся духом народничества, но видел, что капиталистическое развитие разрушает русскую крестьянскую общину. Влюбившись в природу Эфиопии, он полагал, что сможет там, на одном из живописных островов озера Тана, создать народную коммуну и воплотить свои идеи.

Вот она, может быть, и разгадка, почему Чермерзина не называла фамилию «Сенигов» в письме домой — из-за идей «свободы, братства и равенства».

Из утопического прожекта ничего не получилось. Сенигов проявлял себя в качестве военного советника и администратора при эфиопских феодалах.

Российские дипломатические представители в Абиссинии не обошли Сенигова своим вниманием. А. Орлов, глава российской миссии, доносил в

Петербург 10 апреля 1901 года: «Около трех лет уже проживает в Абиссинии лицо, называющее себя русским подданным и поручиком запаса Сениговым. Лицо это ранее проживало в Харраре, а год тому назад перешло на службу к г. Леонтьеву. В настоящее время Сенигов, не довольствуясь скромным вознаграждением, получаемым от Леонтьева, поступил на службу к Расу Ольдо-Георгису, правителю Каффы, куда на днях и уезжает в качестве инструктора войск Раса».

Через несколько лет, в июне 1906-го, глава российской дипломатической миссии в секретном донесении министру иностранных дел Извольскому упоминает «одного совершенно абиссинившегося бывшего русского офицера Сенникова, живущего в Каффе, не имеющего не только никаких связей с Россией, но даже враждебно к ней относящегося».

Отношения Сенигова с властями Российской империи, очевидно, не улучшились и в дальнейшем. Во всяком случае, в телеграмме, посланной Николаю II в Ливадию на Рождество 1912 года русской колонией в Абиссинии, подписи Сенигова нет.

Журналист Сергей Кулик писал, что на караванной дороге из Эфиопии в Кению в маленьком селении Локинач, возле реки Омо, ему, уже в семидесятых годах двадцатого века, показали связку книг, принадлежавших жившему там когда-то европейцу, которого называли «белым эфиопом». Одна из книг оказалась русской «Наши черные единоверцы, их страна, государственный строй и входящие в состав государства племена». Издана И. П. Сойкиным в Петербурге в 1900 году. В левом углу побуревшая чернильная надпись — Senigoff.

По словам Кулика, путешествовавший вместе с ним французский профессор Камиль Арамбур еще до Второй мировой войны обнаружил в этом селении сарай, где хранились книги на нескольких европейских языках. Стены были увешаны карандашными рисунками и акварелями – сочными, динамичными зарисовками батальных сцен, лирическими пейзажами и портретами представителей местных племен в национальных костюмах. Старики Локинача с благоговением говорили о хозяине сарая – внутри, кстати, выглядевшего вполне уютно, – называли его «белым эфиопом» и сетовали, что он не посещал их уже несколько десятилетий. А в былые времена с наступлением холодов он каждый год подолгу здесь жил, рисовал и лечил местных жителей.

* * *

Поразительно, но если бы не трагическая гибель, Гумилев мог бы снова увидеть этого человека. В 1921-м, после почти четверти века жизни в Абиссинии, Сенигов возвращался на родину. Хотел «служить делу Революции». Дорога домой оказалась долгой. Попал в Москву лишь в 1923-м.

Профессор Георгий Цыпкин нашел в Архиве министерства иностранных дел Российской Федерации заявление наркому Чичерину от «эмигранта Евгения Всеволодовича Сенигова». Дата – 27 августа 1923 года.

«В 1898 г., числясь неблагонадежным, я эмигрировал из России в Абиссинию, где и прожил безвыездно в течение 24 лет.

В 1921 г., по окончании интервенции, я выехал обратно в Советскую Россию, чтобы служить

делу Революции и сообщить мои сведения об Абиссинии.

В дороге был насильственно задержан в течение 2-х лет в Египте и Болгарии».

К заявлению приложена автобиография. Из нее следует, что он родился в 1872-м. Учился в реальном училище в Петербурге, а в 1892–1894 годах – в Московском Алексеевском военном училище. В 1894–1897 годах служил в Фергане в 4-м Туркестанском линейном батальоне. С 1898-го – в Абиссинии. Первые три года – с Леонтьевым. В 1901–1918 годах – «начальник правого крыла армии раса Вольдегиоргиса и управлял соответствующей провинцией».

С 1918 года, после смерти раса, – фермер («ферму имею и до сих пор») в Западной Абиссинии на реке Баро около Гамбелла (Уалега).

Приехав в Москву, Сенигов всячески старался привлечь внимание к своей второй родине. Сохранилось объявление о его лекции в марте 1924-го:

В Большой аудитории Политехнического Музея

Во вторник 1 апреля с. г.

Бывший абиссинский администратор

Евгений Всеволодович Сенигов

прочтет

популярную, иллюстрированную диаграммами,

картами и рисунками лекцию на тему

Современная Абиссиния

(Страна и быт за последние 50 лет)

Часть I

1) Географический очерк, 2) народности, 3) этнография, 4) производство, 5) внутренние рынки, 6) ввоз и вывоз.

Часть II

1) Старый и новый феодализм, 2) законы страны, 3) развитие абсолютизма – 1895–1907 годы, 3) буржуазно-аристократическая конституция с 1907–1918 года.

Цена билетов от 30 коп. до 3 рублей.

* * *

Он страстно хотел, чтобы власти Советской республики обратили взоры к Абиссинии. Весной 1924 года писал в Наркоминдел:

«Цель моего приезда связать мою вторую родину, Абиссинию, с государством, которое по принципам III Интернационала может дать бескорыстную (в смысле империализма) поддержку ей в отношениях:

1) Развития натуральной производительности страны;

2) Принятия соответствующей системы Народного образования;

3) Получив научную оценку своего природного социального строя, развить свое законодательство в соответствии с требованиями современности».

Казалось бы, советская власть должна была возрадоваться появлению человека, который хотел открыть Коминтерну путь в еще одну страну, куда пока еще не проникли идеи мировой революции. Но нет, ничего подобного. Он обращался и в разные ведомства Совнаркома, и в ЦК партии большевиков.

В марте 1924-го послал в Совнарком письмо в стихах.

Абиссинского ходока

Сенигова Евгения

В Совнарком СССР

Заявление

Выехал я из Абиссинии, тов. Кошкин,

Что б эфиопам показать, сколь

Совет СССР мощен

Что подходит он для всего честного

пролетариата

По абиссински човасуата.

Что есть Красная Армия в нем,

Чтобы биться ночью и днем

С общим врагом,

С заморским нахалом

Иностранным капиталом.

Но дело вышло наоборот,

Попал я в бюрократический водоворот

Сказал Индел, что нет ему до эфиопов дел

Внешторг ответил: «Врешь, нас не поддеть»

Ну как на голову раздеть?

Надежда, Коминтерн, сказал вежливо

«эс ист ферн»

Ц. К. К., тов. Тронин, что весь мир

безденежьем болен,

Р. К. П. же Учет Отдел, что не ведает

Устава африканских дел.

Ну, а Главнаук, приняв меня за франк-масона,

И выгнал без всякого фасона.

Тогда пошел я к вам в Совнарком

Доложить, что растаял мой денежный ком,

Конечно, от весеннего грения

Ну да и от душевного огорчения,

Что уехать мне не хлебавши от

III-го Интернационала

Значить, дожить до великого скандала

Ехать ведь мне к моей черной жене

Да к шоколадным детям
Но как избежать от них гадких сплетен.
На улице не покажешь носа
Чтоб избежать досадного опроса.
Если не поможешь ты, сам Совет,
Держать мне одному ответ.
Евгений Сенигов

Почему он всюду натыкался на стенку? В это время в Наркоминделе хотели добиться восстановления дипломатических отношений, разорванных Абиссинией после большевистской революции. Что ж, он, бывший офицер, не подходил, не верили ему? Или его предложения не нравились: чересчур гуманитарные, недостаточно революционные? Или еще проще — обыкновенная бюрократия, перекладывание бумаг со стола на стол?

Свое заявление в Наркоминдел Сенигов кончил так:

«Теперь прошу дать категорический ответ на это заявление, или положительный, во славу принципов Революции, или отрицательный.

Я далее 7-ми дней ждать не могу, за отсутствием квартиры и содержания я уезжаю.

Я ждал с 21 по 23 год в дороге, с 23 поныне бедствую в Москве. Евгений Сенигов».

В архиве у этого документа заголовок: «Заявление Сенигова Е. В. об использовании его на работе в Абиссинии».

В столь любимом Гумилевым Музее этнографии в городе на Неве хранится много рисунков Сенигова. Семь акварелей куплены в 1932 году у Дмитрия Бровцына, сына доктора Николая Петровича Бровцына, когда-то работавшего в Эфиопии. Четырнадцать акварелей — у Чемерзина в

1935 году. Семнадцать рисунков — в 1936-м «у жены Сенигова». Никаких данных о жене Сенигова в документах нет. Кто она была? Вместе с рисунками она сдала в музей рукопись «Дневник африканского охотника. Е. Сенигов». Подзаголовок: «Из дневника абиссинского охотника за буйволами». Написано интересно, отличным русским языком.

В своем стихотворном послании Сенигов упоминает «черную жену». В Ленинграде в двадцатых и тридцатых годах почти не было африканцев. Так что если бы к нему приехала жена-абиссинка, это не прошло бы незамеченным.

Можно предположить такой сценарий: за границу его не пустили, он провел последние годы в Советском Союзе, а после смерти жена продала его картины и рукописи. Так ли это было? Во всяком случае в Абиссинии никаких упоминаний о его возвращении не найдено. Думаю, что сведения о Сенигове еще будут уточнены. Я же пишу о нем только в связи с Гумилевым.

* * *

Известно, как интересовало Гумилева творчество Гогена, который прожил много лет на Таити и Маркизских островах. В 1908 году в журнале «Весы» Гумилев писал: «Поль Гоген ушел не только от европейского искусства, но и от европейской культуры и большую часть жизни прожил на островах Таити. Его преследовала мечта о Будущей Еве, идеальной женщине грядущего <...>. Он искал ее под тропиками, такими, как они являются наивному взору дикаря, с их странной простотой линий и яркостью красок. Он понимал, что оранжевые плоды среди зеленых

листьев хороши только в смуглых руках красивой туземки, на которую смотрят влюбленным взглядом. И он создал новое искусство, глубоко индивидуальное и гениально простое, так что из него нельзя выкинуть ни одной части, не изменяя его сущности».

Разве мог Гумилев не встречаться с человеком, у которого и в творчестве, и в жизни было так много схожего с Гогеном? Сенигов должен был привлекать Гумилева больше, чем кто-либо другой в этой стране, во всяком случае среди соотечественников.

Ну а Сенигов? Мог ли его, автора «Дневника абиссинского охотника», не заинтересовать Гумилев, первый человек из мира российской литературы, ступивший на абиссинскую землю?

Кто еще из соотечественников в том далеком краю мог оценить стихи Гумилева? Конечно же, Сенигов. Ведь он и сам писал стихи.

Откуда он мог знать стихи Гумилева? Гумилев, наверняка, охотно показывал или даже дарил их.

Так что, по всей вероятности, Сенигов и есть тот «старый бродяга в Аддис-Абебе». Только о нем Гумилев мог сказать: «Прислал ко мне черного копыеносца с приветом, составленным из моих стихов». А «покоривший многие племена» — ну, что ж, он ведь управлял провинцией.

Акварели Сенигова теперь находятся в том же Музее этнографии в Санкт-Петербурге, где и этнографические коллекции, собранные в Африке Гумилевым.

Новая встреча состоялась...

«ПОД ОГНЕМ НЕПРИЯТЕЛЬСКИХ БАТАРЕЙ»

*Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.*

Н. Гумилев

Второй читатель легко узнаваем. Когда Гумилев ненадолго приехал в Крым, Сергей Колбасьев занимал достаточно высокий пост и, вероятно, помог издать «Шатер». Он был начальником оперативного отдела штаба Черноморской эскадры и исполнял обязанности командира дивизиона миноносцев и сторожевых катеров. Ему едва исполнилось двадцать три. Он не был еще известным писателем, не прославился книгой «Поворот все вдруг». Это впереди, как и трагический конец — на полтора десятилетия позднее Гумилева.

Гражданская война кончилась. В феврале 1922-го Колбасьев по ходатайству Луначарского откомандирован с флота в Петроград для работы в издательстве «Всемирная литература». Но задержался там всего на несколько месяцев. Весной 1923-го отправляется работать в Кабул, в советское посольство. И привез с собой посмертный сборник Гумилева.

Полпред Раскольников любил и знал поэзию, не в пример многим дипломатам, пришедшим ему на смену. «Колбасьев, оказывается, привез с собой целую библиотеку, и я сейчас глотаю, как устрицы, тоненькие брошюры стихов», — писал он Ларисе Рейснер. «Из посмертных стихотворений Н. Г. мне больше всего понравилось "Приглашение в путешествие" и юмористическое стихотворение "Индюк"... если бы я стал их цитировать,

то все мое письмо стало бы сплошь поэтическим».

Стихи Раскольникову понравились, но это не означало, что ему нравился автор. В следующем письме «дорогой Ларисочке», подмечено, что «Колбасьев неприятен привкусом "гнусной гумилевщины"». Рикошетом память о Гумилеве отозвалась на судьбе Колбасьева. По настоянию Раскольникова он был отозван из Афганистана.

...А летом 1921-го, в Крыму, за несколько месяцев до своего переезда в Петроград, Колбасьев, должно быть, подробно обсуждал с Гумилевым литературные дела и положение в издательстве «Всемирная литература», где собирался работать.

Колбасьева, особенно в кругу российских эмигрантов первого поколения, называли в числе тех, на кого падали подозрения в причастности к аресту Гумилева. Доказательств не приводилось, просто сопоставляли даты: познакомился с таким-то или таким-то – и тот вскоре арестован и расстрелян.

Конечно, пока не будут открыты соответствующие архивы, предыстория ареста Гумилева останется тайной. А о Колбасьеве создается впечатление как о честном, чистом человеке. С Гумилевым его роднили любовь к литературе, писательский талант, страсть к путешествиям и даже интерес к Африке. Он перевел два романа из жизни французского Иностранного легиона в Африке: «Похороны викинга» и «Пустыня» популярного на Западе писателя Персиваля Рена.

Роднила Колбасьева с Гумилевым и задиристость характера. Он позволял себе высказывания, в наши годы безобидные, а в тридцатых – вызывающе дерзкие.

– Я был петербуржцем, не любил Москву и любил Киплинга.

Виктор Конецкий посетовал на такую неосторожность: «Зачем тебе ворошить такое свое прошлое, когда ты давно живешь в Ленинграде, Москва давно столица, а Киплинг – бард британского империализма...»

До совсем недавнего времени считалось, что Гумилев, уже в тюрьме, написал стихотворение – и оно стало последним.

В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград...

Сейчас литературоведы склоняются к тому, что оно написано не в 1921-м, а в конце тридцатых, и не Гумилевым, а, возможно, Колбасьевым. Но все равно – в местах заключения.

«ЗАСТРЕЛИВШИЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ПОСЛА»

*Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.*

Н. Гумилев

Ирина Одоевцева рассказала, что возникли эти строки после вечера его стихов в московском Дворце искусств летом 1921-го.

«...Мы идем. Гумилев оглядывается.

– А этот рыжий уж опять тут как тут. Как тень за мной ходит и стихи мои себе под нос бубнит. Слышите?

Я тоже оглядываюсь. Да, действительно, – огромный рыжий товарищ в коричневой кожаной куртке, с наганом в кобуре на боку, следует за нами по пятам, не спуская глаз с Гумилева, отчеканивая:

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет...

Гумилев останавливается и холодно и надменно спрашивает его:

– Что вам от меня надо?

– Я ваш поклонник. Я все ваши стихи знаю наизусть, – объясняет товарищ.

Гумилев пожимает плечами:

– Это, конечно, свидетельствует о вашей хорошей памяти и вашем хорошем вкусе, но меня решительно не касается.

– Я только хотел позжать вам руку и поблагодарить вас за стихи, – и прибавляет растерянно: – Я Блюмкин.

Гумилев вдруг сразу весь меняется. От надменности и холода не осталось и следа.

– Блюмкин? Тот самый? Убийца Мирбаха? В таком случае – с большим удовольствием. – И он, улыбаясь, пожимает руку Блюмкина. – Очень, очень рад...

Вернувшись в Петербург, Гумилев описал эту сцену в последнем своем стихотворении "Мои читатели"».

А Ольге Мочаловой он так пересказал встречу с Блюмкиным:

– Ну, убить посла не велика заслуга, – сказал я, – но то, что вы сделали это среди белого дня в толпе людей – замечательно.

* * *

Валентин Катаев считал Блюмкина чудовищем (Наум Бесстрашный в мемуарах «Уже написан Вертер...»). Троцкий – героем-революционером. Многие другие – революционным романтиком.

Сравнительно недавно, в 1999-м, были опубликованы секретные документы об уроженце одесской Молдаванки Якове Блюмкине. Начинается публикация так: «Его расположения и дружбы искали Анатолий Луначарский и Сергей Есенин, Николай Рерих и Владимир Маяковский, Лев Троцкий и Феликс Дзержинский, Николай Гумилев и Анатолий Мариенгоф».

В Музее Маяковского хранятся три его книги с дарственными надписями «Дорогому товарищу Блюмочке». Презентация книги о Блюмкине, изданной в 1998-м, была устроена в Музее Маяковского.

Да, в 1918-м, когда ему было двадцать лет, он убил самодельной бомбой немецкого посла Мирбаха. Прямо в германском посольстве. Убил по постановлению ЦК партии левых эсеров. При отходе, выпрыгнув из окна, сломал лодыжку и получил ранение в ногу.

Дзержинский, а за ним Ленин и Свердлов в тот же день, 6 июля, явились в немецкое посольство с извинениями и готовностью расследовать случившееся.

Поступок Блюмкина стал сигналом к восста-

нию левых эсеров. Даже конный полк чекистов восстал и арестовал Дзержинского. Пущенный откуда-то снаряд лег прямо в центр Кремля и вызвал смятение. Ленин дал телефонограмму в Моссовет: «Около трех часов дня в германское посольство были брошены две бомбы, которыми тяжело ранен граф Мирбах. Это явное дело монархистов или тех провокаторов, которые хотят втянуть Россию в войну в интересах англо-французских капиталистов, подкупивших чехословаков. Мобилизовать все силы, поднять на ноги всех для поимки преступников. Задерживать все автомобили и держать их до тройной проверки. Ленин».

Экстренное заседание Совнаркома одобрило чрезвычайные меры. Телеграф, телефон, водопровод и электрическую станцию заняли латышские стрелки и другие отряды красноармейцев. Начались аресты. По опустевшим улицам двинулись войска. Власти обратились к населению с «правительственными сообщениями». В сообщении № 2, которое написал Ленин, говорилось: «Совет Народных комиссаров не мог, разумеется, потерпеть того, что кучка интеллигентов срывала путем бомб и ребяческих заговоров волю рабочего класса и крестьянства в вопросе о войне и мире». Выяснить, кем и как это восстание было подготовлено и было ли оно спровоцировано (тоже – кем и как) – не задача этой книги.

Но недавно стало известно, что у Блюмкина для совершения покушения были и причины личного характера. В Бахметьевском архиве Колумбийского университета найдено его письмо неизвестному адресату (узнать бы, как оно, впрочем, как и множество других российских документов, попало туда, в Нью-Йорк!).

«...Я, как и вы, прежде всего противник сеп-

ратного мира с Германией и думаю, что мы обязаны сорвать этот постыдный для России мир каким бы то ни было способом, вплоть до единоличного акта, на который я решился.

Но кроме общих и принципиальных моих, как социалиста, побуждений на этот акт толкают меня и другие побуждения... Черносотенцы-антисемиты, многие из которых германофилы, с начала войны обвиняли евреев в германофильстве, сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и сепаратный мир с немцами. Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особое значение. Я, как еврей и как социалист, беру на себя свершение акта, являющегося этим протестом...»

Блюмкина арестовали. Ленин назвал его и его сообщника Николая Андреева «двумя негодяями». Но, как известно, Фортуна вскоре изменила Германии. Брестский мир был перечеркнут. Блюмкина амнистировали. Больше того — приняли в большевистскую партию, да еще по личной рекомендации Дзержинского. Объявили героем революции. Очевидно, решили, что революции нужны и такие, как он.

И Блюмкин стал настолько влиятелен, что в 1920-м ему уже ничего не стоило вытащить Есенина из тюрьмы, куда тот попал по пьянке, набив морду какому-то чекисту в кафе «Домино» на Тверской. Сохранился документ: «Подписка о поручительстве за гр. Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюционной деятельности по делу гр. Кусиковых. 1920 года октября месяца 25 дня. Я, нижеподписавшийся, Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий по гостинице "Савой", № 136, беру на поруки гр. Есенина и под личную ответственность ручаюсь,

что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей. Подпись поручителя Я. Блюмкин. 25.10.20 г. Москва. Партбилет ЦК Иранской компартии».

Почему иранской? В том же 1920-м, несколькими месяцами раньше, Блюмкин был в Иране. Там высадился десант с той Волжско-Каспийской флотилии, которой командовал Раскольников. Десант превратился в персидскую Красную армию. Возникла даже «Персидская Социалистическая республика», во главе с Мирзой Кучекханом. А Якуб-заде, политкомиссар при нем — Блюмкин. Просуществовала эта республика недолго. И Блюмкин подоспел в Москву, чтобы вызвать Есенина.

Гумилеву могли быть известны и дела, которые Блюмкин вершил в юности, в Одессе, вместе с Мишкой Япончиком, «королем» Молдаванки.

Но, если верить недавно опубликованным сведениям, самые интересные деяния Блюмкина были впереди. Тайным агентом (в ОГПУ его псевдоним — Живой) он побывал в Египте, Сирии, Палестине, Турции, Австрии, Германии, Франции. В 1925-м пробрался в Афганистан, а затем — в обличь ламы — в Тибет. Для этого он заранее зубрил восточные языки. Появился в экспедиции Николая Рериха. После одной из встреч Рерих занес в дневник: «Оказывается, наш лама говорит по-русски. Он даже знает много наших друзей». Впоследствии в Москве, у наркома просвещения Луначарского он увидел «ламу» в военном мундире с тремя ромбами в петлицах (в армии это приравнивалось к комкору — командующему корпусом).

А в 1929-м жизнь Блюмкина оборвал звонок в ОГПУ из секретариата Сталина. Его расстреляли за связь с Троцким. Свидетельство советского

разведчика Александра Орлова: «На допросах он держался с поразительным достоинством и смело пошел на расстрел. В последний момент перед тем, как его жизнь оборвалась, он успел крикнуть: «Да здравствует Троцкий!» Это был первый в СССР расстрел члена большевистской партии за связь с оппозицией.

Документы о Блюмкине приоткрываются только в самые последние годы. В этой судьбе почти все было тайной, даже смерть: расстреляли тайно.

Гумилев знал о нем далеко-далеко не все. Правильнее сказать: очень мало. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы назвать его в том стихотворении.

Так трагически сложилась судьба трех читателей, которыми Гумилев гордился в конце жизни.

«ОТ ПОЗОРА ИЗБАВЛЕННЫЙ...»

Лучшей смерти для Гумилева – и придумать нельзя было. Он хотел стать героем и стал им. Хотел славы и, конечно, получит ее.

О. Мандельштам

Гибель Гумилева и все «дело Петроградской боевой организации» стали, как бы сказали сейчас, знаковым событием.

Буквально через несколько месяцев из страны уехали Одоевцева и Георгий Иванов, Берберова и Ходасевич, Николай Оцуп и Георгий Адамович... В октябре 1921-го уехал сам «буревестник», глава издательства «Всемирная литература» Максим Горький.

Создавалась продуманная система преследования интеллигенции. Дзержинский написал своему заместителю И. С. Уншлихту: «В связи с указанием В. И. Ленина об отношении к антисоветским элементам из среды интеллигенции от 5 сентября 1922 года необходимо продолжить неуклонно высылку активной антисоветской интеллигенции за границу; тщательно составлять списки, проверяя и обязуя наших литераторов давать отзывы, распределяя между ними всю литературу...»

И пояснения: «Необходимо выработать план, постоянно корректируя его и дополняя. Надо всю интеллигенцию разбить по группам. Примерно: 1) беллетристы; 2) публицисты и политики; 3) экономисты... 5) профессора и преподаватели... Сведения должны собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел по интеллигенции. На каждого интеллигента должно быть дело...»

В 1922-м – массовая высылка за границу ученых, писателей, религиозных деятелей. Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Николай Лосский...

Осип Мандельштам после смерти Гумилева отказался от мечты о возвращении в Петроград.
– Куда же теперь ехать?

Петербург, у меня еще есть адреса,
по которым найду мертвецов голоса.

8 ноября 1923 года Горький писал Ходасевичу: «Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что... в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Ницше, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: "от-

дел религии должен содержать только антирелигиозные книги". Всё сие — отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: "Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя"...

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?»

Власть требовала единомыслия.

Когда вместе со всеми ты скажешь — да!

И вместе со всеми — нет!

Эти веяния шли с самого верху, и следующие слои старались не отстать, а то и забегали вперед. 24 мая 1924 года в Центральном комитете большевистской партии состоялось совещание «О политике РКП(б) в художественной литературе». Вот место из доклада И. Вардина:

— Товарищ Каменев говорил мне, что он с удовольствием читает Эренбурга. Товарищ Бухарин пишет предисловие к эренбургскому «Хулио Хуренито». Вопрос заключается не в том, с удовольствием или без удовольствия читает товарищ Каменев или другие товарищи Эренбурга... Суть вопроса заключается в том, как эта литература воздействует на массы... Товарищ Каменев может читать что угодно; мы все почти, здесь собравшиеся, читаем белую литературу; предполагается, что у нас есть соответствующий иммунитет, но в широкую массу всю эту литературу не пускаем, иначе у нас была бы свобода печати... Для широких рабоче-крестьянских масс вся эта литература — вреднейший яд.

И так год за годом, десятилетие за десятилетием. Постановления об Ахматовой и Зощенко, борьба «с низкопоклонством перед Западом», с «космополитизмом». Еще позднее не ко двору оказалось даже то, что писали Хрущев и Жуков.

Из рабочей записки заседания Политбюро от 3 марта 1968 года: «О мемуарах Жукова мы сейчас пишем свое заключение. Там много ненужного и вредного». Так отрапортовал маршал Гречко.

О мемуарах Хрущева докладывал глава КГБ Андропов. Было принято решение: «Андропову усилить наблюдение за этой работой и принять меры к изъятию материалов. А через некоторое время, может быть, следует вызвать т. Хрущева в ЦК КПСС и предложить ему прекратить эту работу».

Что уж говорить о писателях. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный сказал на том же заседании:

— Надо посмотреть Союз писателей. Что это за организация, в которую вступают совершенно непонятные люди...

* * *

О Гумилеве несколько десятилетий не писали. Не только жизнь отняли, но и память замалчивали.

Теперь мы видим, как это отразилось на памяти о нем.

Когда Иосифа Бродского сослали на Север, Ахматова сказала:

— Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял.

А на вопрос о поэтической судьбе Мандель-

штама, не раз сосланного и погибшего в лагерях, ответила коротко и совершенно однозначно:

– Идеальная.

Георгий Иванов считал: «...В сущности, для биографии Гумилева, такой биографии, какой он сам себе желал, – трудно представить конец более блестящий».

Георгий Адамович: «...Ранняя насильственная смерть дала толчок к расширению поэтической славы Гумилева». «Никогда при жизни Гумилева его книги не имели большого распространения. Никогда Гумилев не был популярен».

Сказано, пожалуй, слишком категорично. Хотя нам трудно судить, насколько известны и популярны были когда-то те поэты и писатели, которых мы так любим сейчас.

В журнале «Юность» в 1989 году появилось письмо читателя, который задал вопрос:

– А много ли в свое время было понимающих Мандельштама, Цветаеву, Блока?

И сам же ответил:

– Мало их было понимающих, мало!

Что ж, при жизни Булгакова не издавались ни «Мастер и Маргарита», ни «Театральный роман». А когда писал свои лучшие рассказы Варлам Шаламов, многие ли подозревали о его существовании? И подобных судеб – так ли уж мало?

Да и, казалось бы, всеобщий любимец – Есенин. Писал же он своему другу Анатолию Мариненгофу всего за три года до смерти: «...в России, кроме еврейских девушек, никто нас не читал». Что это? Кокетство избалованного славой поэта или искренняя горечь?

Гумилев, особенно в последние годы жизни, приобрел известность и как поэт, и как препода-

ватель. Но это известность лишь в узком кругу литераторов. При жизни Гумилева сборники его стихов выходили ничтожными тиражами. Первое издание «Романтических цветов» – всего триста экземпляров.

Анна Ахматова говорила о нем:

– Славы он не дождался. Она была у порога, вот-вот. Но он не успел узнать ее.

Слава пришла к нему посмертно, с ореолом мученика. Его стихи заучивали наизусть, декламировали тайком. Любовь к ним стала для многих паролем – чтобы узнать близких по духу. Так что официальное замалчивание лишь возвеличило его славу.

А ранняя кончина? Ужасно. Но с чем ее сравнить – с какими жизнями, с какими смертями? В конце двадцатых, в тридцатых, в сороковых, в начале пятидесятых, «когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке». Как сложилась судьба его сверстников, очень, очень многих?

Вроде пулям не кланялись,

Но зато наобум

Распинались и каялись

На голгофах трибун,

И спивались, изверившись,

И не вывез авось,

И стрелялись, и вешались.

А тебе – не пришлось.

Всего этого на долю Гумилева не пришлось. Его жизнь оборвалась внезапно, когда он был на подъеме. Когда его начали воспринимать как мэтра. Его лекции слушали. У него учились.

Царскосельскому Киплингу
Пофартило сберечь
Офицерскую выправку
И надменную речь.

...Ни болезни, ни старости,
Ни измены себе
Не изведал

и в августе,
В двадцать первом, к стене
Встал, холодной испарины
Не стирая с чела,
От позора избавленный
Петроградской ЧК.

Страшно написал Владимир Корнилов, но, увы, должно быть, верно. Гумилеву не пришлось дойти до того состояния, в котором его друг Осип Мандельштам бросал на бумагу яростные фразы:

«Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове...

Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей – ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать – в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед».

«У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архивов. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу, а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!»

Не пришлось Гумилеву в отчаянии умолять своих друзей хотя бы отвечать на его письма, как Мандельштаму в Тридцать Седьмом:

«Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень... Не отвечать мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Вы поступите, как захотите».

Не пришлось испытать скорби Ахматовой:

Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странной переключке
Мне отвечает только тишина...

Или как у Пастернака – навзрыд:

Я один, все тонет в фарисействе.

Не подвергся и надругательствам сегодняшних варваров, тех о ком Римма Казакова сказала с горечью:

А на указателе к могиле
Пастернака
выведено:
жид.

...В 1989 году в Москве вышла книга «Злые песни Гийома дю Вентре», стихи гасконца, бретера и гуляки, сподвижника Генриха Наваррского, дравшегoся в Варфоломеевскую ночь на стороне гугенотов. Поэта с таким именем в действительности не существовало. Его выдумали, встретившись в застенках ГУЛАГа, двое заключенных – Юрий Вейнерт и Яков Харон. От его имени они

писали стихи – и те сонеты помогали им выжить.

Вейнерт и Харон были моложе Мандельштама, Ахматовой и Пастернака. Их талант заявил о себе уже, говоря словами Гумилева, «когда зарыдала страна под немилостью Божьей». Оба они уже были зеками. Не могло быть и речи о том, чтобы печататься. Они не могли обсуждать стихи со своими собратьями по перу, не слышали отклика читателей. Как они могли оттачивать свое мастерство? И все-таки многие из их сонетов составили бы честь лучшим поэтам нашего времени.

Сколько же невостребованных талантов ушли в безвестность, так и не заявив о себе! И даже не осознав себя.

Варлам Шаламов, Ирина Ратушинская... много ли их – тех, чей голос все-таки был услышан, донесся до людей по другую сторону тюремных стен и колючей проволоки...

Создатели Гийома дю Вентре писали о самом важном в жизни человека. О любви. О смерти. Все неглавное для них тогда перестало существовать. Сонет о казни воспетого Александром Дюма шевалье де Ла-Моля:

...Вот мне бы так: шутя взойти на плаху,
Дать исповеднику пинка с размаху
И – голову подставить под топор!

Сколько их – тех, кто мечтали так встретить смертный час! Судя по молве – хотя точно никто не знает, – именно так в последний миг вел себя Гумилев. Дерзко, бесстрашно, с вызовом. Как в боях Германской войны. Как в Африке.

Александр Блок, предчувствуя смерть, заметил в сердцах: «слопала-таки поганая, гнившая

родимая матушка Россия как чушка своего поросенка». Какой горький «Разговор с Родиной» у Ольги Берггольц:

Гнала меня и клеветала,
Детей и славу отняла,
А я не разлюбила — знала:
Ты дикая. Ты не со зла.

Гумилеву не пришлось говорить или писать подобное. Хотя, впрочем, кто знает. Писал же он, покидая Францию:

Франция, на лик твой просветленный
Я еще, еще раз обернусь
И как в омут погружусь бездонный
В дикую мою, родную Русь.

Во всяком случае, он избежал доли эмигранта. Не изведал другой безысходности:

И слишком здесь пахнет эфиром,
и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся...
Но снегом ее замело.
Пора собираться. Светает.
Пора уже двигаться в путь.
Две медных монеты на веки.
Скрещенные руки на грудь.

Марина Цветаева еще за год до смерти произнесла: «Я свое написала». Гумилеву такое, кажется, и в голову не могло прийти.

...Краткость жизни Гумилева, наверно, спасла его от многих унижений и трагедий, которые

выпали на долю его сверстников. Но эта краткость не дала и полностью развернуться его таланту, не дала, подобно Пастернаку, «впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту».

МНОГОКРАТНОЕ ЭХО

У стихов есть то преимущество перед людьми, что они оживают, – и не однажды.

Ю. Тынянов

*Поэзия – нет дела бесполезней
в житейской деловитой круговерти,
но все, что не исполнено поэзии,
бесследно исчезает после смерти.*

И. Губерман

Один из самых дорогих подарков, которые я когда-либо получал, – книжка карманного размера. На титуле обозначено: «Собрание сочинений в четырех томах. Стихотворения. Том первый».

В нашей стране первое собрание сочинений Гумилева стало выходить в 1991-м. Американское – в 1962-м.

А это куда раньше – 1947 год. Место издания звучит непривычно – Регенсбург. Где это – не сказано. Предисловие есть, но без подписи.

Прикасаться к ней боязно. Мы привыкли к плохой и даже очень плохой бумаге. Но тут... Чуть тронь, ломается. И дело не только в том, что ей больше полувека. Думаю, она была хрупкой изначально.

Так что же это за издание?

Выпущено в Германии в лагерях дипийцев (от англ. displaced persons – А. Д.) – «перемещенных лиц», беженцев, людей, оказавшихся без родины после Второй мировой войны. Среди них было много российских. Эмигранты первой волны, осевшие когда-то в Чехословакии, Югославии, в странах Западной Европы. Бывшие военнопленные – они знали, что возвращение на родину обернется для них отправкой в ГУЛАГ. Не хотели возвращаться на родину и некоторые из угнанных в Германию.

В лагерях ждали разрешений на жительство в какую-нибудь из стран «свободного мира» иногда по несколько лет. А тем временем старались как-то наладить культурную жизнь: выпускать газеты, журналы, книги. Издавать было трудно: ни бумаги, ни печатных станков, ни денег. Ведавшие лагерями американские власти неохотно давали разрешение, не очень приветствовали, как бы теперь сказали, самиздат.

И все-таки вышло около пятисот наименований журналов, газет и книг. Печатали нередко на оборотной стороне каких-нибудь немецких бумаг. Тиражи крохотные. Очень мало что сохранилось. Дипийцы постепенно разъезжались – в США, Латинскую Америку, Австралию, в разные страны Европы, даже в Марокко. Брать с собой могли лишь легкий багаж. Не до книг. Бросали их.

Сейчас в Нью-Йоркской публичной библиотеке хранится около ста наименований тех дипийских изданий. У Эдуарда Штейна, моего старого друга, их насчитывается около двухсот. В своем доме неподалеку от Йельского университета он показывал мне все четыре томика того издания Гумилева. Один из них – дубликат – подарил. В 1993-м он опубликовал книгу «Русская печать лагерей «Ди-Пи»», с описанием сво-

ей коллекции и образцами обложек. В 1999-м Эдуард умер. Оля, его вдова, вынуждена распродавать библиотеку. Сказала мне, что Евгений Евтушенко купил двенадцать или четырнадцать коробок с книгами. Но это – лишь малая часть. Книги одной из лучших в мире коллекций Российского Зарубежья разойдутся по разным адресам.

Я берегу подарок Эдуарда. Это – символ того, что о Гумилеве не забывали даже в передрыгах беженских лагерей.

Издания в лагерях беженцев – это поразительно. Но в целом – какой же интерес у Российского Зарубежья к творчеству Гумилева, к его памяти!

Нельзя не отдать дань труду и таланту Н. Богомолова, А. Павловского, В. Петрановского, А. Станюковича, Е. Степанова, Р. Тименчика, Р. Щербакова, М. Эльзона и других собирателей и исследователей, начиная с П. Лукницкого, тех, кто здесь, на родине Гумилева, вопреки препонам и запретам, добивались сохранения и воссоздания памяти о нем. Но не меньше и заслуги Глеба Струве, Бориса Филиппова, Николая Оцу-па, Вадима Крейда и многих других ученых Российского Зарубежья. В годы, когда в нашей стране ничего гумилевского не публиковалось, на чужбине их трудом подготовлены и опубликованы сборники его стихов, переписка, воспоминания и статьи о нем, четырехтомник его произведений.

Они провели титаническую работу, собирая сведения по крохам, без доступа к советским архивам, без возможности расспросить тех, кто оставался в Советском Союзе.

В 1986-м, когда в СССР после десятилетий молчания вышла первая статья о Гумилеве – очерк

Владимира Карпова в «Огоньке», – крупнейшая русская зарубежная газета «Новое русское слово» иронизировала: «Из семи журнальных страниц "своего" эссе Владимир Карпов больше пяти переписал из изданной в 1981 году лондонским издательством ОПИ книги Глеба Струве "О четырех поэтах"». Опровержения Карпова не последовало.

Так что поначалу, сразу после реабилитации Гумилева, в СССР приходилось начинать с освоения сделанного в Зарубежье.

Этого нельзя не признать. Однако в первом сборнике стихов Гумилева, вышедшем в Москве в 1988 году, сказано: «Перечисленные основные зарубежные издания сочинений Гумилева характеризуются существенными недостатками. В частности, в четырехтомном Собрании сочинений примечания крайне скупы и не свободны от ошибок. Достаточно поверхностны и примечания в парижских сборниках». Критика справедлива. Но разве составитель советского однотомника (действительно хорошо составленного) не мог вспомнить и вклад своих предшественников, чьим трудом он, несомненно, пользовался?

В последние годы, как писал мне Вадим Крейд, «центр гумилевоведения переместился из эмиграции в метрополию». Значит, тем более необходимо признать заслуги тех, кто содействовал сохранению гумилевского наследия в течение многих лет. Это не великодушие, а простая честность.

* * *

О популярности Гумилева на Западе хорошо известно. Но вот – Дальний Восток.

В 1988 году появились воспоминания поэтес-

сы Натальи Резниковой о Харбине двадцатых-тридцатых годов. О студентах Харбинского университета она писала: «Мы... часто, отбросив учебники политической экономии или гражданского права, читали наизусть, перебивая друг друга, пьянея от восторга, стихи Гумилева». И о своем друге, студенте Васе Обухове: «Кумиром его был Н. Гумилев».

В Шанхае был издан сборник стихов Гумилева, в Харбине «Гумилевский сборник» со статьями о нем, причем одна из них написана (или, во всяком случае, подписана) атаманом Семеновым.

В Харбине появился и самый ранний перевод стихов Гумилева на английский язык. Стихотворение «Храм твой, Господи, в небесах» перевела Мария Визи. Родилась она в Нью-Йорке в 1904 году. Переводить Гумилева начала еще в ранней молодости. Перевод вышел в ее сборнике, изданном в 1929-м.

А вот изданный в Харбине в 1944-м году сборник Валерия Перелешина «Жертва». Стихотворение «При получении стихов Гумилева»:

Запахом возлюбленного юга
Опьяненный, томен я и нов:
Я сегодня получил от друга
Книгу «Романтических цветов».

Другой поэт русского Харбина, Арсений Несмелов, в стихотворении о Георгиевском кресте заявляет:

Твой знак носил прекрасный Гумилев,
И первым кавалером был Кутузов!

Книга стихов Василия Логинова издана в Хар-

бине в 1935 году. Эпиграф ко всей книге – гумилевские строки:

Ах, иначе в былые года
Колдовала земля с небесами.

Гумилеву посвящала стихи Марианна Коло-
сова. В войсках (или как у нас раньше писали –
бандах) атамана Семенова ее считали бардом рус-
ского Китая. Стихотворение «Обреченная муза»:

Потайной из рая дверцей
Вдруг выходит Гумилев,
С большевицкой пулей в сердце,
Беспощаден и суров.

Гневом-горечью сгорая,
Потемнее выбрал ночь,
Он ушел тайком из рая,
Чтобы Родине помочь.

В том же ее сборнике «На звон мечей», из-
данном в Харбине в 1934 году:

И чья-то тупая морда
Направила свой наган
В него, идущего гордо,
Не сгорбившего свой стан.

За воина и поэта,
Чей взор орлиный был горд,
Расстрелять бы в ту ночь, до рассвета,
Сотню бездумных морд!

Русские беженцы из Харбина и Шанхая ока-
зались в конце сороковых годов на Филиппинах.

Там, на одном из маленьких островов, они были в том же положении, что и дипийцы в Европе. Они так же ждали решения своего будущего, так же издавали свою литературу. И так же печатали стихи Гумилева.

А в любимой Гумилевым Африке? В Бизерте, где оказался Черноморский флот с десятками тысяч беженцев? В Марокко? В Каире? В провинциальных городках Конго, куда судьба забросила потомков нескольких русских аристократических фамилий? В Абиссинии-Эфиопии, где осело немало офицеров и их семей? Не знаю, печатали ли там стихи Гумилева? Что их читали, сомнения нет. Наверно, их вспоминал и великий князь Александр Михайлович, оказавшись в Эфиопии в 1927 году.

Павел Булыгин, офицер армий Деникина и Колчака, создал там большой цикл стихов «Чужие звезды» и посвятил его Гумилеву.

Здесь недавно еще Гумилева встречали,
А теперь эти звезды ласкают меня.

Но Гумилев попал туда по доброй воле. А Булыгин? «Закружило меня, оторвало и кинуло».

Абиссинские впечатления Булыгина пронизаны памятью о Гумилеве.

Я Гумилева не встречал,
А встреча так была нужна нам,
Я о расстреле прочитал,
Уйдя в Пустыню с караваном.
И стало пусто... И костры
Уже не радовали треском,
И над палаткой скат горы
Белел ненужно в лунном блеске.

Гонец, привезший почту мне,
Привез бессильной мести муку.
Теперь я только лишь во сне
Пожму твою, быть может, руку.

Вадим Крейд подготовил к печати книгу об образе Гумилева в литературе Российского Зарубежья. Там появится много нового. Он расскажет, я уверен, и о Вере Лурье, одной из учениц Гумилева в кружке «Звучащая раковина». Она считает, что именно ей довелось последней разговаривать с Гумилевым перед его арестом (на эту честь претендовали многие). Весной 1921 года Вера вместе с Гумилевым отмечала свое двадцатилетие, а осенью была на панихиде в Казанском соборе.

О своем учителе она написала пять стихотворений. Три из них появились в посвященном его памяти сборнике «Звучащая раковина», который издали в Петрограде в 1922 году. А в 1987-м в Берлине вышел ее сборник — и там стихи «На смерть Гумилева».

Был он сильным, свободным и гордым
И воздвиг он из мрамора дом,
Но не умер под той сикоморой,
Где сидела Мария с Христом.

Он прошел спокойно, угрюмо,
Поглядел в черноту небес.
И его последние думы
Знает только северный лес.

И еще. «Осень. На смерть Гумилева».

Я вспоминаю Мойку всю в снегу,
Его в дохе и шапке меховой

И с папиросой дымною у губ.
И то, как он здоровался со мной.
Потом, прищурив глаз, лениво шел
К столу, где мы садились в длинный ряд.
Клаал папиросы медленно на стол.
Я не увижу больше серый взгляд.
Из ресторанных глаз сияет свет,
Томительно зовут, зовут смычки,
По Невскому проспекту сколько лет
Отстукивают осень каблучки.

Крейд напишет, наверно, и о Леониде Страховском, который пронес через всю жизнь преклонение перед Гумилевым. В 1953-м в Канаде, в Торонто, издал сборник своих стихов с посвящением: «Памяти безукоризненного поэта, совершенного кудесника русского слова, дорогого и уважаемого Друга и Учителя Николая Гумилева с чувством глубочайшего смирения посвящаю я эти стихи». «Помню, как юношей я купил в книжном магазине Вольфа на Невском проспекте в Петербурге книжку мне тогда неизвестного поэта, озаглавленную: "Романтические цветы". Вернувшись домой на Каменный Остров, я начал ее читать. Все сильнее и сильнее стихи ее меня захватывали. И вдруг две строчки прямо пронзили меня, и дух захватило:

Далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф».

ОТ ТИМБУКТУ ДО ЛУБЯНКИ

*Почетней быть твердым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.*

М. Волошин

Проследить воздействие Гумилева на родине куда сложнее. После его казни и вплоть до 1986 года кто бы мог признаться в печати, что испытал на себе его влияние?

Но признания иногда доносились до чужих краев – и тогда получали огласку.

«...В этом мире – мире страха, террора, застенков – не умирала подспудная поэзия. И вот, когда на улице, возвращаясь с нудной работы, "сквозь ветер и сквозь снег", вдруг слышалось, как встречный бормотал вслух, скажем, строки запретного Гумилева, вдруг все озарялось». Так писал литератор Фабий Зверев уже в эмиграции. И приводил стихи Николая Моршена:

О, строк запретных волшебство...
...Вот так друг друга узнают
В моей стране единоверцы.

Бывало, что поэты переправляли за границу посвященные Гумилеву рукописи.

Как Гумилев — на львиную охоту,
Я отправляюсь в город за тобой:
Даны мне копыя — шпилей позолота
И, на снегу, песок еще сухой,
И чернокожие деревья в дымной
Дали и розовый гранитный ларь,

И там, где лег большой пустыней Зимний,
Скитаюсь, петербургская Агарь.

Эти печальные строки датированы 1935 годом. Лидия Аверьянова-Дидерихс, ленинградская поэтесса (писала под псевдонимом А. Лисицкая), еще до войны тайком передала в Англию рукопись своего сборника «Серебряная рака. Стихи о Петербурге». Стихотворения из этого сборника Глеб Струве опубликовал, хотя и через много лет.

Один из самодельных машинописных сборников стихов Гумилева попал в Колумбийский университет в Нью-Йорке. Я видел его там в отделе редких книг и рукописей главной библиотеки. Сборник не маленький – полтора ста страниц. Напечатан в 1939-м.

Гумилевский романтизм повлиял на таких разных поэтов, как Эдуард Багрицкий, Всеволод Рождественский, Николай Тихонов, Павел Коган, Владимир Высоцкий.

Паустовский писал жене: «Знаешь, что я нашел в книге Гумилева "Чужое небо", – это так близко и понятно мне». Переписал целиком «У камина» и добавил: «Не правда ли, это хорошо?»

А след, который оставили в литературе те, кто учился у Гумилева в петроградских кружках и студиях? Кто из нас не любит песню Вертинского «Здесь шумят чужие города и чужая плещется вода»? Из парижских ресторанов и кабачков русского Харбина доносилось до Москвы: «Надо жить, не надо вспоминать». Но многие ли из нас знали, что слова эти принадлежат Раисе Блох, ученице Гумилева, погибшей в Холокосте?

Влияние – вещь сложная. Подчас мы сами не можем толком понять, кто и как на нас повлиял. Да и поняв, не всегда готовы признаться, тем

более публично. А те, на кого повлиял Гумилев, уходили в могилу, даже не получив права называть того, чье имя было под запретом.

Николай Оцуп считал: «Он даже расширил географические границы русских песен, введя в них Африку, экзотику». И это верно.

Лиловый негр, бананово-лимонный Сингапур, бразильский крейсер и притоны Сан-Франциско... создавая эти образы, помнил ли Вертинский о Гумилеве? А Вера Инбер в своих ранних стихах? Николай Агнивцев?

А песенки времен нэпа? Принято их считать банальными, безвкусными. Может быть. Они и не попадали в песенники, и авторы зачастую оставались неизвестными широкой публике, но их переписывали и распевали. «Был в Батавии маленький дом», «Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан», «В кейптаунском порту», «Юнга Билль», «Шумит ночной Марсель», «Джон Грей»... И та песенка с навязчивым мотивом – «Когда небо красит бирюза, опасайся дурного поступка», где капитанская трубка и капитанская рубка лихо рифмовались со словами «манящая серая юбка».

Сколько их было, таких песенок! «Из-за пары растрепанных кос с оборванцем подрался матрос...» Многие дожили и до конца тридцатых, а какие-то пережили и Вторую мировую войну. Появлялись песенки и потом. «В кейптаунском порту...», «В таинственной стране Мадагаскар» или «Капитан нам дал приказ – лететь в Кейптаун».

Проработчики сталинских времен объявляли их пошлыми, мещанскими. Но их пели, они составляли часть живой жизни. Слава Богу, они обрели теперь права гражданства и звучат по телевидению в передаче «В нашу гавань заходили корабли».

Разумеется, я отнюдь не хочу напрямую приписать появление этих песен влиянию Гумилева. Это было бы нелепо. И все же существовала какая-то связь. Загадочный и странный мир Гумилева нашел отголосок в сознании тех, кто писал песни, и тех, кто их распевал. В стихах Гумилева и в этих песнях, пусть и весьма по-разному, — романтика дальних странствий.

* * *

В Москве, в Институте востоковедения, последние двадцать лет своей жизни работал известный арабист Юрий Николаевич Завадовский. В годы гражданской войны мать эмигрировала, взяв его с собой. Константинополь, Париж... Парижская Национальная школа живых восточных языков. Работа в Африке над средневековыми арабскими рукописями. Участие во французском Сопротивлении в годы Второй мировой войны. Возвращение на родину.

Я знал его, работал в том же институте. Но как-то не случилось поговорить на непрофессиональные темы. Довелось лишь незадолго до его кончины, и не в Москве, а в Ленинграде. В начале мая 1978 года мы приехали на научную конференцию в Музей этнографии. Потом были приглашены на банкет на корабле «Кронверк», переделанном под ресторан. Нева, шхуна. Музей этнографии... Как тут не вспомнить снова:

Есть музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой.

Я признался Завадовскому, что гумилевские стихи повлияли на мой выбор профессии. Он улыбнулся:

– Тогда уж послушайте и меня. Знаете, что пробудило мой первый интерес к Африке? Не догадаетесь... Гумилевский «Шатер». Из-за него то я и стал арабистом.

Дело было в 1922 году, когда его семья очутилась в Константинополе. Один из старших товарищей увлекался стихами и был близко знаком с Мариной Цветаевой, которая высоко ценила Гумилева. Этот-то товарищ и подарил тринадцатилетнему Завадовскому только что изданный «Шатер», написав на нем: *Nic est Africa mea* («Вот моя Африка»). Юного Завадовского поразили строфы, посвященные африканскому городу Тимбукту (теперь мы пишем – Томбукту).

И жемужиной дивной, конечно, означен
Будет город сияющих крыш, Тимбукту,
Над которым и коршун кричит, озадачен,
Видя в сердце пустыни мимозы в цвету,
Видя девушек смуглых и гибких, как лозы,
Чье дыханье пьяней бальзамических смол,
И фонтаны в садах, и кровавые розы,
Что венчают вождей поэтических школ.

Тимбукту стал городом его мечты. В июне 1922-го он и несколько его друзей поклялись, что ровно через десять лет они встретятся там, у главного колодца.

Юрий Николаевич клятву сдержал. Поступил в Парижскую школу живых восточных языков, окончил ее в 1931-м и отправился в Африку. Несколько лет работал в Сахаре. А впоследствии, в Москве, издал очерки об арабских диалектах Северной Африки.

В тех краях он часто повторял апокалиптическую концовку стихотворения «Сахара»:

И когда, наконец, корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан
И дадут ему имя: Сахара.

— Должно быть, уж в очень мрачном настроении он писал это. А может, предвидел грядущие экологические беды?

А вот другая история. Она поразила меня еще больше.

Евгений Александрович Гнедин. Он был другом одного из моих учителей, известного англоведа Николая Александровича Ерофеева. В тридцатых годах Гнедин занимал крупные посты в газете «Известия», а затем в Наркоминделе. С конца тридцатых до середины пятидесятых годов, как водится, — в тюрьмах и лагерях.

У Гнедина добивались показаний против бывшего наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова. Он отказывался. Тогда по приказу Берии его избили до полусмерти начальник Особой следственной части НКВД Кубулов и его подручные.

Гнедин рассказывал об этом нам с Николаем Александровичем еще в пятидесятых. Потом за границей вышли его воспоминания. Академик Сахаров назвал их «замечательной книгой». В нашей стране она увидела свет лишь в 1988-м, уже после смерти Гнедина.

«Избитого, с пылающей головой и словно обожженным телом, меня, раздев догола, поместили в холодном карцере... Я снова стоял раздетый на каменной скамейке и читал наизусть стихи. Читал Пушкина, много стихов Блока, поэму Гумилева "Открытие Америки" и его же "Шестое чувство"... Кто-то спросил тихо часового, наблюдавшего за мной в глазок: "Ну, что

он?" Тот отвечал: "Да все чего-то про себя бормочет"».

Значит, там, в карцере на Лубянке, ожидая казни или пыток, страшнее смерти, он старался обрести силы, вспоминая гумилевского Колумба, его Музу Дальних Странствий, и застенки, в которых оказался потом великий первооткрыватель.

Все прошло как сон! А в настоящем —
Смутное предчувствие беды.

Но чтобы окончательно не сойти с ума, внушал себе:

Веселы, нежданны и кровавы
Радости, печали и забавы
Дикой и пленительной земли...

...Кто только ни винил Гумилева в рисовке, выпренности, самонадеянности, самовлюбленности! Но Гнедину его стихи действительно помогли. А ведь эти строки вполне могли оказаться последними, что успели прошептать его губы. И мы не услышали бы его признаний, как не услышали их от миллионов, разделивших его судьбу.

И один ли он пытался тогда собрать последние силы, читая эти или подобные стихи...

* * *

Борис Филиппов после пятилетней отсидки в Ухто-Печорских лагерях «жадно» читал Гумилева. Стихи брал у сестер Зинаиды Гиппиус, которые оказались в Новгороде — им, как и Филиппову, запрещено было жить в Ленинграде.

Прочитав об этом у Филиппова, я невольно

вспомнил свои детские годы в тогдашнем Новгороде и живших там высланных. Одним из них был мой отец. Ему, как и Филиппову, запрещалось жить в больших городах. В Ленинграде два работника НКВД, выбрав время, когда я остался дома один, пришли и сладкоречиво выпытывали, давно ли я видел отца. Два взрослых дяди иезуитски выведывали у маленького мальчика, не нарушал ли отец приговор о высылке, не приезжал ли тайком из Новгорода повидать семью.

А Борис Филиппов через много лет, в Америке, вместе с Глебом Струве издал четырехтомник Гумилева.

Виктор Некипелов в январе 1974-го в одиночной камере Бутырской тюрьмы написал:

И в памяти снова и снова,
Усталую душу садня,
Всплывают стихи Гумилева
Чеканно и нежно звеня.
Волнующе зыбки и белы,
Скитальцы зеленых зыбей, —
Плывут облака-каравеллы
Над каменной клеткой моей.
Вот так, уже скоро полвека
В воздушных скитаясь струях,
Везут они к отчему берегу
Поэта опального прах.
Струится свинцовая Лета,
Вскипают валы за кормой...
...И до сих-то пор за сонеты
Нам родина платит тюрьмой.

Историк Николай Ульянов признавался, что во время немецкой оккупации он старался «за-

полнить образовавшийся умственный вакуум», записывая по памяти стихи, в том числе и Гумилева.

Может ли быть для поэта более высокая честь? Его стихи определили выбор профессии, а значит, и жизнь крупного ученого. Помогли сохранить рассудок дипломату, писателям, поэтам, оказавшимся на грани помешательства.

Только ли им он помог? Это лишь часть признаний, которые дошли до нас.

А ему самому? Помогли ему стихи? Свои или чужие? В августе 1921-го в ЧК, на Шпалерной? В последние мгновения, под Бернгардовкой? Удалось ли, как он учил своих читателей, –

...представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

Или несвершившееся, неделанное стучало в виски? И та самая главная песенка, которую спеть он не смог?

POST SCRIPTUM

*Истина – тайна, всегда тайна,
очевидных истин нет.*

А. Платонов

Со второй половины восьмидесятых, когда с Гумилева сняли запрет, на смену забвению пришла слава. Можно не только писать, но и публиковать такие строчки, как у Михаила Кудрявцева:

Если бы родиться мне тогда,
Тонкого услышать Гумилева,
Аромат вдохнуть живого слова,
Если бы...

Одоевцева говорила мне, что ее поразило преклонение перед именем своего учителя, которое она увидела, вернувшись на родину.

Но как мы любим крайности, как любим мазать все одной краской! Если кто плохой, так уж он – черт с рогами. А если хороший – так чистый ангел с крылышками. Чем это объяснить? Может, потому, что в религии у нас нет чистилища – только рай и ад?

Не успел приоткрыться облик Гумилева, как его стали приукрашивать, лишая подлинности.

Анна Ахматова когда-то едко заметила, что Маяковский от одного портрета к другому становится все красивее. Не такая ли метаморфоза происходит теперь с нею самой, с Цветаевой, Булгаковым? И, конечно, с Гумилевым. Сколько оказалось желающих сотворить нового кумира! Ахматова, ненавидевшая слащавость, говорила в таких случаях: «Большой сюсюк!»

Это коснулось и Гумилева-путешественника. Уже не раз его нарекли профессиональным этнографом. Это не только попытка сделать из него сусальный образ, но и неуважение к профессионализму ученых.

Дальше – больше. Приписали ему еще одну роль – что во Франции в 1917-м он был российским разведчиком.

Надо ли говорить, что Гумилев не нуждается в таких передержках. Они могут лишь скомпрометировать его память, нанести вред, может быть, не меньший, чем долголетнее замалчивание.

Причина здесь, конечно, и в том, что о его жизни известно пока не так много. Долгий запрет не мог не сказаться.

Многие из тех, кто близко знал Гумилева, ушли из жизни, так и не оставив воспоминаний. А те, что оставили... Что ж, прав Ходасевич: «Воспоминанье прихотливо и непослушно...» Так что не сбылись еще шуточные слова Гумилева: «Мой биограф будет очень счастлив...»

Среди тех, кто изучает его наследие, не прекращаются бурные споры. Издается Полное собрание сочинений. Но началось оно со скандала. Накануне выхода первого же тома один из лучших знатоков Гумилева публично, через печать, обвинил своих коллег в неверном подходе к наследию поэта и вышел из редколлегии.

Споры так горячи и потому, что очень уж поразному оценивается вся эпоха, на фоне которой прошла жизнь Гумилева.

...Чем кончить книгу? Скорбью о человеке, которого убили в пору его расцвета, дав дожить лишь до тридцати пяти? Захотел бы сам Гумилев, чтобы рассказ о нем прервался на печальной ноте?

В его стихах: «веселый люд», «весело думать», наша планета у него — «веселая». О себе — «я вышел в путь и весело иду». Молодых поэтов учил видеть мир пусть и не вполне реальным, но ярким, сверкающим, манящим.

И все идет душа, горда своим уделом,
К несуществующим, но золотым полям,
И всё спешит за ней, изнемогая, тело,
И пахнет тлением заманчиво земля.

Под его влиянием одна из учениц звала нас чувствовать, как «льется в сумерки тепло тысячелетий».

Может быть, ему, «рыцарю счастья», больше было бы по душе, если книга о нем завершится его стихами...

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен...

Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

А если все-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру,
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль — к барьеру!

СОДЕРЖАНИЕ

Читателю	5
ИСТИНЫ ПЕРЕДАЮТ ИЗУСТНО	7
Он берет жизнь	9
Взором его царицы	13
«Женщина в углу слушала его»	24
«Кем нельзя пользоваться как источником»	31
«Я тоской твоей была»	35
Дитя и мудрец	39
«О Гумилеве я не решился расспрашивать»	49
«Невенчанная вдова»	54
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ КИПЛИНГ	63
«Коврик под его ногами – мир»	65
Книжный шкаф детства и юности	72
На заре двадцатого века –	

Anno Domini MCM	85
Из гимназии – в Париж	98
МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ	107
«Я женщиною был тогда измучен»	109
Буря и натиск	113
Дуэль	119
Первая встреча с Сомали и Абиссинией	126
«Слишком долго были женихом и невестой»	132
«Ах, бежать бы, скрыться бы как вору»	139
Письма дипломата	142
Колдовская страна	148
Только книги в восемь рядов	163
«В каждой луже запах океана!»	178
«У меня есть мечта»	185
По его совету	194
«С нетерпением жду Африки»	199
Джибути, Дыре-Дауа и Харэр	206
С будущим императором	211
«Восемь дней от Харрара я вел караван»	217
«Есть Музей этнографии в городе этом» ...	223
Последний год мирного времени	228
«И ОТ СУДЕБ ЗАЩИТЫ НЕТ»	251
«И Святой Георгий тронул дважды»	253
«Лера, Лера, надменная дева»	268
Во Франции и в Англии	278
Болдинская осень	301
«Я привык к холостой жизни»	315
«Твой безжалостный голос...»	321
Последнее путешествие	327
«И умру я не на постели»	335

ЕГО ЧИТАТЕЛИ	353
«Старый бродяга в Аддис-Абебе»	355
«Под огнем неприятельских батарей»	373
«Застреливший императорского посла» ...	375
«От позора избавленный...»	381
Многократное эхо	391
От Тимбукту до Лубянки	400
Post scriptum	408

Научно-популярное издание

Серия «Герои без тайн»

Давидсон Аполлон Борисович

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ.

Поэт, путешественник, воин

Редактор *Л. Лузгина*

Ответственный редактор *А. Жеребилов*

Художественный редактор *А. Шашкевич*

Технический редактор *Н. Малышева*

Корректор *О. Храменко*

**Издательство «Русич»:
«Книга-почтой»**

214016, Смоленск, ул. Соболева, 7,
тел.: (08122) 9-15-96

Каталог высылается бесплатно

Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.04.2001.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная.

Гарнитура Times ET. Печать офсетная.

Объем 13 печ. листов. Объем 21,84 усл. печ. листов.

Тираж 7000 экз. Заказ 1100.

Фирма «Русич». Лицензия ЛР № 040432 от 29.04.97.

214016, Смоленск, ул. Соболева, 7.

E-mail: rusich@keytown.com — редакция.

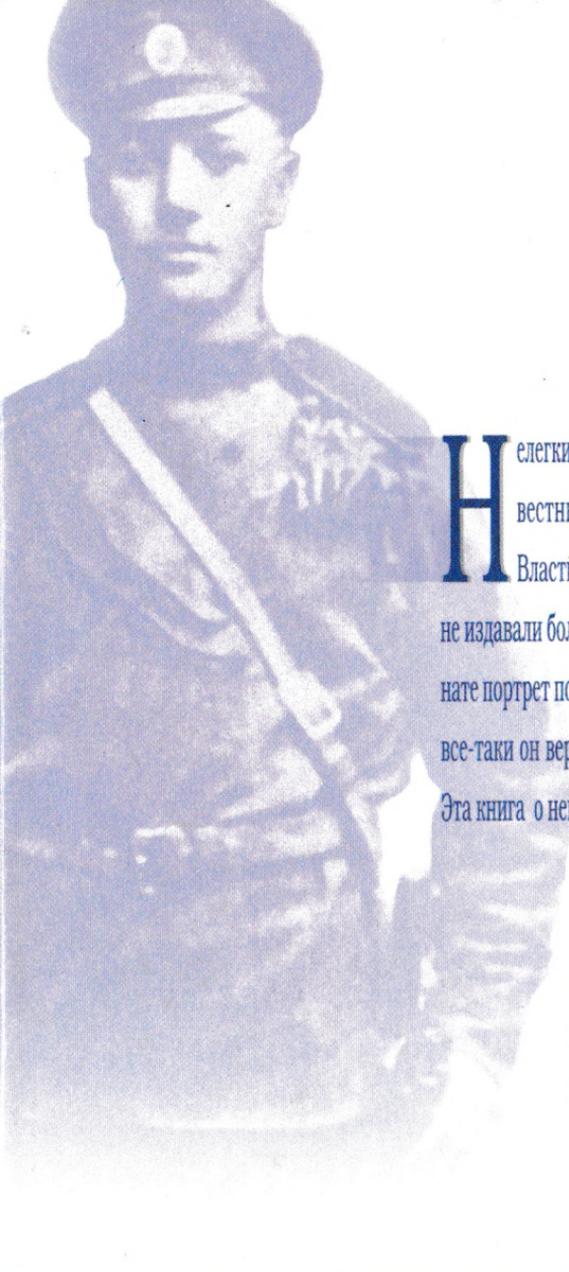
E-mail: salerus@keytown.com — отдел реализации.

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 10.01.01.
220040, Минск, ул. М. Богдановича, 155 — 1204.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.300.

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

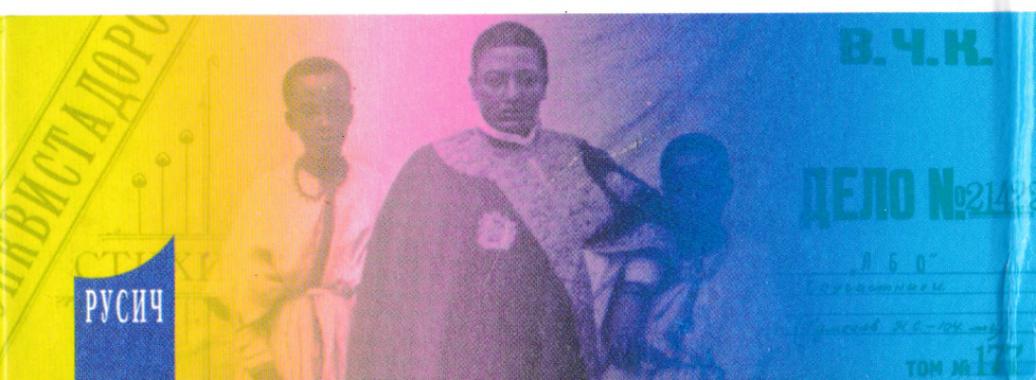


Нелегкие судьбы поэтов в нашей стране хорошо известны, но участь этого особенно трагична. Власть долго вытравляла самую память о нем: его не издавали больше шести десятилетий, найденный в комнате портрет поэта часто служил основанием для ареста. И все-таки он вернулся к нам – поэт, путешественник, воин. Эта книга о нем, о Николае Гумилеве.

ISBN 5-8138-0308-4



9 785813 803086



РУСИЧ